

**НОВЫЙ
Журнал**

159

**THE NEW
REVIEW**

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал



Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский

Сорок четвертый год издания

*РЕДАКЦИЯ: РОМАН ГУЛЬ (главный редактор),
Ю. Д. КАШКАРОВ и Е. Л. МАГЕРОВСКИЙ
СЕКРЕТАРИ: О. РАДЫШ и З. ЮРЬЕВА*

NEW REVIEW. June 1985

NEW REVIEW (ISSN 596680) is published quarterly by New Review Inc., 2700 Broadway, New York, NY 10025. Second Class postage paid at New York, N.Y. POSTMASTER: Send address changes to the New Review, 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Д. Бобышев</i> — Стихи	5
<i>Р. Гуль</i> — Я унес Россию. Том III. "Россия в Америке"	10
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	53
<i>Ю. Кашкаров</i> — Князь Иван Хворостинин. Слова Царей и Дней	55
<i>В. Перелешин</i> — Стихи	70, 82
<i>М. Косталевская</i> — Стихи	71
<i>Е. Таубер</i> — Отец	72
<i>Г. Шенгели</i> — Короткие рассказы	83
<i>Н. Косман</i> — Стихи	87
<i>Г. Анищенко</i> — Стихи	88
<i>Ю. Иваск</i> — Похвала Российской поэзии	91
<i>И. Качуровский</i> — О лирике Максима Рыльского	130
<i>Е. Поляков</i> — Стихи	137
<i>В. Блинов</i> — Внутренний свет поэзии А. Раннита	138

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

Письма <i>И. Ф. Романова/Рцы/</i> к <i>В. В. Розанову</i> . Публикация <i>Ю. Иваска</i>	154
<i>А. В. Тимирева</i> — Воспоминания	196
<i>М. Шапиро</i> — Женский концлагерь	238
<i>М. Гольдштейн</i> — Скрипач <i>М. Эрденко</i> — цыганский Паганини	255

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

<i>Д. Штурман</i> — Во имя истины и спасения	265
<i>А. Иванов</i> — Экология исторических памятников и могил	275

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Вяч. Завалишин — Памяти Сергея Бонгарта294

БИБЛИОГРАФИЯ

Игумен Геннадий Эйкалович — О.А. Хрептович-Бутенева,
"Перелом"302

ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

Кто, как Бог? — Светлый выкрик
это и есть Михаил.
Ангелу гордому, горькому
он себя возгласил.

— Ты, увы, Совершенного Сердца
пропятая Рана, изъян.
Гневной любовью к отступнику
Михаил осиян.

Меч — Любовь его, Верность —
броня безущербная, щит.
Слава — яркий шелом,
корпус Верой кольчужно покрыт.

На крутых нараменниках —
крылья горние Сил.
Кто, как Бог? — Этот светлый упрек —
он и есть Михаил,

что себя же и выкрикнул
мировому предлогу, Врагу.
Желчь предвечную вымыть
я, жизнь переплыв, не смогу.

25 июня 1984

ИЛЬЯ ПРОРОК

Львиные грозы...

О, Илие!

О, пророче, мы с небом — не розны.

Всё ли мы на земле?

Или, гулко гуляя:

купол, — позвал, — громозди

для храмного Рая.

Горло звуку пророй до груди!

Небо выстрой

и Новое Небо скажи:

громобыестрые

ярусы ярой радости и этажи

гордых облак.

О, Илие!

Труд небесный творительный отдых

для работ на земле.

Но возьемлю

тягло любого труда:

огалилеим её аллилуйей, и Новую Землю

все населим тогда.

20 июля 1984

ЕВАНГЕЛИСТ ИОАНН

Это Слово снесла орлица
в руки апостола Иоанна, —
а как бы еще ему окрылиться
истово и благовествованно?

Порхнуло, прошелестело по свету;
шопотом даже лучше слышно:
а что, если любовь — это
обнаружение красоты в ближнем?

Отыскание образа: либо Мариина,
либо это будет Учителев лик,
одинаково неочевидные в Мире.
И которых равновидал ученик.

21 июня 1984

УМНАЯ МОЛИТВА

ГОСПОДИ!

Отведи меня здесь от растрáвы и рóспади,

ГОСПОДИ ИИСУСЕ!

Всё-то зрящий во всех,

как ты горшим, душа, не рисуйся,

грех возьмлющий Мира,

за всех, за меня на кресте

в костном хрусте висишь,

ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ!

Вместо меня... Но и вместе со мной:

сколько спину ни горбь,

выпрямительна, видите ль, казнь,

очистительна скорбь.

Вдышана в меня душа на всю жизнь,

да, но не больше,

ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ,

СЫНЕ БОЖИЙ,

Эту смесь как разделишь:

меня и со мной же

горчично и гречнево?..

ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ,

СЫНЕ БОЖИЙ,

ПОМИЛУЙ МЯ, ГРЕШНОГО!

май 1985

Я УНЕС РОССИЮ

ТОМ III. РОССИЯ В АМЕРИКЕ

Сереза и граф

Так и шла наша испольщина день за днем. Однотонно. Но все же кое-какие "события" происходили. Заболел мсье Ле Руа Дюпрэ какой-то таинственной болезнью. Чем? Тайна. В одночасье около него появилась (и неотступно была) графиня д'Офелиз. Она-то и покрыла болезнь старика тайной. Ни графиня, ни Данте, ни Бонишон не говорили о болезни ни слова: болен и все. Эта графиня, на мой взгляд, была воплощением *ni foi ni loi*: хитрая, ловкая, лживая, неприятная — она была населена злом. Полностью. Зло из нее пёрло! Это самый омерзительный тип животного. Вместе с ней появился и её муж. Раньше они снимали домик в деревне. Теперь день-деньской были здесь. Граф устроил себе столярную в доме против нашего обиталища. О графе "в общем и целом": он производил впечатление хорошее, но, конечно, кораблем их жизни правила злыдня-графиня. Приехали они из Эльзас-Лотарингии. Французская фамилия их меня удивляла: д'Офелиз. Ничего французского. И, наконец, как-то за чаем меня "осенило".

— Господа, — говорю, — да ведь они никакие не коренные французы, раз они приехали сюда из Эльзас-Лотарингии, они просто-напросто фон Хофлиц, но сейчас во Франции это звучало бы некстати, и они превратились в д'Офелизов.

— Ну, конечно, — сказал Сереза.

Жены с моим открытием согласились. Но какое нам, в конце концов, дело? Фон Хофлиц так фон Хофлиц, д'Офелиз, пускай будут д'Офелиз! Правда, за глаза мы часто стали называть их фон Хофлиц.

Граф был человек вежливый, ни во что не вмешивался. Поэтому меня особенно поразило, когда Олечка вбежала в дом с криком:

— Рома, скорей беги в коровник, Сережа там хочет запороть графа вилами.

Я бросился, сломя голову, и что же вижу: разъяренного Сережу, наступающего на графа с грязными вилами, крича: "Ты, фон Хофлиц, будешь мне делать замечания?! Не твое дело, как я работаю! Я тебя сейчас вилами запорю!".

Граф, конечно, тоже увидел Сережину ярость, но стал у ворот коровника, не отступая. Я бросился к Сереже, схватил у него вилы: "Сережа, не сходи с ума! прекрати это безобразие!"

И моим вмешательством безобразие кончилось. Граф пошел к себе в столовую, а я пристал к Сереже: в чем дело, что это, действительно, за безобразие? Но Сережа уже отошел и только бормотал: "Вот сволочь этот фон Хофлиц, стал говорить, что я не так, видите ли, чищу навоз в коровнике. Да какое его дело? Кто он такой? Приживал!"

Олечка и я увели Сережу домой пить чай и тут, за чаем, Сережа совершенно отошел от своей дикой "вспышки". Эти "вспышки" были всю жизнь, начиная с — "Трефка, черт, я тебя зарежу!" На этом "вилопырянии" графа не стоило бы останавливаться, если бы у него не было продолжения.

"Продолжение" состоялось вскоре, на первый день Пасхи. Чтобы не пасти в этот праздник коров, мы задали им хорошего сена на весь день, а сами, чисто одевшись, предались отдыху. Сережи дома не было. Я стоял у раскрытого окна нашей комнаты. День был теплый, чудесный. Вижу — из-за коровника идет Сережа, тоже чистенький, праздничный. А прямо ему навстречу граф д'Офелиз. И вдруг, к моему невероятному удивлению, Сережа идет прямо на графа. Они сходятся посреди двора, и я слышу, как Сережа говорит: "Граф, сегодня такой великий праздник, Воскресение Христово! Я знаю, что я поступил в отношении вас очень плохо, очень не по-христиански и, как христи-

анин, прошу вас в этот святой день простить меня.” И Сережа вдруг заплакал.

В ответ — совсем уж неожиданно для меня — заплакал и граф. Я не разобрал, что он говорил, но вдруг посреди двора оба плачущие троекратно облобызались — ”Христос воскрес!” — ”Воистину воскрес!” Я подозвал Олечку, чтобы она видела эту невероятную картину ”христианского примирения”. Потом мы спустились вниз, в нашу большую ”трапезную” комнату. Сережа, войдя, уже не плакал, но вытирал глаза платком. ”Ну, примирение состоялось?” — спросил я. Сережа пробормотал: ”Состоялось!”. Он явно не хотел об этом говорить, ведь это никак не увязывалось с его баптизмом и от этого он, конечно, искренне страдал. Но что меня больше всего удивило в этой пасхальной истории — слёзы графа. На следующий день графиня сказала жене брата: ”Ваш муж вчера сделал благородный, настоящий христианский жест”. А не останови я во-время Сережину ярость, может быть, и произошло бы что-нибудь непоправимое.

Меринов

Как-то к нам за молоком из Лавардака приехал русский художник Дмитрий Меринов. Лавардак — крохотный городок, километрах в семи. Меринов получил молоко. Разговорились. Нашли много общих знакомых по Монпарнасу. Меринов был завязтый ”монпарно”. Он с давних лет, еще с Первой мировой войны (”Добровольческий корпус”) приехал во Францию. На фронте был тогда в Салониках, а потом не покидал Парижа. В Лавардак приехал потому, что его жена Роза, венгерская еврейка, в Париже оставаться не могла.

Поговорили о том, о сем: о ”Доме”, ”Ротонде”, все это ушло, казалось, навеки. В Лавардаке они жили на деньги Розы (у нее что-то было). Меринов же с утра до вечера писал гасконские пейзажи. Надо сказать — неплохие. У меня кое-что из них до сих пор висит в квартире.

Осмотрел он наше хозяйство и в ужасе спрашивает:

— Но как же вы можете *это* выдержать? Ведь это же каторга, настоящая каторга! Тут ни одна мысль в голову не ползет!

— Да и не лезут. Как? Живут же люди в концлагерях, но у

меня все-таки жизнь здесь лучше концлагерной.

— Ну, если сравнивать...

Так и приезжал он к нам часто за молоком. Но однажды ночью — мы спали с Олечкой в комнате на втором этаже, окна выходили во двор, к подъезду дома — я вдруг сквозь сон слышу как будто звук небольшого камешка, брошенного в оконное стекло. Олечка тоже проснулась. Но мы не встали, думали — померещилось. Второй бросок в окно, уже посильнее. Встали. Подхожу к окну и вижу около дома двух велосипедистов, Меринова и Розу. Меринов зажигает велосипедный фонарь и говорит вполголоса:

— Прости, пожалуйста. Спустись, надо поговорить.

Это была уже глубокая ночь. Что-то накинув на себя, я вышел. Меринов взволнованно говорит:

— Получили точные сведения, что немцы в ближайшее время займут Лавардак и Нерак.

(Это был разгар немецкого наступления на Востоке — до Сталинградской битвы.)

— Ты понимаешь, что это значит для Розы? Я как-то еще скроюсь у знакомых французов, но Розу надо спрятать. И мы думаем, что лучше всего — у вас. Но, конечно, не в доме, а где-нибудь на сеновале... А я буду искать более подходящее место.

— На сеновале? Хорошо! Но там не очень-то комфортно.

— Тут дело о жизни идет, какой уж там комфорт.

Мериновы перепуганы были до смерти, да это и понятно. Я взял электрический фонарь и мы пошли к сеновалу.

— А откуда эти сведения?

— Это серьезно... из жандармерии...

Поднялись на сеновал. Роза, вероятно, видела сеновал впервые в своей жизни. Как-никак устроили ей место. И Меринов уехал.

Олечка ждала, сидя на кровати. И когда узнала про Лавардак и Нерак, сразу же сказала:

— Ведь это опасно и для тебя из-за "Ораниенбурга".

— Конечно, опасно, Я возьму некоторые рукописи и черновик "Ораниенбурга" и попрошу их спрятать у доктора Валя (Valat). Валя был правый человек, ненавидел коммунизм, скло-

нялся к фашизму. К нам он относился очень хорошо. Так это и сделали. Рукописи пошли к нему. Националист до мозга костей, Валя говорил: "Я люблю только французов и хороших людей любой нации".

Но вскоре, к нашему облегчению и к облегчению Розы (она была весьма претендательна), Меринов нашел для нее не сеновал, а комнату в квартире доброй, чудесной женщины, Мадлен Дюверже, собственницы лавки в Фегароле, и ночью я отвел туда Розу.

Шпейер из Тулузы

Как-то я в Нераке встретил милейшего фон Зельгейма и, хватаясь за голову, он сказал:

— Ах, Роман Борисович, и зачем вы написали этот "Ораниенбург"! Ведь вы знаете, какие немцы дошлые, они до всего докопаются и тогда вам не сдобровать.

— Вы, конечно, правы. Это может случиться. Но тут, знаете, кого я больше побаиваюсь? Русских. Донесут. Вот, например, эта компания вокруг Тищенко, да и другие могут просто так — "для удовольствия".

— Конечно, могут, конечно.

Когда я возвратился из Нерака домой, Олечка в волнении говорит:

— Знаешь, Рома, приезжал Рябцов и приглашал на обед-собрание. Говорит, это будет встреча с трупфюрером русских в Тулузе, с каким-то Шпейером. Очень звал. Обязательно, говорит, приходите. Шпейер сделает доклад.

Тут я ощутил некоторую опасность — русский немец, трупфюрер русских эмигрантов в Тулузе — Шпейер. Вероятно, какая-нибудь сволочь. А русское окружение будет все из людей-подлиз к прогитлеровцам. И кто-нибудь, конечно, может указать, что метайеры из Нодэ "за союзников", а это привлечет к нам внимание трупфюрера.

День обеда со Шпейером приближался. И я не скажу, чтоб эта "дата" нас не беспокоила. Оступиться было легко. Не пойти — нельзя, этим еще больше привлечешь к себе внимание трупфюрера. А идти — страшновато.

Мы всё обсуждали: идти или не идти? Но я решил, лучше уж рискнуть и идти, чем не идти, ибо заговорят сейчас же, почему Гули не пришли? И вот тут-то могла (в этом я был уверен) открыться дорога к моему "Ораниенбургу". Решили идти. И пошли.

До Рябцова было близко. Пришли. Все уже в сборе. Всё очень хорошо, по-русски — стол накрыт на 20 персон. Тут и "водочка", и "селедочка", и вино — всё как надо. Но открытого прогитлеровца Тищенко, который скоро собирался ехать в Киев получать назад свои мельницы, чтоб пустить их в ход, слава Богу, нет. Это ощутилось уже как облегчение. Остальные были безобиднее, да и биографии моей не знали.

Рябцов меня тут же представил Шпейеру как "героя Ледяного похода". Но, главное, Шпейер оказался совсем иным, чем я представлял себе "трупфюрера". Я представлял себе трупфюрера по Ораниенбургу — как грубого хама. В Шпейере ничего этого не было. Высокий, худой, по-военному выправленный, в черном френче, черных галифе и высоких сапогах. Очень привлекательный, приличный "белый офицер". Меня посадили за столом рядом с ним. Мы сразу разговорились, и я увидел, что это хорошо воспитанный, приятный человек. Ни о Гитлере, ни о каких прогитлеровцах — ни слова. Олечка, поглядывая на нас и видя наш дружеский разговор, сразу успокоилась. После "водочки" и "закусочки" все разогрелись, потеплели. И я понял, что для Шпейера гадости — не специальность. При прощании — он ушел раньше нас — мы расстались совершенно дружески. Всякие подозрения и страхи как рукой сняло.

— Он милый, этот Шпейер, — сказала Олечка, когда мы вышли от Рябцова.

— Очень. Хорошо воспитанный, это вам не Тищенко со своими киевскими мельницами. Хорошо сделали, что пошли.

Но и в Вианне, и в Лавардаке, и в Нераке все еще была скрытая напряженность. Слухи усиливались, что через некоторое время немцы займут все эти города.

У нас было прекрасное радио, и по вечерам, слушая из Лондона Би-Би-Си, мы были в курсе военных событий. Вдруг в один прекрасный вечер узнаем: Сталинградская битва выиграна Советами. Результат победы сказался тут же и на нас. Вместо того,

чтоб занимать Лавардак и Нерак, немцы стали спешно перебра-
сывать все свои резервы на Восток. И слухи о занятии Лаварда-
ка и Нерака отпали. Так меня, "завязтого врага советчины",
спасла Сталинградская победа. Я был рад.

А тут еще такой странный случай, о котором говорила вся
округа: неизвестный немецкий солдат покончил жизнь самоубий-
ством — привязал себя ремнями к велосипеду и на этом велоси-
педке, среди бела дня прыгнул в реку. Конечно, утонул. Наверное,
это был хороший человек, которому вся эта человеческая идиот-
ская кровавая колошматина стала невыносима до того, что он
предпочел трагедию самоубийства. Это говорило, о том, что
между гитлеровцем и немцем нельзя ставить знак равенства.
Немцы баграми вытащили труп и увезли.

Болезнь Ле Руа Дюпрэ

О болезни Ле Руа Дюпрэ мы узнали от графини д'Офелиз.
Она сказала: "Если вам надо будет о чем-нибудь спросить, обра-
щайтесь ко мне. Мсье Ле Руа Дюпрэ болен и его беспокоить
нельзя!"

На мой вопрос: "Чем болен мсье Ле Руа Дюпрэ?", последо-
вал ответ: "Тяжелой болезнью". И всё. Разговор кончен. Графи-
ня появлялась ежедневно с самого утра, и не отходила от боль-
ного целый день. Еще будучи в здравом уме и твердой памяти,
мсье Ле Руа Дюпрэ говорил мне, что прямой наследник — этого
замка и всей земли — его племянник, лейтенант маркиз де Пом-
пиньян, находящийся в немецком плену. Но, увы, не знаю, как и
почему, после смерти мсье Ле Руа Дюпрэ шато Нодэ и вся земля
неожиданно перешли в собственность этой напористой графини.

Напористая графиня получила всё. Маркизу де Помпиньян
я видел. Она приезжала. Удивительно ингересная, красивая брю-
нетка, с прекрасными манерами, хотя, как я потом узнал, она
была дочерью испольщика в имении маркиза де Помпиньян.
Графиня по внешности годилась ей в горничные. Оказалось, что
маркизе де Помпиньян были оставлены какие-то вещи, которые
должна была ей передать графиня. Но маркиза, ничего не взяв
из "оставленного" ей, уехала. Победителями остались все та же
графиня и ее безвольный муж.

Ротмистр Рустанович

Человек часто искренне не понимает, что к чему в его жизни. И хорошо, что не понимает. Например. Как-то после тяжелой работы в поле, а потом дойки коров я выхожу из коровника и иду в наше обиталище. Вижу, с дороги к нам съезжает на велосипеде фигура. Пожилой человек. Я сразу догадался, что он русский. За спиной у него что-то непонятное, при приближении оказавшееся гитарой в чехле. "Кого это черт принес?", — злобно подумал я. — "Хотел отдохнуть, так нет, какой-то старый черт с гитарой". А подъехавший уже слез с велосипеда и с светской улыбкой идет ко мне.

— Простите, вы Роман Борисович или Сергей Борисович? Я ротмистр Рустанович. Буду рад познакомиться. Приехал к вам издалека. Из Кагельялю. Мне давно говорили, что здесь живут русские, вот и хочу повеселить вас цыганским романсом. "Да, что он, в уме?" — подумал я, но, выдавив из себя гримасу вежливости, сказал:

— Очень рад. Пожалуйста, мы как раз будем чай пить.

— Ну, вот и прекрасно, а я повеселю вас цыганским романсом.

Вошли в нашу кухню-столовую, все уже в сборе. Рустанович целует дамам ручки, рассыпается старосветскими комплиментами. Все это производило не только странное, но и смешное впечатление. После чая он слегка отодвинулся от стола и вынул из чехла гитару.

— Ну, — говорит, — разрешите, я вам спою что-нибудь наше, цыганское, любимое.

Мы со всех сторон: "Пожалуйста, пожалуйста". И дребезжащим голосом он запел: "Не уходи, побудь со мною...."

"Черт бы тебя драл вместе с твоим "побудь со мною" — думал я. Ни петь, ни играть толком Рустанович не умел, к тому же он был уже далеко не молод. Я никак не понимал, к чему же в конце концов приведут эти цыганс-романсы? Но вот как человек не знает судьбы и не в силах понять смысла происходящего. Так и мы не предполагали, что цыганс-романсы Рустановича дадут хорошие и нужные нам результаты.

Рустанович рассказал нам, что он живет вместе с женой в

известном замке Ле Санда (Le Sendat) у мсье Мобургет. У замка этого масса мэтэри — семнадцать. Но две из них пустуют. И Мобургет, узнав о нашем существовании, очень хочет, чтобы мы взяли одну из них. Он говорил об этом с Рустановичем. И тот приехал сюда с гитарой.

— О вас я узнал от Мяссарош, — сказал Рустанович. — Вы знакомы с Мяссарош?

— Нет, кто это?

— Ах, это милейшие люди. Русские венгры, большая семья. Они живут недалеко, в Лавардаке, и очень дружат с мадам Вигурё. А Вигурё вы знаете?

— Нет, у нас 11 дойных коров и кроме коров мы ни с кем не знакомы. Времени нет.

— Как жаль, как жаль! Вам обязательно надо с ними познакомиться. Мадам Вигурё — дантистка, русская еврейка, рожденная Мандельштам, замужем за французом.

Я понял, что и тут есть не только Рябцов, Кайдаш, милый Уварыч, но и свое "высшее общество".

— Ну, вот, — продолжал Рустанович, — когда я узнал от Мяссарош о вашем существовании, я очень обрадовался и говорил с Мобургетом. Мы с ним очень хороши, моя жена работает у них в шато. Мобургет хотел бы, чтоб вы взяли его свободную мэтэри Пайес — он богач, даст все нужное, пару быков, дойную корову, необходимые орудия производства.

Рустанович под секретом даже рассказал, что Мобургет, как и многие богатые французы, боится, что после войны начнется революция, и хочет иметь метайерами приличных людей, которые его не разграбят. От имени Мобургета Рустанович и предложил нам приехать посмотреть свободную ферму Пайес и, если она подойдет, взять ее в испольщину.

Это было как раз нам на руку, потому что через несколько месяцев срок договора в шато Нодэ кончался и оставаться с этой сволочной графией у нас не было никакого желания, да и у нее, наверное, тоже. Так что мы уже с удовольствием прослушали еще один романс — "Я давно тобой мечтаю". Перед отъездом Рустанович, закинув за спину свою гитару, рассказал нам дорогу в шато Ле Санда, куда Сережа решил поехать завтра же,

договариваться с Мобургетом. Распрощались с певцом дружелюбно.

— Вот вам и выход из положения, — проводив Рустановича, сказал Сережа.

— Да, как будто бы, хоть и претерпели мы множество "цыганс-романсов".

Злыдня действует

Редко я встречал более отвратных людей, чем эта графиня. Неожиданно для всех став собственницей шато Нодэ и зная, что через шесть месяцев наш контракт кончается, она повела на нас атаку. Первое, что она сделала, это попыталась пустить нас "нагишом". Она подала на нас в суд, обвинив в нерадивости, лени, безделии; мы, мол, запустили пашню, молочное дело и вообще "разрушаем" ее владение.

Суд всегда дело серьезное. А тут ты — бедный ипольщик, да еще иностранец. Не один вечер мы просидели с Сережей, собирая доводы для ответа в суде на все обвинения. А фактические данные были таковы: мы увеличили поголовье скота на семь голов (семь телят, которых мы с Олечкой выкормили с пальца). Пашня, которую Сережа увеличил на два гектара, подняв целину. Качество молока приезжавшим собирать его чиновником было оценено как "исключительно высокое". Собрали мы с Сережей еще кое-какие положительные факты нашей ипольщины и решили, что я поеду в Нерак к мэру города, адвокату, радикал-социалисту Курану и попрошу его защиты. Я предполагал, что радикал-социалист Куран, приятель Гастона Мартэна, тоже масон. К тому же я узнал, что Куран терпеть не может графиню, так как у него был когда-то с ней конфликт.

Я хотел, чтобы на суд ехал Сережа, но он категорически отказался. Так что на суд пришлось ехать мне. Но сначала я поехал к Курану. На сто процентов я не был уверен, что Куран масон, но на 90 процентов — да: из-за его дружбы с Гастоном Мартэном, да и потому, что радикал-социалисты в подавляющем большинстве были масонами.

Едучи в Нерак, я думал: сделать ему масонский знак или нет? Решил не делать: во-первых, все-таки я не был уверен, что

он вольный каменщик, а во-вторых, стеснялся. Решил сказать только о своей дружбе с Гастоном Мартэном и что встречал его на рю Кадэ.

Куран — небольшой, круглый — принял меня любезно. Когда я ему рассказал фактическую сторону дела, он согласился выступить в нашу защиту. Гонорар назначил небольшой (наверное, помогло упоминание о моей дружбе с Мартэном).

В день суда я приехал в Нерак, конечно, взволнованный. Меня, "метека", будет судить французский суд. Рядом с графом сидел ловкий неракский huissier (судебный пристав), для того, чтобы немедленно привести постановление суда в исполнение.

В зал суда вошел судья — совсем молодой человек. Увидев графа д'Офелиза, он подошел к нему и сказал, что учился в университете и дружил с неким д'Офелизом — не родственник ли он графа? Граф ответил, что это его сын. И тут начались расспросы о сыне, смех, рукопожатия. Я почувствовал, что я пропал.

Наконец, судья занял свое кресло, открыл заседание и прочел мне, в чем я и моя семья обвиняемся: в небрежении, в приведении хозяйства в негодность и так далее. Читал он это обвинение довольно долго. И закончил его словами: "Что вы можете сказать в свое оправдание?" Тут я думал, что выступит мэтр Куран. Но нет, он сказал:

— Мсье Гуть, расскажите все, что вы можете об этих обвинениях.

И вот свершилось некое чудо. Мой французский язык был далеко не безукоризненным, тем более выступать надо было перед французским судьей, французом-huissier, мэтром Кураном и безмолвно сидящим графом. Но надо так надо. И я заговорил, заглядывая в бумажку, которую мы составили вместе с Сережей, чтоб не ошибиться в цифрах и фактах. Kurz und gut. К моему собственному удивлению, я чувствовал, что говорю гладко, точно, хорошо, и если ошибаюсь, то в пустяках. Я говорил долго. И вдруг почувствовал, что между мной и судьей, который упорно смотрел на меня, пролегли некие скрепы. Он слушал меня напряженно, иногда что-то записывал. Но я почувствовал каким-то шестым чувством, что он мне верит. К тому же я приводил конкретные факты и цифры. И когда, устав, я кончил, извинившись перед "Его Честью" за то, что говорил так долго, к чему

меня вынудила взведенная на нас чистая ложь, я сел, отирая со лба пот. Судья дал слово мэтру Курану, моему адвокату, который, к моему удивлению, сказал одну лишь фразу, а именно, что после "замечательной" (так и сказал) речи своего подзащитного, мсье Гуля, ему нечего добавить. Тогда судья обратился к "юисье" и к графу д'Офелиз: "Что вы можете представить в опровержение приведенных мсье Гулем доказательств?" Граф и "юисье" коротко пошептались, после чего "юисье" заявил, что они воздерживаются от выступления. Молодой судья обратился ко мне:

— Мсье Гуль, все обвинения, выдвинутые против вас, отпадают. Я объявляю судебное заседание закрытым.

Я был на вершине радости, говоря про себя: "Есть еще во Франции правосудие!". Я был счастлив, так счастлив, что трудно передать. Ко мне подошел мэтр Куран.

— Почему же вы не выступили? — спросил я.

— Вы произнесли совершенно замечательную речь, — ответил он.

— Но мой французский....

— Ваш французский был совершенно превосходен. Я вас поздравляю! Это было блестяще, и после вас мне действительно не нужно было ничего добавлять.

Я пожал руку мэтра, поблагодарил его и вышел из здания суда необычайно облегченным. Сел на велосипед и поехал в Нодэ.

Надо ли говорить, что вся семья была просто в восторге от такого оборота дела. Ведь если бы мы "проиграли", этот самый чернявый, сухой судебный пристав тут же бы начал приводить постановление суда в действие, то-есть выгонять нас с фермы, чтоб "пустить нагишом".

Но когда человек сволочь, это непоправимо. Вскоре графиня встретила меня на мэтри и сообщила, что ей кажется, что некоторые коровы очень похудели, и она поэтому вызвала ветеринара, чтобы он всем коровам сделал прививку от туберкулеза.

— Я думаю, что это напрасно, но это ваше право, — сказал я. Злыдня хотела нас добить не мытьем, так катаньем.

Приехал ветеринар. Я ему помогал. Он сделал прививку всем коровам. Увы, ни одной туберкулезной не оказалось. Думаю, эти прививки влетели мадам в хорошую копеечку. И чтоб

доставить себе удовольствие, встретив графиню через несколько дней, я с улыбкой сказал этой стерве:

— Как видите, мадам, все коровы здоровы. Прививка, наверное, обошлась вам дорого.

Со "светской выдержанностью", как будто ничего и не случилось, мадам Сволочь ответила: — "Но надо же было проверить, ведь мы же продаем молоко... детям".

— Да, продаем, но не туберкулезное, как вам, вероятно, бы хотелось, — и я невежливо пошел прочь.

Все эти наступления на нас графини оказались только прелюдией к самому главному: — к дележу урожая и приплода. За это время мы с Сережей побывали у Мобургета в его шато Le Sendat, ходили с ним на запущенную и пустующую ферму Pailles и договорились, что вскоре на нее переедем. По сравнению с графиней, Мобуржет был простяк и симпатяга. Он был человек очень деловой, богатый, на испольщиках нажиться не собирался. Ему важно было только, чтобы зѐмли его не превращались в целину. Мы ему подошли еще и тем, что были порядочные люди, которые никаких гадостей ни при каких обстоятельствах не делают. Все нужное для хозяйства он давал: двух бурых гигантов-быков для пашни, молочную корову для нас, и орудия производства. Разрешил привести и свою корову, если захотим. Так что все было в порядке и мы с толстяком Мобургетом подписали контракт, поблагодарив Рустановича и познакомившись с его милой женой.

Делѐж

Итак, день дележа урожая перед нашим уходом настал. Я допускал все от мадам Сволочи, но не догадался все-таки, что она еще придумает. Когда мы с Сережей в полдень пошли на делѐж, то увидели рядом с графиней и всегда молчаливым графом какого-то человека. Я его сразу узнал: это был макиньон из Нерака, известный своим жульничеством и коллаборантством с немцами. По виду этот мсье Боннэ не был похож на француза — громадного роста, очень крепкий, красивый и вместе с тем совершенно бесцеремонно наглый. Мешки с пшеницей делить было просто, и все же "макиньон" таскал каждый мешок на весы.

— Ну, таскай, думал я, — это для тебя хороший спорт.”

Но когда начался делёж скота, произошло нечто, что и Сережу и меня взорвало. Не обращая никакого внимания на нас, будто нас тут и нет, будто мы к этому не имеем никакого касательства, “макиньон”, разговаривая только с графиней, стал отбирать лучших коров и лучших телят и отводить их в сторону. Я взорвался. Взглянул на Сережу. Вижу, и он уже “взорван”. Тогда я сказал ему по-русски:

— Давай прекратим это безобразие! Заявим, что мы с таким дележом не согласны и уйдем домой, пусть что хотят, то и делают, за это они ответят!

Да, давай! — ответил Сережа.

И, обращаясь к графине, я сказал:

— Простите, мадам, но мы мсье Боннэ не приглашали. С его дележом мы не согласны, а потому прекращаем всякий делёж и уходим.

— Как же так? — растерявшись от неожиданности, произнесла графиня.

— А вот так! Делите сами, как хотите, но имейте ввиду, что за все вам придется отвечать в суде!

И мы, не желая слушать никаких доводов мсье Боннэ, отвели всех телят в хлев, а сами ушли домой. В окно я видел, что Боннэ и графиня о чем-то возбужденно говорили, но потом макиньон сел на велосипед и отправился восвояси. А графиня с мужем, продолжая о чем-то взволнованно разговаривать, пошли в замок. Такого оборота дела они никак не ожидали от этих “метеков”. Я знал, что у них на примете уже есть другие метайеры, но пока мы оставались здесь, они не могли ни въехать в наш дом, ни войти в коровник, чтоб доить коров или кормить телят. Своим отказом от дележа мы поставили их в трудное положение. Но и нам хотелось покончить дело с графиней-Сволочью возможно скорее. Что же было делать? Сережа в этом вопросе инициативы не проявлял. И я решил поехать в Вианн посоветоваться со своим приятелем-французом, мсье Дюжаном — владельцем единственной галантерейной лавки в городке. Ему я возил молоко для его семьи и был с ним в хороших отношениях.

Оседлал велосипед, поехал. Дюжан был веселый француз, любитель всяких прибауток и двусмысленностей, Я застал его в

магазине, сказал, что хотел бы с ним поговорить по серьезному делу. Я знал, что к графине д'Офелиз он относится больше чем прохладно.

Дюжан завел меня в небольшую заднюю комнатку. Я ему все рассказал и просил совета: что сейчас делать? Дюжан задумался.

— Мсье Гуль, я понимаю ваше положение. И по другим делам знаю, что графиня д'Офелиз далеко не богородица. Я дам вам совет. Но только при одном условии: чтоб никто не знал, что это я посоветовал. В особенности, графиня. У меня торговое дело, и я не хочу ни с кем ссориться.

Я заверил Дюжана честным словом, что все его советы останутся "между нами". И вот что он мне посоветовал: ехать в Нерак к его другу, мсье Марти: "Расскажите Марти все, 'как есть!'". Марти, бывший полицейский, исключительно порядочный человек, он никогда не подведет. Он часто занимается такими "адвокатскими" делами и все удачно устраивает.

Одним словом, на другой день я был уже в Нераке у мсье Марти. Спокойный, умный, деловой и — мне почувствовалось сразу — хороший человек, Марти согласился вмешаться в это дело. И на другой же день приехал к нам.

Я показал ему коров и телят. Рассказал, как маклак Боннэ собирался все это делить. Марти понял с полуслова. И когда я попросил его стать "делителем" между графиней и нами — "на ваш дележ мы заранее согласны" — он ответил:

— Хорошо. Я пойду сейчас к графине д'Офелиз и поговорю с ней. Думаю, все будет в порядке.

Вернувшись от графини, Марти сказал:

— Всё в порядке. Она согласилась, чтоб я был "арбитром".

И через три дня под руководством Марти (арбитра действительно беспристрастного) дележ прошел без сучка и задоринки. Графиня была тиха и со всем согласна. Как нашу долю, мы получили одну дойную корову и четырех чудесных телят, которых продали соседу Шокару. Кроме того, благодаря Марти, мы получили одну молодую нестельную, черно-белую породистую "Маркизу", которую решили взять с собой на Пайес. Так мы, наконец, отбились от отвратительной графини фон Хофлиц

д'Офелиз, которая от злобы и жадности всё старалась пустить нас из шато Нодэ "нагишом".

Пайес

Всю свою жизнь Мобургет был управляющим большими поместьями, владельцы которых жили в Париже или в Ницце. Со временем Мобургет купил одно из управляемых им поместий — шато Ле Санда с старинным замком времен ещё Людовика XIV, с башнями, бойницами, глубоким рвом, через который были перекинuty живописные мостики. Замок был очень красив и в полном порядке.

При замке было 17 мэтэри: на 15-ти батрачили испольщикитальянцы, а две пустовали. Вот одну из них, называвшуюся Пайес, мы и взяли. Она была очень запущена, бóльшую площадь ее составляла целина. Мобургет дал нам всё необходимое. Двух гигантов (я таких никогда прежде и не видел), бурых баффало, одну молочную корову для нас. Другую, "Маркизу", мы привели с собой, как и своих двух рабочих коров. Привезли своих кур, кроликов, так что теперь мы уже ели не "только пшеницу". У нас было все, как у всех крестьян.

Дом был просторный, большой, с камином. Дрова можно было рубить свои. Пайес стоял на опушке леса на изволокe. С него был далекий вид: вся крошечная деревенька "La Reunion", а вдалеке — куда мы ездили на велосипедах за продуктами — город Кастельжалю, примерно такой же, как Нерак.

Когда я познакомился с мадам Мобургет, она пригласила меня как-нибудь зайти, посмотреть замок внутри. Я, конечно, с удовольствием пришел и увидел, что мадам Мобургет (умная, деловая женщина, совсем из простых и, как мне сказали, страшно скупая) сидит в кухне. Но кухня гигантская, и на всех стенах до блеска вычищенная посуда. Я сделал мадам Мобургет и ее кухне комплимент.

— Да мы и живем, собственно, в кухне, только спать уходим в спальню, — сказала она. И повела меня осматривать замок.

Комнат в трехэтажном замке — неисчислимое количество. И все обставлены всяческой дорогой стариной. Я видел, что ма-

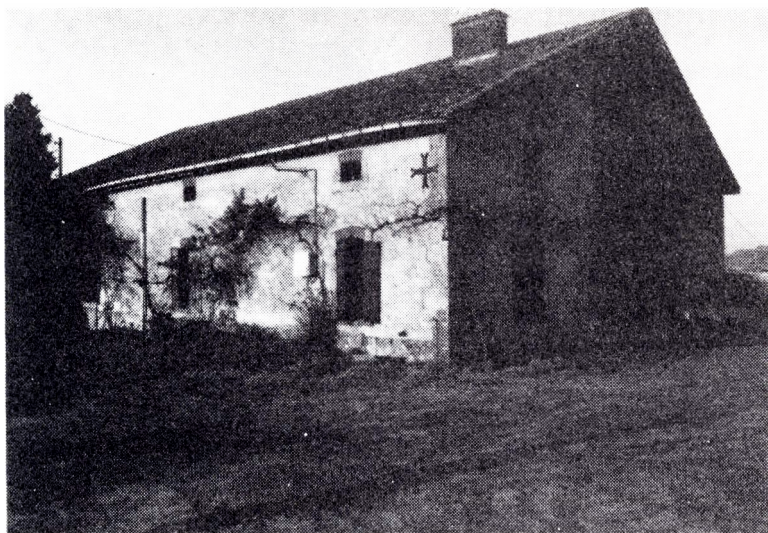
дам Мобургет показывает мне все это богатство с удовольствием. Показывая одну из спален, сказала, что здесь спал когда-то маршал Тюренн. Рассказывала какие-то истории из времен Людовика XIV, но я плохо слушал. Должен сказать, что путешествие по этому громадному, красивому замку мне доставляло удовольствие. И я видел, что это было и удовольствием мадам Мобургет, обладательницы этого "счастья".

На Пайесе жизнь наша стала много легче, чем в Нодэ. Только я побаивался за Серезу. На своих бурых буйволах бросился он, как безумный, поднимать целину. И зачем? Здесь можно было работать исподволь. Но Серезу не удержишь. А у Серези, как мне казалось, силы поддаются. Он стал худее, нервнее, и я боялся за его здоровье. Замечали это и его жена и Олечка. Но все уговоры и убеждения, что здесь, мол, мы можем немного "отдохнуть" с двумя молочными коровами, курами, кроликами, были безрезультатны. Сереза только сердился и остановить его было нельзя: во всем был виноват Густав Эмар и баптизм. И это было неисправимо...

Изредка к нам приезжали Рустановичи — муж и жена — к чаю. Изредка и мы бывали у них. Иногда приезжали Серезины друзья-баптисты, из которых особенно приятен был мсье Бертран из-под Нерака. Мягкий, красивый, с черной вьющейся бородой, с темными глазами, с очень приятным говором, он был истинный, природный христианин. И единственно он действовал на Серезу успокоительно. На все "жалобы" Серези, что ни я, ни Олечка не следуем баптизму, Бертран мягко говорил:

— Дорогий брат, это ничего не значит, они очень хорошие люди и я за них ежедневно молюсь. Молиться надо, вот и всё, а спорить не надо.

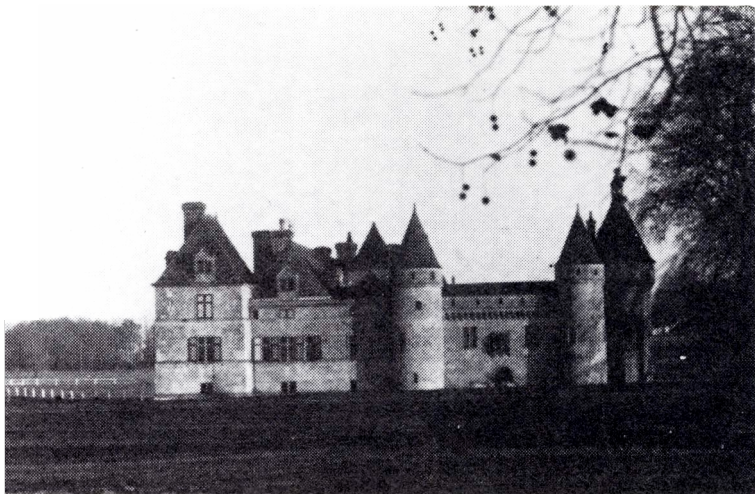
Однажды прибежал к нам испуганный сосед и стал рассказывать, что немцы (тогда они уже уходили из Франции) вступили в Кастельжалю и хотят оккупировать город. Слух этот нас, конечно, взволновал. Но страшен черт, да милостив Бог. К счастью для всех, мэр города Кастельжалю свободно говорил по-немецки. И он тактично всячески отговаривал немцев от занятия Кастельжалю. Все же городок был бы занят, если бы не "счастливое обстоятельство". Командир немецкого отряда спросил мэра: "Где здесь в Кастельжалю баня?" Мэр ответил, что в



Наш дом в Пайес



Пайес, наша "мэтэри", поднятая целина



Замок Мобургета "Le Sendat"



Наша деревушка "Ля Реюньон"

Кастельжалю бань нет. Немец остолбенел. И это решило всё дело: отсутствие бани спасло Кастельжалю от занятия его немцами. Немцы решили не останавливаться в этом "некультурном" городке.

Знание мэром немецкого языка и отсутствие городской бани спасли Кастельжалю от занятия немцами. Немцы ушли. Но мэру эти переговоры стоили жизни: на другой день он умер от сердечного припадка.

Здесь, в Пайесе, я и застал конец Второй мировой войны. Помню, я пас коров на большом лугу, почти примыкавшем к дому. Из дома выбежала Олечка, радостно крича:

— Рома, Рома, война кончилась! Сейчас по радио сказали, что Берлин капитулировал.

И тотчас же зазвонили все колокола во всех церквях. Звон несся из Кастельжалю. И у нас, в Ля Реюньон. По радио мы знали о капитуляции Италии, о высадке в Нормандии, о капитуляции в Реймсе. И все-таки весть о капитуляции Берлина меня радостно потрясла.

Олечка села рядом со мной на траву: — Какое счастье, что эта идиотская война кончилась! — проговорила она.

— Да, счастье, большое счастье, — сказал я, глядя на коров с таким же наслаждением жующих траву, как и до капитуляции.

— Теперь надо собираться в Париж, — сказала Олечка, — но туда сейчас, наверное, трудно будет добраться.

— Да, надо. Все-таки отработали четыре с половиной года испольщины! Хватит.

Париж

И снова "въезд" в Париж. Но на этот раз въезд очень трудный. Отовсюду в Париж ехала масса народа. Билеты брали с боя. Мне помогло — как это ни странно — мое удостоверение о том, что я сидел в немецком концлагере (оно было переведено на французский). Кассир, оказалось, знал и немецкий и когда я ему сунул эту бумажку, он сразу же дал билеты. Но и в вагон сесть было нелегко, все переполнено выше божеской меры. А мы ехали не только с чемоданами, но и с котом Бимсом, которого Олечка ни за что не хотела бросить. Он у нас на ферме родился,

она его выкормила. Кот был, правда, чудесный, серый и большая умница.

Ехали мы на деньги, вырученные от Petit Caumont. Сосед-итальянец давно жаждал приобрести эту ферму (межа к меже с ним), чем увеличивал доходность своей фермы, получал хороший виноградник, а из нашего обиталища — как он сказал — он сделает коровник и займется разведением скота. Для скота обиталище было *вполне подходящее*, как раз! Он легко дал 35.000 франков, которые мы разделили с Сережей пополам. И на первое время в Париже могли неплохо устроиться. К счастью, мы нашли себе квартиру в том же доме на 253 рю Lecourbe, правда, теперь уж на пятом этаже, без лифта, одна комната и кухня. Но для нас и это был рай. С первых же слов консьержка — мадам Laval — рассказала, как за мной дважды приходили немцы. Бошей она ненавидела лютой французской ненавистью. Оба раза она сказала, что мы давно, еще до войны, куда-то уехали, и она совершенно не знает, куда.

Но что боши меня искали (теперь я ей сказал, почему), послужило к нашей большей дружбе. Она всю войну скрывала своего юношу-сына, не позволяла ему даже днем выходить на улицу. А дома он жил за какими-то баррикадами: м-ме Laval боялась, что проклятые боши увезут его в Германию на работу.

Итак, мы в Париже. Первый, кому я позвонил, был Я. Б. Рабинович: хотел узнать, жив ли он и как пережил войну?

Да, Я.Б. жив и здоров, жил там же, на рю Рейнуар. Он тут же пригласил меня к себе, сказав, что у него будет и А.Н. Пьянков.

О себе Я.Б. рассказывал кратко (он не любил длиннот), что всю войну был руководителем Резистанса (еврейского). Этот резистанс сливался с русско-эмигрантским, который дал своих героев из "Музея Человека" — Левицкого, Вильде (казненных нацистами). Позднее сливался и с коммунистическим, которым руководил коммунист-чекист Михаил Михайлович Штранге (собственно, фон Штранге). Штранге были из московских дворян. Но сей М.М. стал коммунистом сразу же после Октября. На границе Швейцарии и Франции, в Савоёе, его отец и мать, приехавшие из СССР, снимали замок, якобы "пансион" для отдыхающих, на самом же деле это была явочная квартира комму-

нистов-сопротивленцев. Туда приезжали и другие сопротивленцы. В частности, там бывал и Я. Б. и рассказывал, какие кулебяки, пироги, пельмени и другие "русские вкусности" подавались у Штранге.

Я.Б. был все тот же. Спросил меня, состою ли я еще в ложе "Свободная Россия"? Я сказал, что нет. Ко мне приезжал "достоочтимый мастер" сей ложи Григорий Забежинский, просил посещать собрания и, в частности, объяснил, что ложа эта переименована теперь просто в "Россию". — "Почему же это?" — спросил я. Забежинского я знал еще по Берлину. Он был русский еврей, у него был на Пассауэрштрассе книжный магазин (назывался, кажется, "Универсальная библиотека"). Был он человек недалекий, писал бездарные стихи и рецензии, но любил играть роль "литератора". В масонство, в ложу "Свободная Россия" вступил одновременно со мной. Теперь он был чрезвычайно надут и польщен, что после смерти Маргулиеса, Гершуна и др. стал "достоочтимым мастером". По Пьянкову, это был самый типичный "Иван Ильич Перепелкин". А перемену названия ложи он объяснил тем, что в слове "свободная" было нечто "антисоветское", теперь же, когда после войны СССР превращается в "свободную страну" (так и сказал!) — "Мы сочли правильным отбросить слово "Свободная".

Я ответил, чтоб они не считали меня членом ложи, что я состоять в масонстве больше не хочу. Он уговаривал, но я был категоричен и сказал, чтоб на масонском языке считали меня "заснувшим".

Я знал, что в Париже в связи с победой начался "угар патриотизма", от чего я хотел всячески уберечься, не встречаясь с "угорелыми".

Выслушав мой рассказ, Я.Б. (наперебой с Пьянковым) стал уговаривать меня вступить к ним в "Юпитер" в звании "мастера", каким я и был в "Свободной России". Я отказывался. Но "напор" их был чрезвычайен, оба говорили, что в "Юпитере" я не встречу ничего неприятного, ибо ложи шотландского ритуала совсем иные. В конце концов, в одно из посещений Я.Б. я, хоть и "против сердца", но дал свое согласие. Я.Б. был доволен, ко мне он был искренне расположен. Рад был и А.Н. Пьянков.

И я вступил в ложу "Юпитер", но с первых же заседаний по-

чувствовал, что, кажется промахнулся, попал из огня да в полымя. Я.Б., несмотря на ум, образованность, остроумие, обладал одним недостатком: он любил везде "сглаживать углы". И меня не предупредил, конечно, что многие члены "Юпитера" в "угаре патриотизма" превратились в отъявленных совпатриотов. Я увидел (не у Я.Б. и не у Пьянкова) с первого же собрания этот "совпатриотизм". И представлял этот "совпатриотизм" (в его крайней степени), как ни странно, сам "досточтимый мастер", адмирал Д.Н. Вердеревский, сразу вызвавший у меня полное душевное отталкивание.

Адмирал Д.Н. Вердеревский был в годах, но бодрый, по-военному выправленный, говорил он тоже по-военному, словно отдавал приказы; никаких компромиссов, как военный, не любил. Человек был умный. В былом одно время он был во Временном Правительстве морским министром. Это был тот тип человека, с которым я никак не мог бы хоть как-нибудь сойтись. Его "просоветизм" пёр из него. И в безапелляционном виде. Про себя я подумал: и зачем я дал себя уговорить Я.Б. и Пьянкову, тут у меня дело не пойдёт.

"Просоветскими" оказались и братья Ермоловы, в особенности Дмитрий, вошедший в просоветскую группу, созданную в Париже М.Л. Слонимом под названием "утвержденцев". Вместе с Вердеревским точно такими же ярыми "просоветскими" были тогда многие "досточтимые мастера", видные масоны: И.А. Кривошеин, ген. Н.Л. Голеевский (в Первую мировую войну бывший русский военный атташе в Вашингтоне); не называю других, некоторые, как, например, Л.Д. Любимов, оказались просто советскими агентами. Правда, впоследствии большинство таких "совпатриотов", будучи высланы из Франции министром внутренних дел Жюлем Моком, здорово заплатили за свой советизм — тюрьмами, ГУЛАГом, смертями. Но засвидетельствуем: в послевоенном Париже в масонстве "просоветизм" пышно цвел.

Несколько раз я говорил об этом с Я.Б., но он, конечно, "сглаживал углы", уверяя меня, что все это образуется, что это "не так страшно". Рассказывал, что сам несколько раз предупреждал И.А. Кривошеина "не сидеть под портретами". На общих масонских собраниях И.А. Кривошеин часто сидел под

портретом "генералиссимуса Сталина". "Не сидите под портретами, это вас до добра не доведет", — говорил ему Я.Б. Но Кривошеин выступал на общих масонских собраниях "под портретами", где рядом с Рузвельтом и де Голлем висел, конечно, портрет "генералиссимуса" Сталина (разбойника с Каджарского шоссе). И предупреждения Я.Б. на него не действовали, он хотел выступать именно под портретом Иосифа Виссарионовича.

Помню, как на одном из выступлений Кривошеина недалеко от меня сидел заслуженный масон, председатель Союза Объединения Русских Лож, наместный мастер ложи "Астрея" князь В.Л. Вяземский и во время речи Кривошеина громко, на весь зал несколько раз сказал: — "Бедные масоны... бедные масоны... бедные масоны..."

Но это был глас вопиющего в пустыне. Просоветизм в масонстве дошел до того, что среди масонов стал распространяться слух, будто в СССР тоже скоро создадутся масонские ложи и что всякий запрет с масонства будет снят. И я удивляюсь, почему Сталин не проделал такой "трюк" с масонством, не приказал создать масонские ложи во главе с Молотовым, как "достоцимым мастером", Кагановичем, как "братом оратором", Ягодой — как "братом дародателем", Хрущевым — как "братом охраняющим входы". Ведь было же создано в СССР "кагебешное евразийство" и действовало чрезвычайно успешно. Но такого "масонского анекдота-трагедии" все-таки не произошло.

В противоположность мне, нередко идущему на резкости, может быть даже и ненужные, Я.Б., как я говорил, был сторонником "англо-саксонского" компромисса и меня убеждал, что все это "просоветское" в масонстве — дело преходящее. Но меня не так легко было улялякать. И я решил дать Вердеревскому и иже с ним некий отпор.

Мой уход из масонства

В это время по-французски вышла знаменитая книга Артура Кёстлера "Даркнесс ат нун" (по-французски название было хуже — "Ноль и бесконечность"). Я прочел ее и этот "Мрак в полдень" буквально потряс меня. Это была первая книга, психологически

верно, убедительно и убийственно передававшая всю суть советского тоталитаризма. И остро ставящая вопрос — личности и тоталитаризма. Вот я и решил предложить Вердеревскому, что в ложе "Юпитер" я прочту доклад на тему "Darkness at noon". Вердеревский, конечно, сразу же запротестовал, притворно говоря, что такой доклад может внести "раскол среди братьев". Но я стоял на своем, утверждая, что, во-первых, свобода слова — один из краеугольных камней масонства, а во-вторых, роман Кёстлера — это яркая защита свободы человека, его личности, что тоже является и масонским девизом ("свобода, равенство и братство"). Но Вердеревский был упрямее меня. И на доклад мой наложил "вето". Тогда я письменно заявил, что если доклад мой будет запрещен, я уйду совсем из масонства, и разослал всем видным русским масонам письмо-протест. Я послал С.Г. Лианозову, А. Альперину, П.А. Бурьшкину, В.Е. Татаринovu, кн. В.Л. Вяземскому, М.М. Тер-Погосяну, П. Кобеко, др. Д. Аитову, П.Я. Рысс и другим. Это окончательно взбесило адмирала Д.Н. Вердеревского, не привыкшего к сопротивлению и твердо ведущему "советскую линию". И хоть в это время в ложе "Юпитер" произошла инсталляция и он уступил место "достоличимого" Б.Н. Ермолову, "душой" ложи оставался всё-таки адмирал Вердеревский, а оба Ермоловы танцевали под его дудку.

В моем архиве сохранилась большая переписка по этому делу, больше 60-ти страниц. Я печатаю здесь только небольшую часть ее, но вполне характеризующую атмосферу сего печального инцидента, приведшего меня к окончательному уходу из масонства "и ныне, и присно, и вовеки веков".

*
* * *

2 октября 1946 г.

Дорогой Дмитрий Николаевич,*

Простите, пожалуйста, что не сразу отвечаю на Ваше лю-

*Ермолов



Брукер 1811-1812

В. Чернышевский 1813

Г. Гюссер 1812

A. L. G. D. G. A. D. L. U. - R. E. A. A.

GRANDE LOGE DE FRANCE

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
8, RUE PUTEAUX, 8 - PARIS

Notre C. C. F. **Goul Roman**

Adresse: **53, rue Secours, Paris 15^e**
 de la R. L. **Jupiter** n° **536** O. de Paris

après s'être librement présenté devant le Comité d'Éducation de la G. L.
 est reconnu comme bon et loyal M. et maintenu dans ses grades et qualités.

O. de Paris, le **18. 10. 1945**

LE GRAND MAÎTRE
[Signature]

GRANDE LOGE DE FRANCE

DIPLOME DE MAÎTRE N° **5N**

Les soussignés, Officiers de la R. L. N° **536**
Jupiter à l'O. de Paris

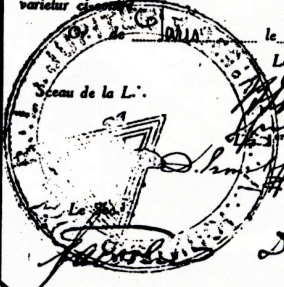
certifient que ce diplôme a été remis par eux au
 T. C. F. **Goul Roman**

reçu Apprenti **M. S.** Compagnon,
 le **1936** Maître, le **1937**

inscrit sous le N° **3966** à la Matricule du Rite, et
 sous le N° **24** au contrôle particulier de la dite
 R. L., et que ce F. a apposé sa signature ne
 variatur et...

le **1937**
 Le Vén. **[Signature]**
 et 2^e Surv. **[Signature]**

L'Or. **[Signature]**



безное письмо. Причиной тому — занятость большой литературной работой. Спасибо Вам за предложение работать в "Юпитере" на офицерских должностях. Но, к сожалению, я не могу принять Вашего предложения. Я не только не могу занять какой-нибудь пост в ложе, но даже не вижу для себя возможности вообще участвовать в общих работах "Юпитера". Поэтому я предпочитаю "заснуть". Так как я хочу, чтоб все братья ложи знали о причинах, меня к этому вызывающих, то в первую свободную от работы минуту я напишу на имя досточтимого мастера письмо, мотивирующее мое поведение.

Шлю Вам сердечный привет! *Роман Гуль.*

17.10.1946 г.

Дорогой Роман Борисович,

Ваше письмо от 2-го октября меня очень огорчило, т.к. из него можно вывести заключение, что Вы не верите, что при новом составе руководителей "Юпитера" может измениться не нравившееся Вам направление Л... и ее работ.

Мы с Вами давно уже знаем друг друга, и я ожидал от Вас большего доверия к моим председательским качествам. Прошу Вас до разговора со мной никаких решений не принимать и сообщить мне, когда мы могли бы встретиться и побеседовать похорошему. Назначьте удобный для Вас день, лучше всего часа в 4-5, где-нибудь в укромном кафе, вроде того же Champigneul'a, где мы весной сидели.

Жму руку и желаю всего доброго,

Ваш искренне, *Дм. Ермолов*

17-го октября 1946 года,
Париж

Досточтимому мастеру ложи "Юпитер"*,
Б. Н. Ермолову.

Дорогой брат и досточтимый мастер,

Пишу Вам, хоть и не знаю, остались ли Вы досточтимым мастером ложи "Юпитер". Если Вы таковым не остались, то очень прошу Вас передать это мое письмо Вашему брату, занявшему эту должность. Хотя, думаю, что содержание этого письма будет небызынтересно и Вам.

Несколько времени тому назад брат первый страж, Дмитрий Николаевич Ермолов, известил меня письмом, предлагая занять офицерскую должность и войти в организационную комиссию. Я ответил отказом вообще участвовать в работах ложи "Юпитер" и обещал ему объяснить мое поведение письмом на имя досточтимого мастера. Это я и делаю.

Прежде всего скажу, что в этом письме я хочу быть совершенно — по-братски — откровенен. Пусть не посетует на меня за эту откровенность кто-либо из братьев. Положа руку на сердце, думаю, что это правильный путь.

Я отказываюсь участвовать в работах ложи "Юпитер" потому, что не хочу быть в ложном и духовно-двусмысленном состоянии. Опыт прошлых годов работ ложи меня убедил, что они, по моему искреннему ощущению, имеют некий уклон, который в своих корнях стоит *в разительном противоречии с главными устоями масонства*. К моему сожалению, этот чуждый духу вольных каменщиков уклон в работах ложи исходил всегда от ее ведущей головки, а именно, от братьев, занимавших офицерские должности: Вердеревского I-го, Ермолова I-го и других.

Во всех выступлениях названных братьев, когда мы касались основных и совершенно, казалось бы, бесспорных для вольных каменщиков вопросов — о свободе человека, о

* Борис Н. Ермолов вскоре уступил место "досточтимого мастера" своему брату, Дмитрию Н. Ермолову. — Р.Г.

гуманизме, о политических свободах, о демократии — со стороны этих братьев эти вопросы никогда не встречали безоговорочного и обязательного для вольного каменщика принятия. Более того, в высказываниях этих братьев всегда "сквозило", а в некоторых случаях и просто утверждалось, сочувствие к враждебной масонству *тоталитарной идеологии*, то-есть, к идеологии *сталинского коммунизма*. Вполне понимая, что такие взгляды имеют право на существование в профанском мире, я, как вольный каменщик, отказываю им в праве на существование в нашей среде. Вне режима демократии, ограждающего свободу человека, масонство немыслимо фактически, и вне гуманизма масонство немыслимо духовно. Я думаю, что эту простую истину не надо доказывать никому из вольных каменщиков. Быть же масоном и сочувствовать идеологии, масонство уничтожающей, масонство преследующей, масонству враждебной — *это вредный и нестерпимый парадокс*. Никаким духовным жонглерством его нельзя ни оправдать, ни даже просто сделать понятным. А ведь некоторые братья (например, на завтрак в Клиши) в упор высказывали свои симпатии к "Сталину и партии". Именно эти настроения ведущей головки ложи сделали то, что Вами, досточтимый мастер, по политическим соображениям, был снят в нашей ложе мой доклад о книге Артура Кёстлера "Ноль и бесконечность".

Ощущая путь ложи "Юпитер" как духовно-двусмысленный, внутренне противоречивый и уклоняющийся от путей истинного масонства, я с ложей поэтому идти не хочу и не пойду.

Эта духовная невозможность моей работы в ложе усугубляется еще и другими факторами. Будучи консеквентными прокоммунистами, некоторые братья нашей ложи не так давно взяли советские паспорта. Столь профанское, полицейское явление не могло бы, конечно, даже быть обсуждаемо в среде вольных каменщиков, ибо не по паспорту мы знаем истинных масонов. Но есть некое привходящее обстоятельство, которое не может не встать перед совестью всякого вольного каменщика. Лица, взявшие советские паспорта, подписали обязательство "всеми силами защищать существующий в СССР режим", не страну, а именно РЕЖИМ. Как же тут быть?

Повторяю, что в профанском мире добровольное принятие

на себя положения востороженного раба существовать может. Но может ли **ВОЛЬНЫЙ КАМЕНЩИК** обязаться защищать режим, который является наиболее ужасающим по своей тоталитарности, наиболее чудовишным по террористическому произволу и **НАИБОЛЕЕ ВРАЖДУЮЩИМ СО ВСЕМИ ЗАВЕТАМИ МАСОНСТВА**? Я считаю, что добровольно отказавшийся от своей **ДУХОВНОЙ** свободы и обязавшийся защищать **ЭТОТ РЕЖИМ НЕСВОБОДЫ** вольный каменщик не имеет права восклицать на наших собраниях: "Свобода, равенство и братство!". Это было бы оскорбительным лицемерием в отношении нашего древнего возгласа. Я считаю также, что этим людям, **КАК НЕСВОБОДНЫМ**, не может быть открыт доступ в наш храм.

Вот, досточтимый мастер, причины, которые делают для меня невозможным участие в работах ложи "Юпитер". А посему прошу Вас, дорогой брат, считать меня "заснувшим". Но я просил бы Вас огласить мое письмо на ближайшем собрании братьев, ибо в нашей ложе многие братья мыслят так же, как и я, и ощущают также некий духовный недуг в теле "Юпитера".

С приветом вольного каменщика!

Роман Гуль

25.10.46 г.

Дорогой Роман Борисович,

Я получил копию Вашего письма, адресованного Д...М... Вашей Ложи. Позвольте, прежде всего, поблагодарить Вас за осведомление. Тот факт, что Вы сообщили Ваше письмо некоторым братьям, не принадлежащим к составу Д... Л... "Юпитер", показывает, что Вы считаете этот вопрос выходящим за пределы одной только Вашей Ложи. К сожалению, такое заключение правильно. Вопросы, поднятые в Вашем письме, обсуждаются в данный момент едва ли не всеми братьями, к сожалению, исключительно в кулуарных разговорах. Против этого последнего метода я всегда энергично протестовал и буду протестовать. Я считаю, что столь важные вопросы, касающиеся оценки самих принципов масонства и соответствия братьев таковым,

должны обсуждаться по-масонски, т.е. в ложах и с полной откровенностью и полной свободой мнений. Отказ от обсуждения означает выдачу самим себе масонского "свидетельства о бедности", о нашей неподготовленности к высокому званию вольного каменщика. Поэтому я полагаю, что Вы были правы, когда эти вопросы формально подняли. С большой радостью я могу констатировать, что в моей ложе "Астрея" сохранилась полностью основная масонская традиция — полная свобода мнений.

Теперь по существу Вашего письма. Я не думаю, что масонство связано с каким-либо одним определенным политическим строем, одним мировоззрением, одной философской системой. Будучи сам убежденным демократом, считая, что демократия в ее правильном понимании является в настоящее время наилучшей политической системой — несмотря на все ее недостатки, заключающиеся, главным образом, в неполноте осуществления ее принципов или в отступлении от таковых — я все же думаю, что ее нельзя рассматривать как самую совершенную и потому конечную форму человеческого общежития. Теоретически мыслимы и иные формы, быть может, более совершенные. Во всяком случае, критика демократии, пускай самая беспощадная, но объективная, вполне законна, так как она неразрывно связана с самим существом демократии и является неперменным условием ее развития и исправления недостатков.

Тем не менее, невозможно отрицать, что в то время, как одни политические режимы неблагоприятны для самого существования масонства или вовсе его исключают, то другие дают ему, говоря языком биологов, "оптимум условий" уже по одному тому, что они, хотя бы и не в совершенной форме, воплощают в социально-политической жизни масонские идеи и принципы. Такой "оптимум" создает для масонства именно демократия — для доказательства достаточно обратиться к истории.

Демократия в большей степени, чем какой-либо другой строй (строго исторически она является в этом отношении единственным строем) допускает свободное искание истины, неразрывно связанное со свободой критики и ограждением прав на любые мнения. Вне свободного искания истины и свободной критики — даже если признать за ними только методологическое значение — масонство, в том виде, в каком оно сложилось

за последние столетия, невысказано. С другой стороны, если даже признавать тоталитарные режимы — фашистские или коммунистические — за совершенные и справедливые, делая при этом ударение на их цели и закрывая глаза на средства осуществления таковых, если даже поверить, что их партизаны искренне хотят путем освобождения человека от материального рабства утвердить в эсхатологическом будущем свободную человеческую личность, то и при этих допущениях масонство и тоталитаризм всех видов и названий — несовместимы.

Идеологи тоталитаризма уверены, что они нашли абсолютную истину — в виде "железных законов истории" — что они ей и следуют, а потому и оправдывают (что философски правильно) все те методы, которые они применяют для ее достижения. С этой претензией масонство принципиально согласиться не может, не изменяя своим основам. На абсолютную истину у вольных каменщиков могут быть только два взгляда, по существу, сходящиеся. Мы говорим, что абсолютная истина нам не дана и даже не может быть достигнута, что мы можем только стремиться к ней, как к пределу, что пути, к ней ведущие, многообразны и относительны, и каждый из них законен. Поэтому, с нашей точки зрения, "средства" никогда не могут быть оправданы "целью", не говоря уже о том, что необходимость "оправдания" ставит под вопрос моральный характер "средств". Другие из нас говорят, что абсолютная истина дана только в Боге, что наш путь заключается в бесконечном приближении к Богу и исполнению Его законов.

Тоталитарные режимы, веря, что им уже дана абсолютная истина, вполне справедливо полагают, что всякие дальнейшие искания ее, к тому же вне "генеральных линий", не только не нужны, но даже вредны, как для "ищущего", так и для окружающих. Точно также не нужна и вредна всякая критика. При наличии абсолютной истины продолжение ее исканий ведет только к ересям, уклонам и соблазнам, к тому же бессмысленным и неосуществимым. Если быть верным сыном католической церкви, то нельзя усомниться в непогрешимости папы — такие сомневающиеся должны быть извергнуты из лоно церкви. Вполне справедливо, что всякие "ищущие" и всякие "критики" должны быть физически или духовно устранены из лоно госу-

дарства или коллектива, руководители которых являются хранителями и толкователями нового "откровения".

Такова, по моему мнению, философская сущность спора между масонством и тоталитаризмом (фашизмом или коммунизмом). Я не вижу способов, как перекинуть хотя бы "мостики" через разделяющую их пропасть, и я искренне не понимаю, как можно быть "правильным" масоном и поклонником современных тоталитарных режимов. Тут или недоразумение, непонимание сущности масонства или сущности тоталитаризма (а быть может, и обеих сущностей одновременно) или же просто лицемерие. Хочу верить, что в нашей среде преобладает первое явление.

Эту точку зрения о непримиримости масонства и коммунизма я высказал лет пятнадцать тому назад в одном "левом" масонском журнале в Берлине. Редакция, в которой тогда были весьма сильны коммунистические симпатии, отнеслась к моему произведению без всякого восторга, но, тем не менее, его напечатала, не найдя масонских возражений против моей аргументации. На этой точке зрения я стою и теперь. Думаю, что несмотря на различие формулировок и разность поставленных ударений, по существу мы с Вами сходимся.

Но у меня несколько отличная от Вашей точка зрения на второй из поднятых Вами вопросов — могут ли быть вольными каменщиками те, кто взял советский паспорт и обязался при этом защищать существующий в СССР строй. Боюсь, что Вы меня обвините в некотором формализме. Конституция Андерсена запрещает нам при приеме в ложу спрашивать о национальной принадлежности, следовательно, и о том, какой паспорт имеется у стукащегося в двери Храма. Я думаю, что от этого принципа мы не имеем права отказаться — именно по нашей верности масонству. Вместе с тем я, не только как демократ, но и как масон, отрицаю за каким-либо государством нравственное право обязывать всех своих граждан защищать существующий в данный момент политический или социальный строй. Полагаю, что на моей точке зрения стоял бы даже коммунист, если бы, в качестве американского гражданина, его обязали бы защищать капиталистический строй в Соединенных Штатах.

Так же, как и Вы, я считаю, что безоговорочная клятва верности советскому строю во всей его (sic) полноте противоречит

тем клятвам, на основании которых мы были приняты в Орден и которые нами были многократно повторены при прохождении по градусам. Эти последние клятвы мы дали добровольно, без всякого принуждения. Советская клятва верности требовалась как условие получения русского гражданства, то есть неотъемлемого права каждого, родившегося в России. Поэтому эту вторую клятву я считаю необязательной. Если мне пришлось бы взять советский паспорт и подписать такое обязательство, то я счел бы себя им морально несвязанным и действовал по тому же принципу, по которому во время немецкой оккупации евреи давали вынужденные клятвы, что они являются христианами.

Брат, сначала поклявшийся в верности Ордену, а потом советскому строю, ставит сам себя перед альтернативой: или быть нелояльным масоном или нелояльным советским гражданином. Если он такой альтернативы не понимает, то надо попытаться ему ее разъяснить. По вышеуказанным соображениям я верю, что истинный масон таковым и останется — и будет, следовательно, нарушителем советской клятвы. За это обвинять его нет оснований... Но вот если во время наших работ выяснится, а это не может не выясниться, что он верен советской клятве и изменяет клятве вольного каменщика, тогда и только тогда мы имеем право поставить вопрос о его пребывании в нашем Храме.

В заключение два замечания уже личного характера. Вы нашли в себе мужество настоящего вольного каменщика, чтобы поставить на обсуждение вопрос, от решения которого зависит самое существование русского масонства (я имею в виду масонство по существу, а не по названию). Но затем, не дождавшись обсуждения, Вы впали в некий, несвойственный Вам "дефэтизм" и объявили себя "заснувшим". Если Вы считаете, что ведете борьбу за правое дело, то Вы обязаны ее продолжать и ни на один момент, ни под каким видом не покидать Вашего боевого поста.

И наконец — я не имею чести состоять членом Д... Л... "Юпитер" и потому не считаю себя вправе судить о царящих в ней условиях. Но я очень хорошо знаю только что ушедшего в отставку Вашего Д... М... Б.Н. Ермолова, равно как и его брата, Д.Н. Ермолова, ныне возглавляющего Л... "Юпитер" — по мое-

му глубочайшему убеждению, оба они верны Ордену и только Ордену. Для них обоих масонские клятвы являются первыми, основными и единственными.

Позвольте выразить уверенность, что ни Вас, ни меня никто "от масонства не отставит", что мы с Вами и впредь будем служить по мере наших сил и возможностей его основным заветам и принципам — на благо человечества и во имя утверждения свободной человеческой личности, тем самым во славу В... С... В...

Искренне Вас уважающий и любящий

Вл. Татаринов

26.X.1946

В... Л... Бр... Роман Борисович,

Простите, что по переобременности моими проф... и мас... делами, я отвечаю на Ваше письмо от 17 с.м. с таким запозданием.

Письмо Ваше и сопровождающие его обстоятельства будут предметом обсуждения на ближайшем собрании Адм... Комм... Д... Л... Юпитер, которое состоится 31-го с.м. на 8 rue Puteaux, в 6 час. вечера. Вам надлежало бы присутствовать на нем лично.

С бр... приветом, Д... М... Б. Ермолов

16.11.46 Париж

Дор... бр...

Я получил Ваше письмо от 14/2/46, оно произвело на меня грустное впечатление. Оно, как и первое Ваше письмо, пропитано полемикой, каковой, по моему мнению, можно было бы избежать в масонских суждениях. Я не думаю, что Вы правы, когда утверждаете, что "в масонстве братские отношения нередко заменяются лицемерно-братскими отношениями". Конечно, в масонстве также возможны единичные случаи, на которые Вы указываете, но это отнюдь не может быть поставлено в вину масонству. Это явление неизбежное и весьма, к счастью, редкое, относится лишь к лицемерным масонам и в общем не изменяет ат-

мосферы братских и искренних отношений среди громадного большинства масонов. Вы верно указываете, что "у этих людей нет подлинного братского духа и такового же друг к другу отношения", но, по моему мнению, эти прискорбные, конечно, исключения могли бы не привлекать к себе столь интенсивного Вашего внимания — эти явления осуждаются всеми истинными масонами; и не Ваши мысли по существу затронутых Вами вопросов вызвали "некий взрыв не братских и не масонских чувств", как Вы констатируете, а именно резкая форма, пропитанная полемическими приемами. Я не удивляюсь нисколько, что Вы получили целый ряд ответных писем "с искренними сочувственными отзывами", но думаю, что Вы могли бы сделать Ваше выступление открыто в одной из лож путем Вашего доклада или сообщения по этому поводу, подвергнув его коллективному обсуждению.

В заключение несколько слов *pro domo sua*. Полученный Вами мой ответ на Ваше первое письмо не является "циркулярным", как Вы предполагаете, и он предназначен только для Вас. Вы получили оригинал моего письма, а копию я оставил для архива. Я никому этого письма не рассылал. Спешу также Вам ответить, что это письмо написано и составлено мною лично, и ни с кем из бр... бр..., о которых Вы упоминаете в Вашем письме от 17 окт. с.г., я не совещался.

С бр... пр... Ст. Лиан(озов)*

18 ноября 1946 года,
Париж

Дор... бр... Дмитрий Николаевич,**

Вот уже несколько дней, как я болен. Поэтому не мог быть на собраньи 16-го ноября. Посылаю Вам письмо, которое я написал Вам давно, но из-за болезни не мог его отправить:

* Степан Георгиевич Лианозов, быв. премьер-министр Северо-Западного правительства при ген. Юдениче. Думаю, что всё это "правительство" составлялось "Союзниками" из масонов (Лианозов, Маргулис и др.), (Р.Г.)

** Ермолов

Дор... бр... Дмитрий Николаевич,

Пишу Вам, как досточтимому мастеру ложи "Юпитер".

Собрание адм... ком... от 31 октября, рассматривавшее мое письмо к дост... маст... Б.Н. Ермолову, произвело на меня гнетущее впечатление. За 11 лет моих масонских работ я никогда не присутствовал на подобном собрании. Так как такое же впечатление от этого собрания вынесли многие бр... бр..., с которыми я говорил, то, дабы избежать этого впредь (на собрании 21-го ноября), позволяю себе изложить Вам, что именно произвело на меня столь тягостное впечатление.

На мой взгляд, причинами, давшими удручающий тон этому собранию, были небезпристрастность ведущего это собрание бр... Б.Н. Ермолова, а также немасонский характер некоторых выступлений бр... бр..., упомянутых в моем письме от 17 октября.

I. Пристрастность бр... Б.Н. Ермолова выразилась хотя бы в следующем. Открывая прения по поводу моего письма бр..., Б.Н. Ермолов заявил, что, по его мнению, это "недоразумение" произошло оттого, что я "мало работал в ложе, редко посещал собрания и никогда не брал слова за агапами". Это заявление настолько не соответствовало истине, что поставило в тупик не только меня, но и многих других бр... бр... Естественно, что оно вызвало мой протест, в результате которого бр... Б.Н. Ермолов тут же взял свои слова обратно и принес мне публичное извинение, которое я и принял. В судах такой метод употребляется прокурором, как попытка "дискредитации обвиняемого". Но на масонских собраниях такие методы, конечно, вряд ли возможны.

II. Неправильность созыва собрания. Когда я спросил бр... Б.Н. Ермолова, почему на это собрание не приглашен бр... Я.Б. Рабинович, бр... Б.Н. Ермолов не мог мне ничего ответить, а бр... Д.Н. Вердеревский с места сказал: "Это совершенно неважно, он все равно не ходит на собрания". Думаю, что такое заявление бр... Вердеревского не может служить достаточным основанием к неприглашению заслуженного бр... нашей ложи Я.Б. Рабиновича, как известно, одобрявшего первую половину моего письма к бр... Б.Н. Ермолову (до вопроса о советских паспортах). Неприглашение бр... Я.Б. Рабиновича было тем более

странным, что на этом заседании адм... ком... присутствовал, выступал и голосовал бр... П.Д. Вердеревский, НЕ СОСТОЯЩИЙ членом адм... ком...

III. Нарушение свободы слова. На этом собрании был нарушен самый принцип свободного высказывания. Когда я в своем ответном слове сказал, что получил ряд сочувственных моему выступлению отзывов от бр... бр... других лож, это сразу же вызвало протесты с мест бр... бр... Вердеревского I-го, Ваши, Б.Н. Ермолова и других, и заявления о том, что "нам неинтересны мнения бр... бр... других лож"! А когда я все-таки хотел огласить выдержки из этих писем, то ведущий собрание дост... маст... Б.Н. Ермолов заявил, что он этого мне не разрешает. К сожаленью, Вы, Дмитрий Николаевич, чрезвычайно активно к этому присоединились, протестуя против моей попытки огласить полученные мной сочувственные отзывы. Тут я даже позволю себе восстановить в Вашей памяти незначительный, но очень характерный для атмосферы собрания и Ваших личных настроений штрих. Когда я, настаивая на оглашении письма бр... В.Е. Татарина, назвал бр... В. Е. Татарина "дост... маст... ложи "Астрея", Вы с места перебили меня заявлением, что это неверно, что бр... В.Е. Татарин является просто "бр... ложи "Астрея". И Вы и я хорошо знаем бр... В. Е. Татарина и его выдающееся положение в нашем Ордене, знаем также, что в течение ряда лет бр... В. Е. Татарин состоял дост... маст..., а потому и Ваше выступление я могу только рассматривать, как попытку "дискредитировать свидетельские показания" перед бр... бр..., не так хорошо знающими бр... В.Е. Татарина. Нам, масонам, это, конечно, не к лицу. Привожу этот штрих только, как характеристику немасонских методов борьбы против меня на этом собрании.

Несмотря на бурные протесты всех упомянутых в моем письме бр... бр..., я все-таки продолжал настаивать на оглашении сочувственного письма бр... В.Е. Татарина ко мне и на Ваши яростные(не нахожу другого слова) возражения с места, я спросил Вас: "знаете ли Вы содержание письма бр... В.Е. Татарина, против оглашения которого Вы так возражаете?" Увы, Вам пришлось признать, что и Вы и Ваш брат Б.Н. Ермолов знаете содержание этого письма. Тогда, ответив Вам, что Вы

протестуете против оглашения этого письма именно потому, что Вы знаете его содержание, я потребовал поставить вопрос о желательности его оглашения на голосование. И тут, когда раздались голоса бр... бр... "почему ж не огласить письмо?", бр... Б.Н. Ермолов, избегая голосования, согласился на оглашение письма бр... В.Е. Татарина. Но огласить выдержки из писем других бр... бр... я так и не мог из-за запрещения председательствующего бр... Б.Н. Ермолова. Констатирую, что свобода слова на сессии адм... ком... была нарушена председателем, бр... Б.Н. Ермоловым при поддержке всеми заинтересованными в этом деле бр... бр...

IV. В ведении собрания были допущены неправильности. После окончания прений, которые были, в сущности, гильотинированы бр... Б.Н. Ермоловым под давлением бр... Д.Н. Вердеревского, бр... Вердеревский предложил проголосовать резолюцию. Он формулировал ее устно, сказав: "Вы голосуйте, а я ее потом напишу". Эта устная "резолюция" кончалась следующими словами: "...Что же касается до обвинений в письме некоторых бр... бр..., то собрание адм... ком... этим просто пренебрегает". Председательствующий бр... Б.Н. Ермолов эту "устную" резолюцию уже поставил на голосование, когда я запротестовал, потребовав, чтоб резолюция была написана. И бр... Вердеревский I-ый согласился написать. Но увы, когда он ее написал, то текст ее оказался ИНЫМ, о "пренебрежении" не было ни слова. Думаю, что этот факт "устных резолюций" достаточно остро говорит о пристрастности и о неправильности ведения собрания.

V. Голосование резолюции было произведено неправильно. Тогда как я, как "сторона в деле", естественно, воздержался от участия в голосовании, бр... бр..., упоминаемые в моем письме, являющиеся тоже "стороной в деле", все голосовали за предложенную ими же резолюцию. Прецедент этому я видел только один.

Не очень давно на сессии писателей один новый советский гражданин сам себя предложил в председатели и сам тут же голосовал за себя.

И последнее: в какой степени на этом собрании были выявлены немасонские настроения бр... бр... Я позволю себе на-

помнить Ваши реплики мне. Когда я, отвечая бр... Д.Н. Вердеревскому, упомянул, что в Советской России в концлагеря загнаны миллионы и миллионы людей, Вы, как и бр... бр... Ваши единомышленники, стали перебивать меня бурными заявлениями с мест. Вы, Дмитрий Николаевич, закричали: "Откуда у Вас такие сведения?!" Будучи поставлен буквально в тупик такой репликой на масонском собрании от заслуженного масона, каким являетесь Вы, я ответил Вам вопросом: - "А у Вас, разве, нет таких сведений?" — Вы ответили: - "Нет!" — На это я ответил Вам: — "И после этого Вы считаете себя масоном?! Стыдитесь!"

Излагая Вам факты, свидетельствующие о крайне немасонской атмосфере этого собрания и о крайне неудачном его ведении, я делаю это только в одном желании, чтобы наше собрание от 21 ноября, на которое назначен обмен мнений по поводу моего письма, протекало бы в более беспристрастном и более масонском тоне.

Обвиняя других бр... бр..., каюсь и я, что, отвечая на выступления их, я был тоже не по-масонски резок. Но, увы, это потому, что я был ИЗУМЛЕН, что теперешние собрания масонов могут принять столь неподобающий им стиль.

С бр... приветом, *Роман Гуть*

Вторник 19 ноября 1946

Дорогой Роман Борисович,

Мне нужно повидаться с Вами в самом срочном порядке и, если только состояние Вашего здоровья Вам позволяет передвижение, сегодня же вечером, часов в 9:1/2.

Не могу, к сожалению, приехать к Вам сегодня вечером: у меня распухла нога (доктору удалось вылечить печень и перебросить болезнь на ноги, я радуюсь), мне трудно будет к Вам добраться. Буду Вас ждать у себя.

В четверг мне не удастся присутствовать на собрании, но в субботу 16-го было посвящено Вам специальное заседание, на которое я был приглашен. Мое выступление радикально переменяло "климат" и изменило намечавшуюся резолюцию. Для

окончательной реализации необходима наша сегодняшняя беседа и Ваша встреча с Павлом Вер.*

Дружески Ваш Я. Рабинович

*Выпись из протокола семейного собрания Д... Л...
"Юпитер" 21 ноября 1946 г.*

Постановили:

1. Д... М... был вправе не допустить доклад бр... Р.Б. Гуля в соответствии с его, Д... М..., оценкой данного момента, опасаясь возможности раздора в Д... Л... и в соответствии с §§ 1 и 23 конституции В... Л... Ф...

2. Д... Л... полагает, что у бр... Р. Б. Гуля все-таки не было никаких действительных данных считать, что руководящие братья Д... Л... "Юпитер" ведут ее по тем или иным направлениям политического характера.

3. Д... Л... сожалеет, что бр... Р.Б. Гуль не обратился лично к Дост... М... для выяснения тревожившего его вопроса.

Paris, le 4 Janvier 1947

Дор... Бр... Роман Борисович!

По поручению Д... М... сообщаю Вам, что Д... Л... "Юпитер" постановлением своим от 26 минувшего Декабря согласилась на увольнение Вас в отставку из числа ее членов.

Однако, вследствие требований § 152 Общ... Уст... В... Л... Франции, отставка эта получит законную силу лишь после погашения Вами числящегося за Вами долга по обязательным взносам для Вел... Л... Франции за 1946 год, к чему Вам надлежит принять должные меры.

* В ложе "Юпитер" был какой-то Вердеревский 2-ой. Но я его никогда не видел. — Р.Г.

Адрес бр... казначая, Бориса Леонидовича Покровского: 6, rue Anatole France, Clichy (s).

С бр... к Вам чувствами, остаюсь, секр... (*подпись*)

Д... Л... согласна принять в принципе прошение бр... Р.Б. Гуля о выходе его из членов Д...Л... "Юпитер", оформив его в соответствии с § 152. Regl... Gen... de la Gr... L... de Fr...

С подлинным верно. Секретарь (*подпись*)

Этим и кончилось мое масонство.

(продолжение следует)

Роман Гуль

Голубой гуманоид
У постели сидит.
Злые рожицы строит
Иноземный гибрид.

Металлический череп,
Синеватая плоть.
Шизофреник, истерик,
Любит в вену колоть.

Он детей угощает
Кокаином во сне
И помочь обещает
Людям в звездной войне.

Скоро может быть поздно,
А пока — благодать:
Там, где сине и звездно,
Нас готовы принять.

Но ленивое тело
Видит нежные сны.
И какое мне дело,
Друг, до звездной войны?

Игорь Чиннов

“Борьба за несуществование” —
название книги Бориса Божнева

Борьба за несуществование?
Её выигрывают многие. —
Недавно пьяная компания
Повесилась — совсем Ставрогины.
Всех ку-клукс-кланов ку-клукс-кланнее
(Туманы осенью туманнее).

Философ, увидав, как тонущий
Старался выбраться из проруби,
Сказал: Не трать, Фома, здоровьичка.
Над черным льдом летали — голуби?
Снежинки? Чайки? Крик о помощи?
Философ шел по тонкой корочке
Он умер на больничной койке.

Фома “боролся за существование”,
Не несуществование. Течение
Реки Времен его несло и ранее,
Да, уносило в темное зияние,
В холодное, бесчувственное пение.
Не стоит, брат — за несуществование.

Игорь Чиннов

КНЯЗЬ ИВАН ХВОРОСТИНИН

СЛОВЕСА ЦАРЕЙ И ДНЕЙ

VII

Опять был февраль. Воздух стал сырым, посвежел. Заголубел снег. За печкой ожил сверчок. Старец Иоасаф, в миру князь Иван Андреевич Хворостинин, встал, не помолившись, только попросил ангела помочь перенести утомление наступающего дня.

Минувшей ночью ему приснилась царевна Ксения за вышиваньем. Сидела она в Китайгородской башне на Варварском крестце, смотрела из окошка, как царевна Елисава на образе Егория Победоносца. Он вошел, она уронила на колени иглу; золотые нити завились вокруг худых пальцев.

— Холодно у тебя в башне, царевна, — сказал Иван. — Сама сидишь в обдержании, в тесноте; будто Елисава.

Ксения ему кивнула и заплакала: — Только ты не Георгий Храбрый, а Иван.

Он смутился и спросил ее, как тогда, в Горицах: — Что у тебя там теперь?

И она ответила, как тогда: — Покров на плащаницу "Не рыдай мене мати".

* См. "Н.Ж.", кн. 155, 157, 158.

Подскочила послушница, карлица, лицо с печеное яблоко, расправила пелену. На плащанице был он, Иван, а над худым его телом склонились женщины — мать, княгиня Гликерия, царица Ксения, государыня Марина Юрьевна, жена Марья. Он взглянул на царевну удивленно. Она снова заплакала:

— Жалко мне тебя, Ваня, раз ты в воскресенье мертвых не веруешь.

Он вышел на крутую, холодную лестницу, послушница кричала ему вслед: — Ветер будет, ух, ветер будет зол!

На дворе подошел незнакомый чернец, позвал в Иерусалим:

— Вместе веселее пробираться. Да чтоб не увидеть бóльшей печали.

Кто ты, я тебя не знаю, — отвернулся Иван.

— Старец я, Леонид, Крыпецкого монастыря.

— Мне бы лучше во Флоренцию, — ответил Иван. И проснулся.

Звонили к поздней обедне. Он сошел в монастырский двор. На глубоких, ставших оседать сугробах лежали голубые тени. Было пусто и тихо, слышно было, как за стеной, в Митушинском овраге вызванивали свиристели.

Он хотел пойти в новый собор, но передумал, свернул к палатке Годуновых. На старой ели над годуновскими могилами играли белки. Детеныш прибывал к верху высокой липы скворешню. Иван сел на скамью, ту, на которой прошлый год плакал Катырев. Сказал тихо, будто говорил с живым человеком:

— Спасибо тебе, царевна. Не забыла.

Подошел вразвалку чернец с татарским лицом, широкие скулы, узкие глаза, волос прямой, черный. Ивану лицо показалось знакомо.

— Я тебе видел, Муртаза, — сказал Иван. — И дядю твоего знал, царя Симеона.

— Какой был радостный земной слава — весь умер, весь истлел. Царь Саин-Булат умре, и царица Настасья умер. Один обезьян жибой.

— Что ж, и ты инок?

— Был багатур Муртаза, стал инок Мисаил, Москва всё забрал, — равнодушно ответил царевич Муртаза. — Человек, как озеро, сколько в него ни бросай, не насытится. Умрет и пылью

сыт будет. Тебе тут, мирза, якши?

— Хлеб ем, яко пепел, — вздохнул Иван. — А питье слезами растворяю.

— Сам лежу на монастырской соломе, как собак, коли накормят, коли нет, — откликнулся Муртаза. — Один обезьян остался, а так — всё истлел.

Наверху, на липе, детеныш никак не мог прибить скворешню к крепкому стволу, чертыхался.

— Ей, царь Московский! — кликнул Муртаза.

Неведомо откуда взялась большая обезьяна в широкой шляпе, в немецком кафтане, в ботфортах, лицо повязано теплым платком. Ловко полезла на дерево. Детеныш закричал, выронил скворешню, сам бросился вниз, в сугроб.

— Мой обезьян, — ласково сказал Муртаза. — Старый стал, злой стал. Холодно ему тут. Дрожит.

Князь Иван вышел из Святых ворот, не крестясь. Забрел на посадский Торг. Пахло горячими калачами, дымком, рыбой, кислыми шами. В Старом Капустном ряду его поймал за рукав рязанец:

— Согбенный ты какой, старец Иоасаф, а вроде не стар. Каешься, небось, о своем злом разуме?

— Нашел я царевича Муртазу, помнишь, ты обещал. А сам-то где был? Я тебя давно ищу, с той поры, как мы на Красный Пруд ходили.

— Куда ж мне от вас, детей праха, деться? — заблеял рязанец. — Всегда тута, всегда в делах, всегда в хлопотах.

Они шли по рядам, пробовали моченья. Рязанец вился около Ивана то с одного бока, то с другого.

— Обезьяну царевичеву видел? В лицо ей заглядывал? — спросил рязанец, пробуя моченое яблоко.

— Не-е-т, — холодея, ответил Иван.

— А вот бы и заглянул! Чудодейственное сходство! — хихикнул рязанец.

Бросил на землю надкушенное яблоко: — Я больше редиску люблю, красную, не белую.

И дунул прочь от Ивана, под гору, к Подольному монастырю. У Хворостинина потемнело в глазах, кровь прилила к вис-

кам. Он остановился перевести дух, а когда опамятовал, побежал за рязанцем, крича:

— Ты мой томитель! Ты мой нападатель! Расточись!

В келье в солнечном столбе, протянувшемся от окна, плясали пылинки. Пел за печью сверчок. Иван все не мог успокоиться, дрожал. Постучал к соседу, старцу Иллариону Бровцыну.

— Старец Илларион, ты крылошанина рязанца знаешь? Чей он?

— Знаю, Гурием зовут. Говорил, Старошершавины они, рязанские дети боярские. Только никакой он не Гурий, а бес. Черт он, а не крылошанин. Для нашего соблазна прислан. Братия за ним еще с польской осады приметила. Смотри, рядом с ним не ходи, а уж коли придется, держись позади, а то след твой испортит бесовскими мечтаниями.

— Боюсь я его, — признался Иван.

— А ты не бойся. Дал нам Бог не духа боязни, но силы и любви. — Старец Илларион протянул Ивану четки: — Возьми, гранатовые. Гранат веселит сердце.

Сердцу доброго веселья не было. Пока он писал "Словеса Царей и Дней", пока припоминал московские грехи, жило в нем веселье злое, жила обида и жила месть. И тогда, если бывал доволен еще одним обличением, клал перо на налой и ходил по келье, напевая кондак — "Конца час помысливши, душа, данный тебе талант не призи".

А в январе, в Неделю о Блудном сыне, кончил писать "Словеса".

И вспомнил пустой Ростов, май, рано зацветшую черемуху. К низкому озерному берегу в молодой осоке подплывали раздувшиеся мертвецы. На кремлевской звоннице висели торговые люди, те, кому нечем было откупиться от честного рыцарства пана Струся. Он сидел с польской ватагой под шумливой березой у Спаса на Песках, пил водку, а мимо брели восояси убежавшие было от поляков горожане. Ивановы товарищи им кричали: "Эй, курвины дети, москали, что, соскучились в лесу по блинам и водке?"

К нему подошел инок Александр из Борисоглебского монастыря. Открестился от поляков, сказал:

— Я теперь знаю, когда будет духовный рай.

— Когда?

— Когда вся земля огнем обновится.

За спиной Александра горело село Богословское на Ишне, в разных концах Великого Ростова занимались пожары.

— Ты про все это напиши, князь, — попросил Александр.

— Напишу, — обещал Иван.

Теперь он написал. И усомнился. Все были грешны, и всяк по-своему прав. Никто не хотел принять на себя меру содеянного.

Ему часто стали сниться знакомые мертвецы. Ивашка Заруцкий на колу. Государыня Марина, утопленная в большом банном чане. Снились мертвые Годуновы, мать и сын, в открытых каменных гробах; старые клячи еле тащут скрипучую телегу, кругом лебеда, крапива. Снился Василий Шуйский в клетке, маленький, мертвый, острый нос, редкая бородка клином, точно прирезанный старый петух. Шуйский лежит на руках у огромной позолоченной бабищи, а Богдан Бельский ее просит: "Он был добрый пастырь. Снеси ты его, мать, в холодный погреб". Снился царь Димитрий — в маске, в овчине, с дудкой, и на его животе — голова Петра Басманова, русые волосы и борода слиплись в ржавой крови.

Снилась царица Марфа Нагая. Он ее спрашивал: "Как же можно отречься от сына?" А она отвечала: "Омрачением бесовским". И тут же крестилась, плакала, говорила иное: "Не сын он мне, не сын. Грозил злой смертью, я для его угрозы объявить в народе его воровство явно не смела.". — "А кто, Марфа, плакал?" — "Странность и темнота", — отвечала Марфа и отворачивалась.

И снился Мишка Молчанов: нагоняет, грозит длинным ножом, сейчас зарежет, а подсказал — у самого нож торчит в животе. И человек этот уже не Мишка, а Мартын Стадницкий. Мертвый, с ножом в животе, Мартын говорит Ивану: "Как же ты забыл, Иван, что человек грешен не по своей вине?".

VIII

Прошло без малого двадцать лет с того мая, когда убили царя Димитрия и Мартына, и много всякого было, но тот год

так и остался главным в его жизни, тот первый страх и та первая надежда.

После встречи с Шуйским в клетке на Скородоме князь Иван в Москве долго не задержался. Да и не было больше Москвы. Стояло несколько каменных церквей, на них день и ночь били в колокола, а остальное — большое, курящееся дымом пожарище: остовы домов, лавок, церквей, амбаров, стен.

Чертолье было сравнено с землей. Он нашел жену Марью в погребе, том, где сам прятался после убийства царя Дмитрия. В погребе негде было повернуться от сволоченного из сгоревших хором добра. Воздух стоял тяжелый, кислый, кругом сажа.

— Все спасла, ничего не пропало, — встретила его Марья.

— Уцелела, — с досадой сказал Иван. — Как карась, в грязи валяешься, даром что на золоте ешь. Как же ты тут от тесноты и духа не умерла?

Он велел Марье и бывшей с нею дворовой девке вылезти, засыпал погреб землей и древесным пеплом. На Никитской налетели два пьяных поляка, хотели отбить женщин, стали было его одолевать, но подоспел Яков Маржерет, уложил одного из мушкета, а другой убежал.

— Вот и увиделись, дюк, — радовался Маржерет. Он проводил их до Наплавного моста через Москву-реку, рассказывал, что служит теперь Гонсевскому. Был доволен, что хорошо поживился при последнем бунте, взял корону и скипетр царя Ивана.

— Я у вас в Москве душу выбросил в окно, пусть подберет, кто хочет.

Бранил поляков за безрассудное расточительство:

— Как можно заряжать мушкеты жемчугом!

У Водяных ворот им встретился пастор Мартин Бер. Опершись о березовый кол, он созерцал равнину, еще недавно бывшую шумным Чертольем. Там и сям дымились недогоревшие головешки.

— Вот как карает Бог Москву за эпикурейское содомитство!

— Я и сам давний почитатель Кальвина, — отозвался Маржерет, — но уж это вы чересчур, пастор!

У Наплавного моста Иван с ним попрощался.

— Теперь навсегда, дюк, — сказал Маржерет. — С меня до-

вольно. Я скопил достаточно, чтобы удалиться под буколическую сень родных лип и каштанов. Буду перечитывать Теренция и Плавта. Примусь, наконец, за Софокла... Из этой жизни, Жан, хорошо уйти, как с пира, не томясь жаждой, но и не упившись.

В Замоскворечьи Иван довел женщин до Воронцова поля. Сторговал у пригородных мужиков клячу и сани:

— С Богом, Марья, езжай в Дратниково, там спокойно. — Она было бросилась к нему на шею, прощаться. Он ее отстранил:

— Смотри, слезами меня не запрыскай. Видеть тебя более не хочу. Ты мне не находка.

Следующим летом он казаковал с паном Песоцким, ходил аж до Устюжны. Зимовал на Белоозере, подступал с поляками под Кирилов монастырь, стены там оказались крепки. Пан Песоцкий на приступе провалился под лед, утонул.

В Тихвине встретил царицу Анну Колтовскую, четвертую жену царя Ивана. Введенский монастырь был сожжен литовцами, царица скиталась по дворам, просила милостыню. Иван подал ей хлеба:

— Ты, говорят, царица Анна?

Она ему поклонилась:

— Старица я Дарья, а прошлого не было.

Она стояла перед ним на дворе, босая. Съела хлеба самую малость, а остальное покрошила птицам. Слетелись воробьи, синицы.

— Темно кругом, — сказала царица. — Омрачились люди в житейских страстях. Отомстил Господь царю Ивану, и нам с ним. Наслал прах от земли, окаянного чернеца Гришку.

— Вздор ты говоришь, — сказал Хворостинин. — Царя Ивана давно нет.

— Иди в чернецы, князь, — сказала на прощанье царица Анна. — Бог даст, избавишься от обстоящей тьмы.

В Угличе городские деревянные стены обвалились, кровли на башнях погнили, ров зарос и во многих местах заплыл. Князь Иван жил там с месяц и больше. Ходил на царевичев двор, разыскал в слободе мордовку, она отвела его на погост, на могилу принца Густава. Креста не было, на еле заметном хол-

мике цвели в густой траве сурепка, полынь, наперстянка. Иван повадился ходить на погост, поминать; напоминаясь, засыпал тут же, в жирной высокой траве. В пьяных снах не видел ничего, одних ползающих в радужном свете муравьев. И только раз, в сумерки, когда, похмельный, проснулся у Густавовой могилки, а может, и не проснулся еще, услышал голос: "Вот вы и опять здесь, фюрст! В наше последнее свидание я забыл вам рассказать, что Аристей завещал своим ученикам тайну — как сообщать всем металлам прозрачность, а человеку бессмертие. Заморозьте воздух, а потом очищайте до тех пор, пока он не превратится в жидкость..."

К Ивану подошла мордовка, конопатая, лицо блином. Позвала:

— Вставай князь, земля притянет. Небо вон как вызвездило...

Он шел за мордовкой по мокрой вечерней кладбищенской траве, спотыкаясь о кусты лещины и черной бузины и опять услышал донесшийся уже издали голос: "Не забудьте: меркурий... ляпис..."

Еще два года князь Иван Хворостинин стратилатствовал в ратях, бился с русскими, бился с казками, бился с литвою. И, по дороге в Москву из Козельска, из отъезжего заставного караула, заехал в Коломну. Там сидел на воеводстве свояк, Семен Пасынков. Вышел встретить Ивана на крыльцо, отечный, одышливый, в заплатанном кафтане:

— У меня воруха Маринка с воренком в башне сидят, может, навестишь? Только прежде в пытошную заглянем. Дружок твой давний, Мишка Молчанов висеть на дыбе соскучился. Крадлив, блядлив, прелестник и звездочетец, ан и попался.

Мишка висел на дыбе, закрыв глаза, в забытьи. Семен Пасынков пихнул его дырявым сапогом. Молчанов открыл глаза, узнал:

Я тебя, Иван, любил, — сказал он с дыбы.

Потому и хотел убить? — спросил князь Иван.

Ах ты, Каинов внук! — сплюнул Пасынков.

Не догулял я! — вздохнул Мишка. И засмеялся неожиданным смехом: — Здорово ты меня, Иван, обезьяной напугал в старые годы!

Хворостинин подъехал к оконцу-бойнице башни, привстал на стременах, позвал:

— Государыня Марина Юрьевна!

Услышал залиvistый детский плач. Из темной бойницы откликнулись:

— Что тебе, ксёнжен?

Иван разглядел длинный нос. Сверкнул камень в сереге.

— Ты государя Димитрия Ивановича любила? — спросил, помолчав, Иван. Ему не ответили.

— Чей это сын у тебя? — опять спросил Иван.

— Царя Димитрия, — глухо, будто эхо, ответила Марина. Ветер донес с Оки запахи полевых цветов.

— Хочешь, я младенцу веноч сплету? — предложил Иван. —
Лето ведь.

— Не надо! — вздохнула в бойнице Марина. — Мы с Ванюшей скоро пойдем на вечное лето.

— За что вы с Ивашкой Заруцким убили моего братца Ваньку? — обиделся князь Иван.

— Татары его ногайские убили, не мы, — сказала Марина. И спросила:

— Нет ли при тебе денег, ксёнжен? Слышишь, Ванюша с голоду плачет. — Он положил в платок три серебряных рубля, сколько при нем было, привязал платок к сабле, просунул в бойницу.

— Спасибо, ты не жесток, как другие москали — сказал Маринин голос-эхо.

— Без любви и милости — какой закон, — ответил князь Иван и поехал прочь от Маринкиной башни.

На песчаном берегу Оки он остановил коня, обернулся еще раз взглянуть на Коломенский Кремль, на граненую Маринкину башню. Волна с тихим плеском смывала следы конских копыт. "Так и пишем жизнь на песке", — вздохнул князь Иван.

IX

Он опять вернулся в Москву, как всегда возвращался — с ожиданием и надеждой. Встретила его мать, княгиня Гликерия. Плакала, говорила:

— Вестей от тебя не имела. Боялась, кабы не сошел ты от смуты безвестно. Милостив, однако, Господь, вот ты и опять вернулся из странствий.

— Из странствий, — повторил за нею Иван.

— Не высокоумничай больше, Ваня, — говорила княгиня Гликерия, — живи как все.

Она к нему пригляделась, пожалела:

— Истощал ты, Ваня!

И тотчас заговорила о своем:

— В монастырь я собралась, устала. Во дворец меня больше не зовут, верховые боярыни ныне Сицкая княгиня, да Безобразова, да татарки, княгини Урусова с Сулешовой. Они мне не в версту, позвали бы, рядом б не села...

— Не надоело тебе жить все? — спросил Иван.

— Надоело, — призналась мать. — В монастырь пойду. Хочу поискать красоты небесной, ангельской тишины.

Вспомнила:

— В Братцеве лен хорошо уродился, намяли плавуну двадцать коробей, скоро пришлют в Москву. Лен в Москве стоит в хорошей цене.

Москва отстроилась, а с нею и Чертолье, хотя там и сям оставались обширные пустыри, заросшие иван-чаем и татарником. Мать поставила новые деревянные хоромы, насадила яблоневый сад. Проулок их выпрямился. На месте сгоревшей церкви Николы в Подкопаях поставили каменную. Поправили часы на Спасских воротах и опять, как прежде, после их боя во всех городских концах начинался треск сторожевых колотушек. Москва была новой, грязной и скучной.

Во дворец князь Иван ездил редко. Опальчивый и мнительный патриарх Филарет, государев отец, его не любил. Когда-то царь Димитрий поведал Ивану, как ему помогли поставиться на царство Романовы из злобы на царя Бориса. На пиру в Тушине Иван раз сказал Филарету:

— Что, Никитич, еще одним царем промышляешь, соблазнив двух законных? Человечья ложь с Богом не царствует.

Филарет Ивановых слов не забыл.

Князь Артемий Аштон прислал из Англии с выездим иноземцем, капитаном Варнабеем, латинские книги — Бэкона, Фи-

липпа Сиднея, протестантский катехизис. Князь Иван прочитать не смог, велел переплести в кожу и спрятать. А сам читал Максима Грека, и когда доходил — в который раз — до "Страшной и достопамятной повести", начинал тосковать по Флоренции, которой никогда не видел, по "прекраснейшему и предобрейшему", как писал ученый грек, "из сущих в Италии градов".

Заглядывал к Ивану ротмистр Денис Фон Висин. Пили горячее вино с корицей, Иван жаловался:

— На Москве люд глупый, жить не с кем!

Приходил полковник Варнабей, начал было учить Ивана латини, но учење не пошло быстро, у князя Ивана скоро заболела голова. Помогала кенарей. А за вином хотелось жалеть себя, сетовать:

— Пока в ратях тиронствовал, змей у москвичей души уволон без остатка. Сеют рожью, а живут ложью. Мне бы в Литву отъехать, нарядиться по-гусарски и отъехать.

Приходил родственник, князь Семен Шаховской прозванием Харя. Дом его стоял недалеко, у Пречистенских ворот, в приходе Богородицы Ржевской. Князь Семен шел в гости пешком, дворовый мужик Епимах вел кобылу следом.

Войдя, князь Семен низко, до полу кланялся, величал Ивана "дуксом". Начинал всегда одинаково:

— Государь ты мой многоподательный, Сенька Шаховской, многогрешный в человецах, челом тебе бьет. Не глаголю — князь, княжеское имя есть высочайшее и прехвальное, я ж за грубость своих дел и человеком зваться непотребен, скотского ради моего жития и свинского нрава... — Пестро говоришь, книжно, — всякий раз останавливал его Хворостинин.

Семен Харя был ряб, невысок, правую руку держал клешней. Любил порассуждать, и все об отвлеченном, а потом, придя домой, записывал по памяти свои словеса и Ивановы ответы: "Отчего повелось инокам не есть мяса?"; "Чего ради в церквах на Троицу постигается многолиственное ветвие древес, сиречь береза"; как Господь неплодную вселенную явил многоплодной; отчего б персидскому шаху Аббасу не принять святое крещение. Записав, князь Семен наутро посылал свои епистолы с мужиком Епимахом через улицу, князю Ивану.

Ивана Шаховской слушал, благоговей:

— Не ум у тебя, князь Иван, а вивлиофика!

Ивана Сенькино благоговение раздражало.

— Приобщенья мне с вами никакого нету! — кричал он. — Попрошусь на съезд с литовскими послами, на рубеж, и сбегу в Литву, а там во Флоренцию.

Шаховской пугался, просил:

— Не отягчай сердца, дукс!

— Уеду! — упрявился князь Иван. — Оцепенел я с вами умом и сердцем.

— Кто где родился, тому там и Литва, и Ерусалим, и Флоренция, — замечал Шаховской.

— Князь ты, или бессловесный скот под фараоном? — кричал Хворостинин.

Шаховской робел, спохватывался:

— Прости, Ваня. Что это я, окаянный, тебя поучаю?! Сам денно и ночью плаваю в суетных помышлениях бытия. Грешен во всем, и в женах несчастлив...

В Великую Субботу князь Иван ел телятину и пил мушкетель. Слышал, как наверху, у матери, бездомные монашки пели: "Искупил еси от клятвы законной, бессмертие источил человекам". К ночи он заснул на лавке, уронив голову на стол. Во сне Мартын Стадницкий говорил ему: "Не забывай, человек грешен не по своей вине. Не было никакого искупления".

Проснулся рано, выглянул в окно, солнце играло. Он подумал: — "Это мне с похмелья кажется". Во дворец христосоваться не поехал. Дворне, пришедшей просить ради Пасхи кормовых денег, ничего не пожаловал. Разгневался, грозил прибить, кричал, что воскресения мертвых не будет и праздновать нечего. Умылся из лохани, пробовал писать вирши

Согрешившего спас Ты Лота,

Иссуши праведным сердцем греховные болота.

Перечитал, остался недоволен. Опять потянулся за мушкетелем.

Мать пришла христосоваться, попеняла:

— Опять ты, Иван, в гостях у вина!

Пришел князь Семен, переехал для праздника полулицы на

кобыле. Застав Ивана хмельным, смутился:

Празднуешь уже... Надо бы праздновать духовно, не телесно.

Во гробе все истлеет, — отвечал князь Иван.

В трапезной Кирилова монастыря стояли, слушали чужое покаяние чернецы: соборный старец Феоктист, игумен Филипп, огородный старец Неофит, Феодорит Умной.

Читали вслух патриаршую грамоту и учительный свиток "О восстании мертвых".

Князь Иван стоял в подряснике, без пояса, босоногий. К нему подошел старец Феодорит, подул трижды в лицо, положил руку на голову, и спросил:

— Отрицаешься ли ты сатаны? И дел его, и ангелов его, и всей его гордыни?

— Отрицаюсь, — сказал Иван и повторил трижды.

— Дунь и плюнь на него! — велел Феодорит.

Иван дунул и плюнул. Его повернули лицом к Востоку. А там на стенном письме червеобразные, бледные, худые бесы сыпались дюжинами с Лествицы Иаковлей.

— Ужаснись, не возвратись, не встретить его ни в ночи, ни во дни, — читал Феодорит. — Иди, сатана, в свой тартар, в томления вечную муку до уготованного тебе Судного Дня!

Князь Иван плохо слушал, смотрел в окно на желтые мокрые цветы. День был серенький, осенний. Вдруг пробилось солнце, капли на пожухлых листьях замерцали радугой, солнечный столб протянулся через всю трапезную до Иаковлей Лествицы. Иван смотрел и не верил своим глазам: бесы прыгали с Лествицы прямо в солнечную пыль. А там барахтались маленькие человечики — цари и мужики, царицы и бабы, попы и иноземцы, чернецы и бояре, поляки и татары, знакомые и незнакомые, родная мать.

Отрекся ли ты от сатаны? — спросил Феодорит.

Отрекся, — сказал Иван и опять повторил трижды.

Сочетаешься ли Христу?

Сочетаюсь.

Солнечный столб побледнел. Человечики исчезли, но бесы уцелели, бросились на стену и опять стали сыпаться с Лествицы

Иаковлей неустанно и неисчислимо.

— Сочетался ли ты Христу? — спросил Феодорит и опять положил руку на Иванову голову.

— Сочетался.

Х

Он ждал князя Ивана Михайловича Катырева. Катырев обещал привезти свою "Летописную Книгу" и присланное с Соловков, от старца Авраамия, "Сказание".

День выдался яркий, солнечный, беспокойный, с сильным ветром. "До чего сегодня ветер зол! — удивлялся князь Иван. — Вот и сверчок замолк, наверное, заглодал". Он подбросил в печь поленьев и встал к налою переписать последний столбец "Словес". Быстро устали глаза. Он их закрыл и тотчас задремал стоя.

В дверь кельи постучали мелким, сухим стуком. Он очнулся, спросил:

— Ты, князь Иван Михайлович? — И, не дожидаясь ответа, открыл. За порогом стоял рязанец с черной чашей. В чаше было варево цвета желтого жемчуга.

— Принес тебе укус мудрых, — сказал незнакомым голосом рязанец.

Иван втащил рязанца в келью, стал трясти за ворот облезлой лисьей шубейки:

— Ты мой расточитель! Ты мой поядатель! Сгинь! Изыди!

— Смотри, не расплескай! — отстранив Ивана, сказал рязанец. Иван удивился его силе.

Рязанец подошел к печи, открыл заслонку, поставил чашу на тлеющие угли. Обернулся к Ивану и сказал:

— Я, князь, за тобой пришел.

Налетел ветер, окошко распахнулось, а потом и дверь. Князь Иван взглянул на рязанца и испугался. Под лисьей шубейкой не было ни плоти, ни одежды, одна черная пустота.

Кто ты? — спросил, слабея, Иван.

— Абатон, — ответил рязанец, — крылошанин царя Абракаса.

Иван вспомнил болотистые места за Псковом, мхи, вереск,

извивающихся на конце палки черных гадюк и свой сон обезьяну на осине и человека внизу.

— Так это был ты? — спросил он рязанца.

И тут в распахнутое окно влезла обезьяна в заморском кафтане, в ботфортах, в широкой шляпе. "Ангела наставника, верного хранителя, — забормотал, отступая, князь Иван. — Враг попирает меня и озлобился".

— Эка вспомнил! — захихикал рязанец. — Я тоже ангел, по грехам прародителей ангел! — И приказал обезьяне: — Принеси чашу!

Обезьяна посмотрелась в зеркало, поправила на голове криво сидевшую шляпу, потом вынула из печи чашу и пошла с ней к Ивану, держа пред собою в вытянутых лапах. Отступая, Иван споткнулся о гроб, упал. Рязанец протянул руку, помог ему встать. Обезьяна была совсем близко, в черной чаше кипело желтое варево. Иван хотел вырваться, убежать, но рязанец держал его крепко, будто заковал в железа.

— Ацетум фончис, князь, — сказал рязанец. — Пей этот вкус мудрых, аргентум вивум. Он разрушает всякое творение и дает новую жизнь — ляпис.

От чаши несло нестерпимым жаром. Иван отвернулся, услышал, как за печью застрекотал сверчок. Он очнулся от охватившей его было слабости, попытался вырваться от рязанца. Свободной рукой ударил обезьяну по голове, сбил шляпу. Заживавший обезьяню морду платок сполз на волосатую шею. Князь Иван взглянул на обезьяну и увидел свое лицо.

— Никто, никто, токмо сам! — хихикал рязанец.

В недалеком Хотькове, в девичьем монастыре, что стоит при гробах родителей преподобного Сергия, мать князя Ивана Андреевича Хворостинина, княгиня Гликерия, в инокинях Геласия, готовилась к смерти. Перебрала короб с рухлядью, помолилась перед образом Марьи Египетской, стала дописывать духовную память: "Триодь Постная да Цветная, да Охтай Первого Гласа, да рукомыничек, да лоханка, да шапка ходильная, да бабы Ульяны черная сковородка, да два попониска пестрых, ветхих..."

На звоннице ударили в колокол. Звук был протяжный, длин-

ный. В слюдяное оконце легонько стукнули. Она подошла, открыла. На подоконнике сидела озябшая синица. "Ваня, наверное, умер" — догадалась княгиня. Закрыла оконце и дописала к памяти: "... Да будет, государь пожалует, велит тело мое грешное погresti у Троицы, где сын мой лежит".

Князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский ехал под злым февральским солнцем из Троицы в девичий монастырь, в Хотьково, охал на сугробах и раскатах, и тосковал, и не знал, что же он скажет матери старца Иоасафа, инокине Геласии. Плакал, пел ирмос — "Видел брата моего во гробе, бесславна' и безобразна".

И еще думал князь Катырев, какой он слабый, хворый и, может быть, скоро сам умрет — вот и ноги опухли.

"Никто не знает ни дня своего, ни часа", — вздыхал князь Иван. И он тоже не знал, потому что жить ему оставалось долго, целых пятнадцать лет.

Москва, 1964 — Нью-Йорк, 1985

*Юрий Кашкар*ов

AVE ROMA

О, если бы приветом "Ave Roma"
Жизнь завершить — запутанный рассказ
И обрести приснившийся алмаз,
Ненайденный под гнилью бурелома!

В часовенке — мне так она знакома
От юных лет (бывал я там не раз
Не наяву) — ни мрамора, ни ваз:
Лишь пастухи, да ясли, да солома.
Владыка мой! Меня отпустишь Ты,
Дошедшего к Тебе из-за черты,
Из мертвенной раскольничьей пустыни:

Пусть Angelus вечерний прозвонит
Над вечными колоннами Бернини,
Простит меня — и присоединит!

Валерий Перелешин

Одиночество! Блаженная лужайка,
где жужанье обнажает пчёл,
где не от страстей, от солнца жарко,
где себя свободе предпочёл.
Этих трав неповторимое терпенье,
муравьев изысканная месть.
Здесь несет бесхитростный репейник
постоянства рыцарскую честь.

Расставание! Кратчайшая тропинка
до забвенья всех, кому подстать,
уведет меня от поединка,
чтобы вновь березу пролистать,
чтобы лебедем на птичьей перекличке
отозваться слову моему,
чтобы знаком гордого отличья
обернуться горькому клейму.

Одиночество мне кроткий день пророчит.
Лишь бы леший не облапил сны,
моего пути не заморочил
на юру, где жмутся три сосны.

Марина Косталевская

ОТЕЦ

В технической конторе инженера Стевана Кинча и в его квартире, помещавшейся над конторой, уже с раннего утра, как и всегда вообще, а в дни его отъезда из города по делам в особенности, чувствовались те волнение и беспорядок, которые были его неизменными спутниками, как и толстый до отказа набитый портфель с разными бумагами, или отвратительный запах сигары.

В шесть часов утра, с чахоточными пятнами румянца на щеках, прислуга уже растапливала железную печь в канцелярии, кашляла и ежеминутно прислушивалась к шагам на лестнице.

В неубранной со вчерашнего вечера столовой с остатками яичницы на тарелках, с недопитыми стаканами пива, на самом краю стола, как-то боком, в неудобной позе, сидел Стеван Кинч. Обжигаясь горячим кофе, он что-то сердито бормотал про себя и его узкая костлявая рука нервно перебирала лежавшие перед ним бумаги.

Из спальни выглянула спутанная голова его прежней дактило, а теперь второй законной жены Эльзы. Кинч поглядел невидящим стеклянным взглядом на ее заспанное сердитое лицо, на небрежно брошенный серый бархатный халат и снова уткнулся в бумаги. Потом отхлебнул последний глоток и протянул чашку.

— Эльза, дай мне еще кофе.

— Кажется, можно сначала поздороваться, — сказала Эльза, беря чашку и с грохотом ставя ее обратно на стол. — Тебе даже "доброе утро" сказать некогда, у нас с пяти утра сумасшедший дом.

— Нельзя ли потише? Ты, кажется, опять хочешь, чтобы Отто стал свидетелем твоей утренней сцены, — тихо, но внушительно проговорил Стеван Кинч и его яйцеобразная лысина покраснела. — Никакого сумасшедшего дома нет. Просто вы все лентяи и работать не привыкли. Недельку тебя прошу пуговицу к тужурке пришить, так и то некогда. Ну, да черт с вами, и не работайте, но мне-то хоть не мешайте.

Эльза исподлобья взглянула на мужа. Она боялась и не любила его еще с того времени, когда молоденькой барышней по 8 часов в сутки переписывала в его конторе какие-то ей совершенно непонятные и неинтересные бумаги, или с холодным любопытством принимала его торопливое, деловое ухаживанье. Было что-то для нее бесконечно обидное в их недолгом романе, в советах матери и зависти подруг, а главное, в том, что у него уже был взрослый сын, тот самый Отто, который не должен был слышать их разговора.

— Ну, хорошо, хорошо, пей свой кофе и отправляйся, — поморщилась Эльза, опять беря чашку своими детскими беспомощными руками.

Кинч поднялся: — Нет, некогда уже. А где Отто?

— Я здесь, — послышался голос из ванной.

— Как? Ты еще не готов? Ведь ты прекрасно знаешь, что мне до ухода в город надо подписать вчерашнюю почту. Кажется, мог выспаться, — приоткрывая дверь в ванную и все больше и больше раздражаясь, говорил Стеван Кинч. — Читаешь до двух часов ночи дурацкие романы, а потом целый день ходишь, как сонная муха.

— Стеван, закрой дерь, — вмешалась Эльза. Ты же видишь, что я не одета.

На мгновенье мелькнула голая спина Отто с полотенцем через плечо, и дверь резко захлопнулась. — Кинч почесал длинным сухим пальцем редкие волосы на затылке, тяжело вздохнул, махнул рукой и почти бегом побежал вниз, в канцелярию.

Через четверть часа, когда Отто в элегантном сером пиджаке вышел из своей комнаты, со стола уже была убрана грязная посуда, вынуты чистые чашки и невидимая, но сразу повеселевшая Эльза сказала ему через дверь, что она решила снова лечь, так как совершенно не выспалась, но чтобы он обязательно при-

шел за нею часов около одиннадцати.

— Ты меня проводишь к портнихе и кстати посмотришь новое платье.

— Желтое, шелковое? — спросил Отто и его угрюмое и сосредоточенное лицо озарилось детской, немного жалкой улыбкой.

— Я не знаю только, смогу ли. Если он будет в городе. Но, во всяком случае, ты меня подожди.

Неторопливо позавтракав, Отто с подавленным вздохом спустился в канцелярию. Там уже начался рабочий день.

Стенографистка, фрау Земмель, в коричневых роговых очках и канареечном желтом свитере, обтягивавшем ее монументальные бедра, сидела на своем обычном месте около стола Стевана Кинча и благодушно грызла карандаш в ожидании, пока Кинч дочитает лежащую перед ним бумагу.

— Наконец-то, — грозно набросился Кинч на сына, хватаясь одновременно за звенящий телефон. — У тебя снова полный сумбур в архиве. Куда девались письма фирмы Зонтаг и Брат? Да, я слушаю. Здравствуйте, очень, очень рад, — медовым голосом, но делая одновременно сердитые гримасы, означавшие: черт его побери, опять мешает работать — и все по пустякам, заговорил Стеван Кинч с клиентом.

Не отвечая отцу и еще больше хмурясь, Отто подошел к шкафу с бумагами.

Телефонный разговор затянулся. Кинч уже танцевал от нетерпения в кресле и махал руками, словно прогоняя надоедливую муху, а клиент все не унимался.

— Да где ты ищешь? Там уже все перерыто. Бесплезное занятие, — пробурчал он, наконец, сыну, в изнеможении роняя трубку. — Фрау Земмель, пишите: "В ответ на ваше извещение...". И Кинч, сбиваясь и путаясь, затараторил длинейшее и сумбурное письмо. Но фрау Земмель, в противоположность всем обитателям Кинчевского дома, никогда не теряла хладнокровия. Тут же, на лету выпрямляя вывихнутые фразы, сыпавшиеся, как горох, из уст Стевана Кинча, она искоса наблюдала за Отто. Он брезгливо рылся в пыльном отцовском портфеле и вдруг с торжеством вытащил оттуда какую-то бумагу.

— Интересно, кто делает беспорядок? Ты только придирайт-

ся по пустякам умеешь, да и то без толку. К себе же в портфель и засунул.

— Не мешай мне работать, — огрызнулся Кинч и вдруг замер на полуслове. Фрау Земмель, уставшая писать, спокойно положила карандаш и начала громко и деловито сморкаться. Кинч недружелюбно покосился на ее клетчатый, не особенно чистый носовой платок, громко вздохнул, схватил бумагу из рук Отто, сунул ее снова в портфель и поднялся.

— Мы кончим после, — сказал он.

— А про почту ты, кажется, уже забыл? — ехидно заметил вслед Отто.

— Потом, потом, сейчас некогда.

Хлопнула выходная дверь. Фрау Земмель неодобрительно взглянула на Отто.

— Не сердитесь, дорогой мой, — сказала она внушительно и строго, — но ведь так нельзя, он вам все-таки отец. Конечно, это не мое дело. Но у меня самой растут сыновья.

Отто вспыхнул и мгновенно преобразился. В обычное время во всем его облике была какая-то неуверенность, часто встречающаяся у людей, которых много наказывали в детстве и которым постоянно твердили, что из них все равно не будет проку. Но в минуты гнева и обиды лицо его принимало упорное и сосредоточенное выражение, не предвещавшее ничего доброго.

— Отлично понимаю. Но и вы тоже должны понять. Очень легко и просто повторять избитую истину о сыновней почтительности. А вот ответить, заслуживает ли известное лицо право называться отцом, это уже значительно сложнее. О таких вещах не говорят. Но какое мне, в сущности, дело? Я скажу, — с внезапным детским упрямством, торопясь и запинаясь, как Стеван Кинч во время диктовки, заговорил Отто. — Знаете ли вы, за что и с каких пор я стал так к нему относиться? Мне тогда было лет одиннадцать. Я ходил во второй класс гимназии и был страшным хулиганом. Однажды мне вздумалось срезать все пуговицы на пальто нашего первого ученика. Меня раздражало, что он такой чистенький и прилизанный, и сочинения у него тоже прилизанные. И вот захотелось его хоть как-нибудь расстрепать. Я срезал его же перочинным ножом (меня забавляло то, что это был его ножик) в раздевалке все пуговицы с пальто.

Он, конечно, пожаловался надзирателю. Начался допрос, я признался. Директор написал отцу. Я и не подозревал, что все это до него дойдет. И вот, однажды вечером, когда я уже спал, ко мне в комнату ворвался отец, не говоря ни слова стянул с меня одеяло и начал меня, полусонного, безо всяких объяснений, избивать ремнем. На крик моей матери: "Да за что же?", он, сквозь зубы, ответил: "Этот негодяй сам прекрасно знает, за что. Сразу видно твое произведение". Два года после этой экзекуции меня лечили от нервного расстройства. При одном только взгляде на отца у меня делались припадки. Да что я? Разве во мне дело? — ходя по канцелярии и ломая карандаши, продолжал Отто. — За что он бросил мою мать, за что, как бешеный, накидывался на нее по пустякам, вот так же, как сейчас на Эльзу? Они обе хотят человеческой жизни, а не сумасшедшего дома. Для него не существует ничего, кроме этих проклятых дел.

— Отто сердито швырнул на пол папку с бумагами, хотел еще что-то сказать, но только махнул рукой. Он вдруг устыдился и своей горячности и смущения фрау Земмель, сконфуженно моргавшей своими маленькими близорукими глазами.

— Ну, мне пора в транспортную контору. Вот будет крик, если я опоздаю.

— Да да, — с облегчением заторопилась она, — и впрямь уже время.

А в семь часов вечера, когда, напрасно прождав возвращения Стевана Кинча в канцелярию, фрау Земмель наконец деловито подмазала красным карандашом добродушные толстые губы, обильно напудрилась и принялась закрывать машинку, раздался длинный звонок.

— Так я и знала, всегда в последнюю минуту, — заворчала она, открывая дверь.

На пороге стоял Стеван Кинч с покрасневшим от мороза носом.

— Где Отто?

— Он только что ушел ужинать.

— Ну, конечно, что же ему еще делать? Бегите наверх и скажите, чтобы он немедленно укладывает мой чемодан. Поезд уходит через час.

Через минуту весь дом уже был в лихорадке. Эльза наспех

делала какие-то бутерброды, т.к. Стеван решительно отказался от приготовленного ею гуляша. "Эту дрянь только ты и Отто можете есть", — заявил он и обидел этим ее окончательно. Стана мчалась с телеграммой, которую нужно было отправить еще утром. Фрау Земмель записывала противоречивые распоряжения, а Отто укладывал чемодан. Стеван Кинч бегал по столовой, путая приказания, отдаваемые фрау Земмель, с замечаниями по поводу укладки чемодана. И только сидя в автомобиле, везшем его на станцию, он вспомнил, что забыл проститься с женой и сыном.

Оставшись одни, Эльза и Отто облегченно вздохнули и Эльзино круглое, похожее на райское яблочко лицо, сразу повеселело.

— Стана, уберите немедленно всю эту дрянь, — позвала она горничную, показывая на разбросанные вещи мужа. — Чтоб я их эти дни и близко не видела. Слава Богу, уехал! Ну, Отто, что же мы будем делать нынче вечером?

После отъезда Стевана Кинча весь дом вздохнул свободно. Отто немедленно запустил канцелярию, куда, только для приличия, навещался по утрам. Эльза отсыпалась. Стану никто больше не гонял по пустыкам в город. Все были в благодушнейшем настроении. Впрочем, веселье было самое невинное. Отто и Эльза радовались, как дети, всякой чепухе: возможности обеда, когда вздумается, беготне по занесенному снегом городу, покупке совершенно бесполезных, но почему-то очаровательных вещей. По утрам долго, со смехом и спорами, обсуждалось меню обеда. Потом Отто превращался в повара, наряжаясь в Эльзин бледнорозовый передник. Вместо поварской шапочки на него надевали старый берет, из под которого смешно и жалко торчали пряди жидких белокурых волос. Его главной обязанностью было все пробовать. К обеду он успевал уже так напробо-ваться, что потом ничего не ел. Вечер непременно кончался кинематографом. Особенно понравившиеся картины смотрелись по два раза. Эльза забыла о существовании вечно торопящегося, вечно недовольного мужа, Отто — о транспортной конторе, через которую были посланы какие-то тракторы. Хорошие товарищеские отношения с Эльзой вознаграждали его и за отсут-

ствие друзей и за тоску по матери, живущей одиноко в далеком Будапеште.

Когда в первый раз Отто встретился с Эльзой, ему непременно хотелось в ней видеть соперницу своей матери и женщину, разрушившую их семью. Но вскоре он сам почувствовал всю нестерпимую фальшь этого им же самим наспех сочиненного положения. Семья была разрушена задолго до знакомства Эльзы со Стеваном Кинчем. Сама Эльза этого брака никогда не добивалась, а главное, очень скоро выяснилось, что судьба Эльзы ничем не отличается от судьбы его матери. Тогда он почувствовал к ней восторженную жалость, очень похожую на ту, которую втайне он питал и к самому себе.

Эльза же нестерпимо скучала в своем вынужденном одиночестве и искренно сочувствовала выходкам Отто против папаша. Вскоре между ними установился общиннический тон и взаимное понимание с полуслова. Впрочем, вся эта дружба носила самый невинный характер и не шла дальше товарищеского похлопыванья по плечу и поддразниванья друг друга. Тем более нелепым и чудовищным явилось все позднее случившееся.

В воскресенье (до возвращения Кинча оставалось еще два дня) после обеда они отправились в кинематограф. Было снежно, солнечно. Эльза широко распахнула на груди модный каракулевый воротник, из под которого выглядывал щегольской шарф. Ее маленький серый берет сполз на одно ухо, и из под него во все стороны рассыпались курчавые пышные волосы. Она неосторожно скользила по обледенелому асфальту и Отто, притворно ворчавший на ее нелепую походку, решительно взял ее под руку. Она рассмеялась ему в лицо и, раскрасневшаяся, веселая, стала что-то рассказывать, размахивая белой вязаной перчаткой.

И вот, такой оживленной и непохожей на обычную Эльзу явилась она глазам Стевана Кинча, проезжавшего в это время в автомобиле с вокзала домой.

Поездка его была неудачна. Фабрикант, которому он надеялся продать одну дорогую машину, наотрез отказался ее купить из-за кризиса и дороговизны и под многими другими предлогами. Казенное учреждение в котором он должен был получить по счету большую сумму денег, ему этих денег не запла-

тило. Вдобавок он сильно простудился в дороге. С жаром, кашляя и чувствуя непрекращающуюся боль в боку, ехал он скучной банатской равниной. За окном мелькали однообразные поля, покрытые легким слоем снега. Пролетали одинаковые станции с безобразными часами у входных дверей. Толстые бабы, закутанные в теплые шерстяные платки, толпились у выхода. Все это было знакомо, привычно и никогда не интересовало Стевана Кинча. Но сейчас ему было как-то не до расчетов и дел. Он прижал горячий лоб к оконному стеклу, зажег сигару и глубоко задумался о вещах, давно не приходивших ему в голову. Мысли его были печальны, хотя он и сам не понимал, что его так мучило.

— Ах, да, Отто и создавшиеся с ним отношения! — вдруг вспомнил он, машинально рисуя какие-то узоры на запотевшем стекле. — Мальчишка становится невозможен. Он дерзит даже при посторонних. Авторитет отца? — Кинч безнадежно пожал плечами. — Ну какой же авторитет может быть у него сейчас в глазах сына, которым он так мало в свое время занимался? Мальчик озлобился, смотрит на него, как на врага, не скрывает этого. Но неужто это непоправимо? Да, отношения невозможны, и он, Стеван Кинч, виноват в этом. Но кто же не допускал в своей жизни еще больших ошибок? Нет, нужно, и как можно скорее, переменить все! Да и Эльза... Тут он вспомнил сердитое выражение ее лица, сменяющееся испуганным и приниженным. — И как она холодна, как незаботлива!

Рука его совершенно машинально ощупала висящую на одной нитке пуговицу на тужурке.

— Конечно, он для нее слишком стар. Но кто же заставлял ее выходить за него замуж? Впрочем, и тут не без его вины. Нельзя же запирать молодую женщину. И в смысле денег он тоже не слишком щедр. Конечно, сейчас кризис и все летит вверх тормашками, но какое ей дело до кризиса! У нее своя философия. Ей хочется жить во что бы то ни стало.

“Мы живем только раз”, — вспомнил он ее слова во время последней крупной ссоры, и вдруг рассердился на самого себя за свою слабость. “Что за дурацкие мысли? Уж не мне ли оправдывать Эльзины нелепости? Все это лишь лихорадка. Приеду домой, приму аспирин. Все пройдет.”

Но Стеван Кинч уже чувствовал, что не пройдет. Он нетерпеливо посмотрел на часы: — "Да когда же мы, в самом деле, приедем?". Наконец показались примелькавшиеся здания, мост, река. — "Слава Богу!".

В автомобиле он немного пришел в себя. Вокруг был знакомый город, привычная жизнь. И вдруг, недалеко от кино "Этуаль", эта встреча. Конечно, что тут странного, что Отто ведет ее под руку, раз на дворе гололедица? Но это лицо! Этот смех! Ему она никогда так не смеялась. О чем они говорили?

Совершенно измученный и как-то вдруг посеревший, приехал Стеван Кинч домой. Лицо Станы, открывшей ему дверь, выразило такое удивление и даже испуг, что его снова передернуло. "Значит, не ждали, не рассчитывали".

— Где Эльза и Отто? — спросил он дрожащим от досады голосом, не глядя ей в глаза.

— Барыня, молодой барин... Они ушли. Я, право, не знаю, — совершенно спуталась и растерялась Стана.

— Дура! — бросил он ей, проходя в свой кабинет. Там все было переставлено. Его папки с бумагами вообще куда-то исчезли. На диване лежали какие-то новые подушки и одинокий шелковый чулок, второпях забытый Эльзой.

— Стана, — позвал он ее снова, — что это за беспорядок? Куда девались мои вещи?

Барыня приказали их вынести, как только вы уехали.

— Да что, они мешали тут, что ли?

— Уж я, право, не знаю, только барыня и Отто велели их поскорее убрать.

— Отто приказал убрать мои вещи! Ну, мы еще поговорим!

Он сел в кресло против стенных часов и решил дожидаться. По его расчетам представление в кинематографе должно было уже давным давно кончиться, а они все не шли. Да, может быть, они и не были в кино?

Он снова позвал Стану, снова расспросил ее и снова ничего не добился. В жарко натопленной комнате его разморило, мысли стали путаться, клонило ко сну. Незаметно для самого себя он уснул.

Его разбудили голоса вернувшихся Эльзы и Отто.

— Что, приехал? — послышался из передней неприятно

удивленный голос Эльзы. — Да где же он?

— Я здесь! — хотелось крикнуть Стевану Кинчу, но язык не слушался, а сердце билось все сильнее.

— Сейчас, сейчас узнаю, — мелькнуло у него в голове. — От нее или от Отто? Нет, лучше от Отто!

Шаги приблизились. Он встал, зажег электричество и открыл дверь.

Здравствуй, Эльза, — особенно спокойно и тихо сказал он ей. — Где это вы пропадали?

И, видя ее смущенное, столь непохожее на то, сиявшее радостью жизни лицо, которое на одно мгновение мелькнуло перед ним за стеклами автомобиля, он перевел глаза на Отто. У мальчишки, как всегда, упрямо стиснуты скулы и металлический блеск в глазах. До чего он ему противен в эту минуту!

— Кажется, можно поздороваться с отцом, или ты и этого не знаешь? Болван! — вне себя от вдруг прорвавшегося бешенства, закричал Кинч.

— Да что ты, Стеван? За что? Что он сделал? — вдруг вся побледнела и затряслась Эльза. — Не успел приехать, и уже этот крик. Это же, наконец, невыносимо.

— Зачем ты волнуешься, Эльза? Будто я давно не привык к этому милому обращению? — криво усмехнулся Отто. Папаша в дурном настроении и нужно на ком-нибудь сорвать свою злобу. Я ведь всегда служу ему козлом отпущения. — И он круто повернулся к выходу.

Эльза умоляюще оглянулась. В ее глазах Стеван Кинч прочел: "Ради Бога, не оставляй меня с ним".

— Отто, — позвал он сына, — мне нужно немедленно поговорить с тобой. Эльза, уходи!

Наступила уже несколько часов тому назад предвкушаемая минута. Стеван Кинч поднялся. Рука его, схватившаяся за спинку стула, дрожала все сильнее.

— Скажет ли он только правду? Да, в такую минуту скажет, со злости скажет.

— Сегодня я видел тебя и Эльзу из автомобиля, проезжая с вокзала домой. Ваша поза и лица были таковы, что... Словом, я требую от тебя правды, не как отец, а как муж. Что было между тобой и Эльзой эти дни? Или, может быть, еще и раньше? —

подступая все ближе и ближе к сыну и побледнев, лепетал Стеван Кинч.

На мгновенье глаза Отто широко раскрылись и в них отразилось безграничное удивление. И вдруг невероятная, шальная мысль, словно молния, озарила его сознание. Так вот она, та сладостная минута, которой он ждал годами!

В одну секунду ему вспомнилось все: и побои за отрезанные пуговицы, и слезы матери, и постоянное унижение.

Отец в его власти. Такой случай никогда не повторится.

Бешеный восторг мести захлестнул его душу, не оставляя в ней места ничему другому.

Он отступил на шаг, опустил глаза и сказал отчетливо:

— Сегодня же ночью я уезжаю в Будапешт.

Когда он закрывал дверь, ему послышался стон.

И только у себя в комнате, над раскрытым чемоданом, он понял, что им было сделано.

Екатерина Таубер. 1933 г.

(Из архива Ренэ Герра)

КАК ХОРОШО

Легчайшего дыханья Божества
Без примеси мессопотамской глины
Хватило бы для лучшей половины
Того, чья жизнь во мне полужива.

Бесплотный дух, трепещущий едва,
Издалека влюблялся бы в картины,
Но для того, чтоб описать смотрины,
Потребны плоть, рассудок и слова.

Как хорошо, что в довершение льготы
Мне велено испытывать земноты,
Искать себя равно в добре и зле,

В полдневести — и в зябкости полночной,
В безвременно растраченном тепле,
В бессмыслице слиянности непрочной.

Валерий Перелешин

ГЕОРГИЙ ШЕНГЕЛИ

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

ФИНАЛ

На старом — восьмидесятих годов — снимке довольно красивое, недоброе и умное лицо женщины с зоркими светскими глазами и дерзким, чуть брезгливым выпятом четкого рта. В этом "ключе" мне всегда рисовались героини Достоевского: Настасья Филипповна, Полина из "Игрока". Может быть, потому, что этого же склада лицо было у подруги Достоевского, Сусловой.

На снимке девятьсот тридцатых годов — старуха, со сжатым ртом, с большим костистым лбом под зачесанными назад волосами, слепая: чувствуется, что ее открытые глаза ничего не фиксируют. В аккуратной черной тальме, она сидит на стуле на фоне кирпичной стены. Стена эта — тюремная. Старуха отбывает многолетнее заключение. Она — провокаторша, которую лишь глубокая старость и слепота спасли от расстрела.

С народовольческих времен и до первой революции она стояла в самом центре "краснокрестной" работы революционных организаций. Она знала всех и ее знали все. Очень крупные люди соприкасались с нею, доверяли ей, опирались на нее, любили с нею беседовать. Самые твердокаменные конспираторы делили с нею свои тайны. Она в высшей мере владела искус-

Рукопись получена из СССР. Георгий Аркадьевич Шенгели (1894-1956) — поэт, переводчик, критик, автор одного оконченного и одного неоконченного романа. Цикл кратких судебных новелл основан на материале тех лет, когда Г. Шенгели по бедности писал судебную хронику для газет, а позднее — по бедности же — выполнял литературно-судебную экспертизу. Тема рассказа "Финал" использована им в неопубликованной поэме "В дежурке". Рассказы печатаются впервые. — *Ред.*

ством умного и сердечного слова и умела с каждым говорить так, как это было нужно ему. У нее была семья. Муж, которому она была всегда верна и дети, которых она очень любила. И она служила в охранке. Она предала многие сотни людей. Она была поставщицей каторги и виселицы. В охранке ее ценили. Ей платили крупные деньги. О ней заботилась даже тогда, когда, ослепнув, она перестала быть полезной. О ее здоровье писали друг другу самые матерые рыцари этого черного ордена. Умница Зубатов, виртуоз и артист сыска Рачковский, грубая шельма Евстратка Медников — все относились к ней с подлинной симпатией, бескорыстно хлопотали о пособии для нее, о пенсии. Даже на них распространилось магнитное поле ее обаяния. А руки у нее были в крови. В непросыхающей крови.

О ней напечатана целая книга...

Году в тридцать пятом я был вызван в народный суд экспертом по пустому литературно-гонорарному делу. Я вошел в залу заседаний, которую незачем описывать, сел и стал рассеянно слушать какое-то дело, разбиравшееся до нашего. Перед судейским столом стоял плюгавый старикаша с большими усами и небритым подбородком. Это был истец, требовавший чьего-то выселения из своей комнаты. Он бормотал невнятное; я уловил, что у старухи, которую, очевидно, он выселял, невозможный характер, что она все время ругается, поедает его картошку.

Судья говорил ему:

— Ну, а куда мы денем слепую старуху?

Истец продолжал бормотать. И вдруг до меня донеслось:

— Да ведь она ж провокаторша!

Судья ответил:

— Она свое наказание отбыла, и с этим покончено.

И ушел с заседателями на совещание. Истец, растерянно потупившись, уселся на передней скамье дожидаться решения, явно для него неблагоприятного. Меня осенила догадка. Я подсел к нему, заговорил, посочувствовал, расспросил его.

Да, это была она — "мамочка", "гуз", которой, по распоряжению самого императора, было выдано на лечение пять тысяч рублей золотом. Отбыв заключение, она судом добилась от сына, отрекшегося от такой матери, алиментов, отыскала старого городского, известного ей по охранке, и убедила его разде-

лить с нею его нищенскую комнату площадью в десять метров. И отравила ему его душную и ничтожную жизнь.

ТАЙНА

Она жила очень одиноко. Комната ее, правда, была первой налево от входной двери, и соседям ее по квартире не так легко было примечать, кто к ней ходит, но когда все уже случилось, и соседи оживленно судачили о происшедшем и с радостной готовностью отвечали на расспросы следователя, выяснилось, что никто у нее не бывал. Никто и никогда. Это было странно и так и осталось необъясненным. Довольно хорошенькая девушка, с дерзким разлетом тонких и подвижных бровей, она где-то служила (оказалось, что стенографисткой в одном из промышленных наркоматов), где-то училась (оказалось, что в каком-то химическом институте с вечерними занятиями), была в добрых отношениях с начальством, сослуживцами и соучениками, с соседями по квартире, нормально посещала театры и кино, довольно часто бывала в разных кафе поэтов и имела некоторые литературные знакомства — поверхностные, правда. Поэзия, видимо, ее интересовала: в ее очень опрятной комнате две или три книжных полки были заняты сборниками стихов. Но сама она стихов не писала. По крайней мере, никаких рукописей у нее не нашли.

Вообще не нашли ничего. Ни стихов, ни дневников, ни писем; телефоны и адреса в ее записной книжке были только деловыми и не выходили из круга ее наркомата и института. Опрос соседей, сослуживцев, студентов, литераторов, с которыми она была знакома, не дал ничего. Не удалось узнать, с кем она дружила, с кем общалась, в каких домах бывала. Ее бумаги и анкеты также говорили мало: семьи у нее не было, родители, беженцы из Царства Польского, умерли в 17-м году: она успела окончить шесть классов в Радомской или Келецкой гимназии и с тех пор "училась дома". С 18-го года она уже служила по разным канцеляриям вечно перетряхиваемого государственного аппарата, замужем не была, родных не имела. Жизнь вела очень упорядоченную, квартплату вносила аккуратно; вне дома, на-

сколько знали соседи, не ночевала. Отпуск проводила в городе. Один раз, впрочем, была в доме отдыха, где-то на Волге. Следователь, очень заинтересованный делом, установил всех обитателей этого дома за данный месяц, всех опросил, но не выяснил ничего. Даже гражданка, делившая с ней комнату, не могла ничего сказать определенного и интересного, хотя хорошо помнила смуглую девушку с дерзкими бровями. Любопытно было лишь то, что девушка хорошо умела плавать — неизвестно, где и когда выучившись. В общем — полная тайна окружала жизнь этой девушки.

Таинственна была и ее смерть.

На службу она не являлась дня два или три. К ней послали. В ее комнату, оказавшуюся незапертой, вошли.

Девушка сидела у стола, мертвая. Уже слышался слабый трупный запах. Она сидела, склонив голову на лист бумаги. На бумаге был нарисован — и довольно искусно — большой кукиш.

Никакой записки не было. Вскрытие показало, что она отравилась стрихнином, что все ее органы были вполне здоровы и нормальны, что девушкой она не была.

Следователь много месяцев возился с этим делом, но так ни до чего и не докопался...

30.IX.1945

ЗАГРОБНАЯ КРАЖА

Муж был поэт, жена — поэтесса. Он был довольно посредственным лириком, она была блистательна. Маленькие ее сборнички с крохотными стихотворениями по 8, по 12 строк, распались, как первые мимозы весной. Ее переводили на европейские и азиатские языки, писали к ее стихам музыку, писали картины на ее лирические темы. Муж мучительно и злобно завидовал ей. Каждая ее строчка была ему оскорблением. Его жена, на которой он сотни раз лежал, как на десятках других женщин, которая так же вскрикивала и так же пахла, неодолимо превосходила его. Это было гнусно. И он задумал и, годами работая, осуществил утонченную месть жене за свое унижение. Стихи она слагала обычно в уме, иногда неделями бормоча строки, и толь-

ко сложившееся и отделанное стихотворение вписывала в тетрадку. Поэтому у нее не было черновиков с очаровательной мазней, перечеркиваниями, вставками, профилями и росчерками, где можно пальцами ощупать прорастание поэтического стебля. У нее были одни беловики, переписанные аккуратнейшим институтским почерком. И ее муж, списав очередное ее стихотворение, в поте лица своего изготавлял его черновик: писал первоначальный вариант, менял рифмы и расстановку слов, ставил другие эпитеты, вписывая и вычеркивая лишние строфы.

В должный срок жена его умерла. Через несколько лет умер и он. Рукописи их поступили в литературный музей. И всех ошеломило открытие: знаменитой поэтессы не было: стихи за нее писал, оказывается, муж. И какие хорошие! Лучшие плоды своего вдохновения! И кто-то из тонких моралистов состряпал даже книгу о заклании творчества на алтаре любви. Все находили это очень трогательным.

24.IV.1946

Миг парит, святой и недотрога,
Над бессвязной кутерьмою чувств.
Миг выводит бледного немого,
Блик немой выводит с бледных уст.

Как сказать, чтоб вся душа затихла,
Улыбнувшись, согласилась спать?
Так сказать, чтоб в мире стало тихо,
Хоть на миг чтоб чувство потерять.

Миг — не тот, что думают — мгновенный.
Миг, бывает, тянется века.
И вокруг той, что мы зовсем Вселенной
Миг течет; он — тихая река.

Нина Косман

ГЛЕБ АНИЩЕНКО

ГУСАРСКАЯ ЭЛЕГИЯ

В.С.

Когда мелькнет прекрасный образ,
И дрогнет ментик на груди
Я сочиню туманный опус,
А ты гречанку укради.

Колесиком хрустальной шпоры
Мы процарапаем в веках
Божбу ночного разговора,
Крылатый лет на ямщиках.

Так слушай музыку видений
У бражной вечности в гостях:
За строчку шалую, за деву
Нас ошельмуют, но простят!

На языке весенний щелок,
Он шепот времени и плач.
Мы ждем последнего укола,
До той поры играя в мяч.

* Из самиздатского "Нового Русского Сборника" (Москва, 1980). Печатается без ведома и разрешения автора. — *Ред.*

* * *

Не веруй мудрости поэта,
Не требуй верности жены.
Мы разбазарили заветы,
Которым следовать должны.
За тишину вечерних тягот,
За сонный крик и песий лай
Тебе в лесу достанет ягод,
Лишь белены не набирай.
Такие легкие запреты,
Как будто рифма смежных строк,
Нам не срывают эпoletы
Пред путешествием в острог,
Воркуют вечные приметы
Над каждой новою судьбой...
Не требуй мудрости поэта,
Помрешь со скуки, милый мой.

* * *

Шелковичный снега скрип
Нежный гномик сновидений,
Будто пудренный парик
На ветвях оставил гений.

До сих пор еще горит
В Рождество и новолуние
Кажут грудки снегири
Сквозь натянутые струны.

Обогрей дыханьем руку,
Я глухой — так не томи!..
— Растрепавшаяся букля,
Венский шепот: до-ре-ми.

И листья сыплются, упоены собою,
Тяжелые от красок и судеб;
Сегодня в руки воздуха рябого
Влагают липы медяки на хлеб.
Попробуй прокричать росистый светлый лес,
Облизанный сухими сквозняками:
В нем всё случайно,

только виден крест

И у реки — горячий белый камень.
Купавна, купина, купальщица, кувшинка!
Слова бросались в липовый проем
И таяли.

Но я храню ошибку,
Царапинку на имени твоём.

* * *

Ясновиденье — Боже мой — слово!
Вы готовы за слово платить?
Из теперь, из вчера, из бывшего
Волокнистую скручивать нить?

Суета пронесется галопом,
Щелкнет осень опавшим сучком,
От огня, от меча от потопа
Не спасешься бочком, дурачком.

Полуночной размолвки награда —
Замечать кувырканье примет;
Не поверишь на слово — не надо,
Но тогда ясновиденья нет.

ПОХВАЛА РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Александр Блок (1880-1921) еще в 20-х гг. (уже очень давних) был для многих не одним из поэтов, а единственным поэтом, самой поэзией, мерилом ее.

Мы готовы были повторять стихи Цветаевой:

И, под медленным снегом стоя,
Опущусь на колени в снег
И во имя твое святое
Поцелую вечерний снег...

Блока не забыли, не забудут, но отношение к нему стало уже прохладнее, "официальнее". Поэты от него отошли, но академики продолжают трудиться над его литературным наследством. Лишь в диалогах Живаго и Лары еще слышались последние отзвуки блоковской высокой лирики.

Вспоминаю, как "*Шаги командора*" читал Г.П. Федотов (1886-1951). Его мучила грудная жаба, он задыхался. Уже из последних сил, как-то грозно-блаженно прочел он:

Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! — Тишина.

Уже больше нет этого романтизма, этого энтузиазма и этих иллюзий.

В юности — сладостные мотивы Жуковского, Фета, Полонского. В зрелые годы — гоголевская музыка пространства-простора, ямщицкие колокольчики, цыганская гитара Аполлона

См. "Н.Ж.", кн. 150, 154, 156, 158.

Григорьева, "достоевские" выкрики Ивана Карамазова. Полет не то в рай (синий-синий, певучий-певучий), не то вверх тормашками, в тартарары. Но куда бы мы с Блоком не летели, мы испытывали счастье быстрой езды. Блок *спел* Гоголя и Достоевского, *допел* Аполлона Григорьева, *договорил* последние слова Дон-Жуана: "Выходи на битву, старый рок".

Любовь к России — даже к падшей, любой, в особенности — к нищей.

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые
Как слезы первые любви!

Блок ценил и любил Некрасова, и сам отчасти был гражданским поэтом.

Блок поддавался стихиям, он был медиумом в процессе творчества, а в поэзии гипнотизировал безумевших вместе с ним поэтов и читателей. Иногда, волнуясь и спеша, искажал язык. Нельзя держать "Равенну-младенца" *в руках*. Нельзя смотреть *за темную вуаль* Незнакомки. Блока укоряли педанты (С.К. Маковский). Но здесь не ошибка, а прием, хотя бы неосознанный: если в стихийной поэзии всё позволено, то можно ломать и грамматику (то же самое делал Толстой, но по другим причинам: он думал, что герой его, Правда, изъясняется коряво, а не гладко, по-тургеневски).

Гармоничны, даже как-то "акмеистичны" некоторые итальянские стихи Блока — прекрасные, но не вполне блоковские. Вообще, став мастером, он мастерства своего не ценил. Не хотел, чтобы свободная птица вдохновения томилась в тесной клетке искусства ("Художник"). Но именно в этом стихотворении Блоку удалось выйти из "дамского" круга поэзии; ему, поголевами, стало видно во все концы земли.

Длятся часы, мировое несущие.
Ширятся звуки, движенье и свет.
Прошлое страстно глядится в грядущее.
Нет настоящего. Жалкого — нет.

Еще в ранней юности Блок писал, что будет "свидетелем ги-

бели вселенной". Но он долго верил, что после "великих мятежей" наступит небывалое возрождение, старый рок будет побежден. *Чаяния* (как тогда говорили) наполовину сбылись — не вся вселенная, но русский "старый мир" сгорел в революции, не февральской, а октябрьской. Есть упоение в стихийной динамике "*Скифов*". — "Да, скифы мы... с раскосыми и жадными глазами..." А в "*Двенадцати*" упоение уже слабее: частушечный говорок заглушает песню ветра. В эпилоге — ложь, художественная и религиозная, сусальный Христос хлыстовского радения. Блок утверждал, что увидел Христа впереди красноармейцев, и он же говорил, что глубоко ненавидит этот "женственный призрак". Ему так хотелось, чтобы двенадцать вел "Другой". Да так оно и было — Сатана прикинулся Христом. Это не ново, иногда обманывались и святые, принимая Антихриста за Христа, как например, преп. Исаакий Печерский.

Блок скоро понял, что был введен в обман: никакого возрождения после гибели "старого мира" не последовало. И он умер оттого, что "музыка ушла из мира". Ему уже не о чем было петь и нечем дышать. Это не одни только слова, но факты его биографии, его творчества. Зинаида Гиппиус не простила Блоку "*Двенадцати*". Но такие, как он, страстотерпцы — не все ли прощены? Перед смертью он действительно испытывал адские мучения, и физические, и душевные.

Блок ошибался и, ошибаясь, мучаясь, пел.

В наши дни конец мира выглядит куда реальнее, чем в блоковскую эпоху. Но мы не испытываем апокалиптического упоения. Песни гибели больше не веселят сердца и не верится, что за очередной катастрофой наступит какое-то возрождение. Вот почему Блок от нас далек. Мы еще восхищаемся им, но уже не можем отождествлять себя с ним.

Блок был одержим стихиями, упивался динамикой-дисгармонией, "ветровыми песнями", но, умирая, вспомнил "веселое имя" Пушкина и завещал нам пушкинское откровение *о жизни*, а не о гибели.

У Блока своя судьба, не навязанная ему извне ни средой, ни семьей — ее значение он преувеличивает в "*Возмездии*". И свою судьбу он добровольно принял и полностью раскрыл в своей поэзии.

Были у Блока редкие моменты трезвости.

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века
Всё будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

Какая здесь скудость изложения! Повторяющийся каталог: ночь, улица, фонарь, аптека. Один только образ: ледяная рябь канала. Есть огромная энергия: шок. Но есть и что-то бодрящее в освобождении ото всех иллюзий. Нет уныния. Хочется жить *вопреки*, но и как-то *благодаря* всей этой бессмыслице существования. Только в искусстве, в особенности, в поэзии, возможна такая реакция: оптимизма на пессимизм.

Андрей Белый (1880-1934). Неоформленный гений, недо-
плотившийся человек.

Тянусь — безвесый, никакой:
Меня выращивают бесы.
Невыразимую тоской...

— писал он о себе. Но лучше сказать — не тянулся, а нёсся с безумной быстротой. Был "эфирной породы", но зорок: все замечал, гротескно преувеличивая каждую деталь. Герои его романов — или гоголевские "типы" или Достоевские "бесы", но в современном одеянии и с обстренными нервами. Следуя за Владимиром Соловьевым, за его "пророческой метелью", Белый увидел — где-то на Арбате — утопические зори новой эпохи. Вестницей светлого будущего явилась ему Надежда Львовна Зарина — Маргарита Кирилловна Морозова, добрый гений музыкантов, поэтов, философов:

Браслеты — трепетный восторг —
Бросают лепетные слезы;
Во взорах — горний Сведенборг;
Колье — алмазные морозы:

Блеснет, как северная даль,
В сквозные, всеерные речи...
Летит вуалева шаль
На бледнопалевые плечи.

В *"Первом свидании"* — плотный, увесистый московский быт "купцов, ученых, миллионеров"; на концерте — "рой матрон мегерых", на улице — "мордастый кучер прогигикнет".

Все бытовое вовлекается в вихревой полет и уносится по родному Арбату — то в Благородное собрание, то в Новодевичий монастырь, то к черту на кулички, или в мистическую северную даль. Современная наука тоже движется. Белый, подтанцовывая, сближает:

Законы Бойля, Ван-дер-Вальса
Со снами веющего вальса,

В эпилоге ветры и вальсы замирают в лирическом шелесте:

Я смыт вздыхающей волною
В неутихающий покой.

В *"Первом свидании"* тот же размер, что и в *"Евгении Онегине"*, но этот, когда-то самый излюбленный русскими поэтами ямбический тетраметр изменен почти до неузнаваемости. У Белого преобладают облегченные четырехстопные ямбы с двумя ударениями вместо четырех. По подсчетам К.Ф. Тарновского, их иногда больше 20%. К тому же, добавлю, они часто следуют один за другим (частота ряда):

Невыразимая Осанна,
Неотразимая звезда,
Ты откровеньем Иоанна
Приоткрывалась навсегда

Та же быстрота и легкость во многих других стихах Белого. Смысл иногда улетучивается, слышатся одни звуки. Музыка ветров и вальсов Белого враждебна слову. Но в *"Первом свидании"* есть быт, то гротескный, то уютный.

Степун верно заметил: Андрей Белый — существо, променявшее корни на крылья. В *"Первом свидании"* он в *почве* коре-

нится, как и в некоторых своих бытовых стихотворениях, будь то мещанственная *"Поповна"* или вельможа осьмнадцатого века в стихотворении *"Опала"*.

Эфирный Белый в чем-то совпадает с нашей эпохой убыстренных скоростей. Но где цель? Полет "безвесого, никакого" Белого бесцелен. В Белом мало было сущности, мало бытия. Он — романтический поэт-энтузиаст, мистик и нигилист, стремительно влекущий не в благословенный Египет осенних журавлей, но в никуда. Он все время завивается в пустоту —

Лия лазуревые дури
На наши мысленные зги;

Но одержимый полетом, завиваемый ветрами и вальсами, Белый иногда затихал на московском перекрестке, где —

...Богоматерь в переулочек
Слезой задумчивой глядит.

Белый умер от последствий солнечного удара или от злоупотребления солнечными ваннами. Свою смерть он сам напрогнозировал: "Золотому блеску верил / А умер от солнечных стрел" (1907 г.) В этом стихотворении, да и в некоторых других, слышен рыдающий надгробный напев. Значит, не был он только эльфом, а иногда воплощался в человека, горько оплакивая свою судьбу.

Блока и Белого часто сравнивали. Блок тоже мчался, у него были крылья, но он взвалил на горб груз эпохи и, задохнувшись, упал под непосильной тяжестью. А Белый, все зорко подмечая, глядел на жизнь со стороны, из стратосферы, он страдал не от ноши, а от своей невесомости, от отсутствия земного притяжения, от своей гениальной, но иногда почти хлестаковской легкости в мыслях. Как верно писал о нем Мандельштам:

Как снежок на Москве заводил кавардак гоголёк,
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок.
Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец...

Блок и Белый выросли в одном профессорском кругу. Саша Блок — в счастливом, в семье матери, дочери профессора Беке-

това. В Варшаве жил и иногда напоминал о себе отец, с которым мать развелась — профессор Блок. Боря Бугаев с детства ощущал разрыв между старым отцом, профессором Бугаевым и молодой матерью. Между ними мальчик рано изолгался, и на всю жизнь остался неверным в дружбе, во всех увлечениях и верованиях. Отца ненавидел, но не по "схеме" Фрейда — иногда к нему тянулся, ценил, даже любил, хотя в воображении готов был уничтожить, как младший Аблесимов (революционер) — старшего (сенатора) в романе "*Петербург*".

Саша Блок, Боря Бугаев и их младший друг Сережа Соловьев (племянник философа), все они жили во владимиросоловьевской ауре, ждали откровения Вечной Женственности. Блок и в жизни и в своей мистике был глубже, серьезнее Белого — мистика-хлестакова. Блок остается большим поэтом. Белый талантливее в прозе. Но оба они творчески ненужны даровитому поколению поэтов, родившемуся в 30-е годы. В сердцах этого поколения поэтов Блока и Белого победили *те четверо*: Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, но и — Георгий Иванов.

Граф Василий Комаровский (1881-1914). Он несколько раз сходил с ума. Вскоре после начала Первой мировой войны, 8 сентября 1914 г. он покончил с собой, не вынес ужаса.

Душевно больной, а сколько четкости, ясности, меткости в его стихах. Он более акмеист, нежели другие поэты этого направления, хотя и не участвовал в гумилевском "Цехе". Был сам по себе. Он далек и от символистов: философия его не увлекала. Ему ближе Иннокентий Анненский, но Анненский, человек с обнаженной кожей, хотел верить и не мог. Комаровский — "последний язычник", тоже лишившийся веры, в поэзии сохранил спокойствие стоика.

Изданных его стихов наберется едва ли сотня. Сборник "*Первая пристань*" был напечатан посмертно. Его очень ценили Ахматова, Гумилев, критик Пунин, С.К. Маковский, историк литературы кн. Святополк-Мирский, позднее — Георгий Адамович и Георгий Иванов, написавший о нем воспоминания (не без вымысла).

У Комаровского очень осязательное, даже обонятельное

чувство истории. Его влекло в Рим:

Где лики медные Тиверия и Суллы
 Напоминают мне угрюмые разгулы,
 С последним запахом последней резеды,
 Осенний тяжкий дым вошел во все сады.

У ученейшего "римлянина" Вячеслава Иванова этой конкретности нет. Комаровский не грешил идеализациями. Не постеснялся дать вот эту аналогию

И с мутною водою Язуы
 Сравню миродержавный Тибр!

Поэтика его традиционная (ямбические пентаметры, александрийский стих, т.е. шестистопный ямб). Но метафорика оригинальная:

И мокрых пней зиящие тлены... Бегут воды лепечущие бредни.

Комаровский, как и Мандельштам, любил и понимал живопись:

Пылают лестницы и мраморы нагреты,
 Но в церковь и в дворец иди, где Тинторетты
 С багровым золотом мешают желтый лак,
 И сизым ладаном напитан полумрак.

У Комаровского великолепно представлены имперский Петербург, Царское Село, где он жил, Ракша — дворянское гнездо. Есть и русский "Рынок":

Здесь груды валенок и кипы кошельков,
 И золото зеленое копчушек.
 Грибы сушеные, соленье, связки сухек,
 И постный запах теплых пирожков.

Но при всей фламандской соблазнительности, эти яства не возбуждают аппетита. Комаровскому не хватало вкуса к жизни, и нет у него эротики. Кажется, что его стихи замедленно-торжественно скандирует надгробная статуя: руки сложены, глаза закрыты, гулкий голос отдается в темных углах усыпальницы. Но

иногда монотония чтения нарушается, голос усиливается и статуя оживает:

Над городом гранитным и старинным
Сияла ночь — Первоначальный Дым.
Почила Ночь над этим пиром винным,
Над этим пиром огненно-седым.

В этом торжественном вещании есть упоение, есть трепет. И Комаровский признается в последних строках стихотворения:

Я трепетал могущий и бессильный,
Я трепетал, и пел, и трепетал.

Здесь он уже не стоик... Что такое Первоначальный Дым (у Комаровского вообще много дымов, фимиама)? Хаос, небытие, которое становится бытием? Это только гипотеза, а слышится здесь у поэта *misterium tremendum* (образ-понятие Рудольфа Отто).

Михаил Кузмин. Недавно выяснен год его рождения 1872-ой а не 1875-ый. Умер он в 1935 г. Печататься начал поздно, когда ему было за тридцать.

Стал большим мастером легкой поэзии, создал нечто вроде нового рококо, и начисто отменил политику. Его поэзия была знаменем времени. После провала революции Пятого года многим начала надоедать всякая революционно-интеллигентская идеология. Надоело и влиятельное литературное меньшинство — символисты. Их богоискательство тоже отдавало "идеологией". Явился Кузмин. Вместо глубокомыслия — легкомыслие:

Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку.

Вместо споров эсеров и эсдеков, вместо салонного "нового религиозного сознания" — "дух мелочей, прелестных и воздушных".

Кузмину было к лицу прославлять Александрию — не фараонную, не византийскую, а пеструю, рыночную, бездумную. Возможно, такой никогда и не существовало, но у него она *такая*.

Его "*Александрийские песни*" написаны верлибром. В этих стихах — счастливое сочетание песенных рефренов, редких звуковых повторов и — разговорных выражений, прозаических описаний, нарушающих плавное течение поэтической речи. В одной из песен — тот же повторяющийся зачин: — "Не знаю, как это случилось" (амфибрахий). Так говорит молодая гречанка. Но ее болтовня с соблазнителем ломает напев в диалоге: — "А что у меня во рту, видишь? — Чему быть у тебя во рту? Крепкие зубы и болтливый язык."

Иногда приемы Кузмина сложнее, неуловимее. Так, отрывок, посвященный любимцу императора Адриана — Антиною, организует внутренняя рифма ("волшебством-пустом"), звуковые повторы (три "и")и, в особенности, сильное ударение на последнем слове:

Волшебством показалась мне его красота
и его молчание в пустом покое
полднем!

Кузмин отрицает влияние на него "*Песен Билитис*" Пьера Луиса. Он, скорее, сродни новогреческому поэту Константину Кавафису (1863-1933), которой жил в Александрии и чье описание великого города близко кузминскому. Он тоже использовал верлибр. Можно также провести аналогию между Кавафисом, Кузминым и Стефаном Георге.

Отталкиваясь от символистов, Кузмин выдвинул канон "прекрасной ясности", как будто исключаящий "темную" мистику. Но позже он не раз от этого канона отступал. Писал невнятные гностические гимны, впадал в сюрреалистический бред, описывал никогда не виденный им австралийский пейзаж или ассирийского царя, похожего на Пугачева. Последний сборник Кузмина — "*Форель разбивает лед*" (1929 г.). Ошеломляют некоторые ритмы его шестистиший ("Кони бьются, храпят в испуге"), оказавшие влияние на Анну Ахматову, на ее "*Поэму без героя*".

Песнь песней Кузмина — стихотворение "Господь, я вижу, я недостоин..." (1916 г.). Здесь тоже дольки, но иного ритмического рисунка, чем в "*Форели*". Есть напор, сжатость, упоение:

Еще я ревную, мучусь, немею
(Господь, мое счастье обереги!),
Еще я легким там быть не смею,
Где должны быть крылаты шаги.
Еще я верю весенним разливам,
Люблю левкой и красную медь,
Еще мне скучно быть справедливым,
Великодушьем хочу гореть.

Есть чистота в этих покаянных стихах. Это молитва грешника, который, впрочем, не отказывается, по слабости, от соблазнов. Есть в этих стихах и острая жалость. Его ранит, "когда ребенка бьют по щекам".

Алексей Ремизов и Марина Цветаева в своих *мифах* о Михаиле Кузmine ощутили его тайную боль. Ремизов напоминает, что Кузмин написал музыку к сказанию о "*Хождении Богородицы по мукам*". Эту очень обрусевшую византийскую легенду Достоевский назвал православной "*Божественной комедией*". Вот ремизовский литературный портрет Кузмина: "[Он] тогда ходил с бородой — чернющая... и так смотрит, не то сам фараон Тутанк-хамен, не то — с костра, из скитов заволжских".

Михаил Кузмин — герой если и не бессмертного, то вневременного "*Нездешнего вечера*" Марины Цветаевой. Тревожная осень Шестнадцатого года. Цветаевский портрет Кузмина: он чем-то напоминал ей француза XVIII века с острова Мартиники. Цветаева воспела его *знаменитые* глаза:

Два зарева! — нет, зеркал!
Нет — два недуга!
Два вулканических жерла,
Два черных круга

Ужасные! Пламень и мрак!
Две черных ямы.
Бессонные мальчишки — так
В больницах: — Мама! —
Страх и укор, ах и аминь...

Было у Кузмина и великодушие, была щедрость анакреон-

тического или "рококшного" мудреца, всегда готового одарить всеми земными радостями на коротком пиру жизни: "Из сердца пригоршней беру я радость". Зная, как несовершенна, и в несовершенстве своем все же прекрасна природа человеческая, Кузмин втайне верил: все спасутся

Увидишь, мы дети Божьи
У теплых родных колен.

Максимилиан Волошин (Кириенко, 1877-1932). Стихи его холодные, но яркие. Ему удавались эффектные формулировки;

Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот...

И еще этот ударно-эффектный стих: "Пусть SCLAVUS раб, но Славия... есть СЛАВА..." (1918 г.).

Было у него чувство истории. Великолепны волошинские анапесты о становлении Московской Руси:

Отразился в лазоревой ленте,
Развитой по лугам-муравам,
Аристотелем Фиоравенти
На Москва-реке строенный храм.
И московские Иоанны
На татарские веси и страны
Наложили тяжелую пядь
И пятой наступили на степи...

(*"Дикое поле"*, 1920)

Наличие двух ударений вместо трех в одной строке ("Аристотелем Фиоравенти") и опущение одного слова в другой ("И московские Иоанны") несколько оживляют монотонный размер.

Лучшие свои стихи Волошин написал в 1917-1924 гг. В них он сумел изобразить Лихолетье.

С Россей конечно... На последях
Ее мы проглядели, проболтали,

Пролузгали, пропили, проплевали
Замызгали на грязных площадях...

Ноябрь 1917 г.

В годы свирепствовавшей и в Крыму гражданской войны Волошин укрывал белых от красных и красных от белых. Тогда же он заявил: "Я равно приветствую и революцию, и реакцию, и коммунизм, и самодержавие". В очерке "Россия распятая" (1920 г.), который был впервые опубликован Б.А. Филипповым в I томе "*Стихотворений*", Волошин утверждал, что после длинного кровавого лихолетья Россия опять вернется к монархии.

Скандально-эффектны анапесты Волошина в его стихотворении "*Русь гулящая*". Здесь он очень уж истерично упивается позором и бедами родины:

Шлендит пьяная в лохмах кумашных
Да бесстыжие песни орет...

Или:

Кажет людям срамные части,
Непотребства творит напоказ...

Но как ни *разжигает* себя Волошин, он остается холоден, не горяч. Холодно-риторична и волошинская "*Святая Русь*".

Духовное учение Рудольфа Штейнера, по-моему, столь же рационалистично, как и антидуховное учение Карла Маркса. Поверхностная мистика антропософов не умудрила Максимилиана Волошина (как и Андрея Белого).

Маргарита Сабашникова, первая жена Максимилиана Александровича, сказала о нем — "*недовоплощенный*" (и они вскоре разошлись). Марина Цветаева *воплотила его своеобразнейшую личность в замечательном очерке "Живое о живом"*. Она пишет: "Раскрылась земля и породила: такого совсем готового, огромного гнома, дремучего великана, немножко быка, немножко бога". Едва ли Марина любила стихи своего обожаемого Макса. Она их не цитирует (за исключением стихотворения, посвященного ей). Но, может быть, в ее цикле "*Ученик*" (1921 г.) строка: "За пыльным пурпуром твоим брести..." навеяна волошинской строкой: "Мой пыльный пурпур был в лоскутьях" (1913 г.).

Николая Клюева (1884-1937) можно назвать младшим символистом. Весь его богатый словарь, не вмещающийся в Даля, символичен.

Стихия Клюева — хлыстовщина. Он будто бы был Давидом хлыстовского корабля (Б. Филиппов). Но доказано ли это и можно ли верить Клюеву — творцу своей собственной легенды? Его радельные песни имеют мало общего с хлыстовским фольклором. Все же можно сказать, что Клюев — хлыст по духу, хлыст на свой лад: индивидуалист, декадент.

Нелегко разобраться в символике клюевской мистики-эротики. В поэме *"Мать — Суббота"* Дух в виде ястреба или коня терзает жену, которая неожиданно превращается в мужа:

Радуйтесь, братья, беременен я
От поцелуев и ядер коня...

Клюева обольщали "парни, сладкие, как мед", "детина, как малина", или жаворонок Есенин. Он перед ними "невестился" (сказал бы Розанов), рядясь в разноцветные сарафаны своих ярких метафор-символов. На клюевском радении "сочетался брат с братом", но хлысты о таких сочетаниях не помышляли. Прославлял он и "скопчество-венец". Ему грезился оскопленный муж, духовно рождающий стокрылых ангелов. У Клюева мало домовитости раскольничьей Руси. Клюевская Русь — хлыстовка, впавшая в декадентство XX-го века.

Блок мечтал о воцарении Светлой жены, Мережковский — о Третьем Завете — Матери, Вячеслав Иванов утверждал новую универсальную хоровую культуру. А Клюев стремился вовлечь вселенную в хлыстовские радения. Ему хотелось:

Прозвенеть тальянкой в Сиаме,
Подивить трепаком Каир,
В расписном бизоньем вигваме
Новоладожский править пир.

И когда зазвенит на Чили
Керженский самовар,
Серафим на моей могиле
Вострубит светел и яр.

Хлысты таких песен не слагали, но существенно, что, в противоположность старовеерам-националистам, они, в особенности скопцы, были своего рода интернационалистами, мечтали о теократии Божьих людей в России, Турции, Греции, Франции. Так что здесь, хотя и на свой самодурский лад, Клюев продолжает старую хлыстовскую традицию. Есть легкость-прелесть в его пангеографических, вдохновенно-плясовых стихах (некое варварское рококо).

Можно отрицать утопические бреды символистов. Но было у них и другое — любовь, боль, мысли. Блок и без блоковской метафизики остается поэтом влюбленных. Пусть символистов мало читают, но они еще могут "возродиться". Что-то может быть очищено и по-новому понято и в хлыстовском варианте Клюева. Возможно новое воцерковление Терпсихоры. Ведь в IV веке христиане плясали на могилах мучеников (Д.К. Коновалов, 1908 г.). Есть райское упоение в этих радельных стихах Клюева:

Как у нас ли, други, нынче радость,
Отошли от нас болезни, смерть и старость.

Любви, боли у Клюева мало. Лишь изредка слышится у него щемящая тоска одиночества, например, в эпилоге "*Погорельщины*":

Цветик мой дитячий,
Над тобой поплачет
Темень и трезор.
Может им под тыном
И пахнёт жасмином
От Саронских гор!

Сила Клюева — поэт очень одаренного, в павлиньи-попугайном, в гамаюнно-алконостовом оперении его яркой поэзии. Клюевский символизм (и не только его) часто нас отталкивает тенденциозностью, которая была и у гражданских поэтов (но иначе выразалась). Но Клюевский имажинизм иногда восхищает. Стихи Клюева перенасыщены образами в большей степени, чем у поэтов, называвших себя имажинистами: сфинкс — корова; кит — тишина; монументальная Дарья с Вавилом качают Монблан; фазанье солнце, жасминовый Фет. Есенин у

него многому научился, прежде всего, смелой образности. Все же они очень разные. Клюев хитроумен, манерен, Есенин задумчив, иногда сентиментален.

Яркий, но и ледяной Клюев! Даже о страстях, о стихиях писал он холодно, хотя и красочно. Его поэзия — полярные пазоры (северное сияние) или морозные узоры на окнах олонецкой избы.

Клюевский имажинизм — эллиптический, с перескоками (как называл эллипсы Державин), что сближает его и с футуристами. У символистов не было таких смелых сближений, как, например, в этих отрывистых дольниках (логаэдах), которые Клюеву удавались лучше, чем монотонные трехсложные размеры или даже легкие плясовые хорей:

Мандолина льнет к Барабану
 Одалиска к ломовику...
 По кумачному океану
 Уплывает мое ку-ку.

Здесь нет навязчивого символизма. Здесь — свободный полет воображения, экстатический маньеризм, упительная динамика, как и в других стихах недооцененного цикла *"Львиный хлеб"*:

С Богом станем богами,
 Виссонами шелестя...
 Над олонецкими полями
 Взыграло утро-дитя.

Клюев, хотя он и не был целителем, мог бы дублировать при царском дворе Распутина, с которым его иногда сравнивали. Он на свой, клюевский лад, прославил Октябрь: "Есть в Ленине керженский дух, / Игуменский окрик в декретах".

Но, по существу, был к политике равнодушен. Олонецкое прошлое его привлекало, но более всего он тянулся к будущему, в какую-то Белую Индию, в сказочный город-розан, и, в особенности, во вселенскую хлыстовскую утопию.

Кошунственный и одержимый диковинными бесами декадент Клюев, он же и имажинист, одаренный необыкновенным арктическим воображением. Клюев увлекает, когда не заботится о раскрытии своей бесовской религии в символах и свободно-

вдохновенно бормочет о красочных чудесах мира или по каким-то звуковым ассоциациям сближает Чикаго и Калугу. Он мало что любил, но умел восхищаться и восхищать.

Коммунистическая критика неодобрительно отзывалась на клюевские восхваления Ленина и Красной армии. Клюева называли "идеологом кулачества" "под столыпинским солнцем". Травля кончилась арестом в 1933 г. Он умер в Сибири, по-видимому, на перегоне из одного лагеря в другой, в 1937 г.

Анна Ахматова (1889-1965). Не философическая София Владимира Соловьева, не поэтическая Прекрасная Дама Александра Блока, а просто женщина. И если это дама, то обыкновенная, хотя и влюбленная; та, которая в момент разлуки с любимым "На правую руку надела перчатку с левой руки...". Это и баба, которая говорит, без возмущения:

Муж хлестал меня узорчатым,
Вдвое сложенным ремнем.

Особенно удавались Ахматовой героини, далекие от идеала. Например, "*Гость*". Он ей нравился, а не она ему:

Ни один не двинулся мускул
Просветленно-злого лица.

Сколько меткости и едкости в этом эпитете: ведь до Ахматовой мы не знали, что злое может быть просветленным! Стихотворение "*Вечером*" ("Звенела музыка в саду..."): никаких иллюзий в приморском ресторане; он, похотливый хищник, притворяется "верным другом". И все-таки она его любит:

А скорбных скрипок голоса
Поют за стелющимся дымом:
"Благослови же небеса:
Ты первый раз одна с любимым".

Снижению высокой лирики помог Анненский: Ахматова сама признавалась, что многому у него научилась, когда проверяла посмертные корректуры сборника "Кипарисовый ларец" (но, все же, меж ними мало общего). По верному замечанию

Осипа Манделштама, Ахматова училась писать стихи у прозаиков прошлого столетия (например, у Достоевского). Это "опрозаивание" не было изменой поэзии. Ахматова открыла новые *некрасивые красоты*, годные для поэзии:

Когда б вы знали, из какого сора
 Растут стихи, не ведая стыда,
 Как желтый одуванчик у забора,
 Как лопухи и лебеда.

Велика была ранняя популярность *женских стихов* Ахматовой. Но их не одобрял Блок: Ахматова пишет, оглядываясь на мужчину, а не на Бога.

Великая русская беда — октябрьский переворот — прида-
 ла новую силу ее лирике.

Все расхищено, предано, продано,
 Черной смерти мелькало крыло...

(это — чекистский "воронок").

И вдруг, в крошечной октябрьской тьме — озарение.

И так близко подходит чудесное
 К развалившимся грязным домам,
 Никому, никому неизвестное,
 Но от века желанное нам.

После всеобщего обнищания, в годы террора — возврат к вере, а для Ахматовой — к православию... Двусмысленные христы и антихристы, христы и дионисы уже не соблазняли. Отец Александр Шмеман утверждал: вера Ахматовой, как и ее преданность России, были для нее чем-то органичным. Никакого богоскательства она не знала и обходилась без романтического народничества.

Террор 30-х годов. Ахматова триста часов простояла в очередях с передачей для арестованного сына. Стоявшая рядом с ней женщина с голубыми губами спросила: — "А это вы можете описать?". Ахматова сказала: — "Могу".

Мое личное впечатление: ритмы, рифмы "*Реквиема*", образы, слова как-то не передают нечеловеческие страдания той эпохи.

Искусство *такого* не вмещает. Лучшее в этом сборнике — евангельские церковнославянские тексты: "Не рыдай Мене, Мати, во гробе сушу". Только в этих словах есть свет. Но убедительны в "*Реквиеме*" последние два стиха:

И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли

Простить палачей нельзя и спеть-выпеть такое горе трудно. А все же жизнь в целом не виновата — хотя бы эти голуби и корабли.

Вершина поэзии Анны Ахматовой, ее акме — "*Поэма без героя*". Очень основательна статья об этой вещи Б.А. Филиппова (Ахматова, *Сочинения*, т. II, 1968 г.). Но полному истолкованию эта поэма (к счастью) не поддается: есть в ней тайна. Ахматова признается (в "*Заметках*" о поэме), что многое в ней она сама все еще разгадывает. Чудится ей звук шагов ("которых нету") Чьих? Судьбы, Музы, или Гостя Будущего (молодого читателя)? Но все в поэме внятно уху, оку, даже коже, крови, сердцу, хотя, зачастую, непонятно уму.

Один выдающийся прозаик просил Ахматову отозваться о его стихотворстве. Анна Андреевна ему ответила: "Ваш путь — проза, в ваших стихах недостает тайны. Раздосадованный писатель сказал: "А у вас слишком много тайны!". Ему было невдомек, что тайна в поэзии — нечто, хотя и трудно определяемое, но простое: высший смысл, свобода, игра, упоение...

В "*Поэме без героя*" проносится карнавальное шествие — веселая Венеция в мрачном Петербурге. Кое-кого можно узнать: это Блок, Гумилев, Кузмин, один из ее лучших, любимых друзей Николай Недоброво (написавший о ней пронциательнейший очерк). Мелькают Павлова, Шалапин, Мейерхольд и другие.

Коломбина и Пьеро. Коломбина — Олечка Глебова-Судейкина, близкая подруга Ахматовой, "актерка", но не из лучших, не примадонна. В "*Поэме без героя*" она — главное лицо, ахматовская Муза:

...Ты в Россию пришла ниоткуда,
О мое белокурое чудо,

Коломбина десятых годов:
 Что глядишь ты так смутно и зорко,
 Петербургская кукла, актерка,
 Ты — один из моих двойников.

Этот *двойник* для Ахматовой — лучше, чем она сама. Ахматова очень даже заглядывалась на мужчин, но на самую свою высоту высот вознесла подругу. Прекрасный портрет Олечки находим в воспоминаниях ее друга, композитора А. Лурье ("*Воздушные пути*", V, 1967).

Пьеро — Всеволод Князев — драгунский корнет, слабый поэт, в которого был влюблен Кузмин, а безнадежная любовь Князева к Олечке Судейкиной довела его до самоубийства.

По сравнению с Олечкой, Князев в "*Поэме без героя*" — вторичен. Все же Ахматова им восхищалась:

И темные ресницы Антиноя
 вдруг поднялись — и там зеленый дым,
 и ветерком повеяло родным...

Участники ахматовского карнавального шествия — фигуры последнего счастливого года русской истории — Тринадцатого. Но никакой идеализации нет. Все они беспечны, легкомысленны, грешны — *бражники и блудницы* (сказала Ахматова, но не в "*Поэме*"). Олечка и Всеволод — прелестные бабочки, летящие на огонь...

Ахматова писала свою "*Поэму*" в сороковые годы (и позднее), зная об обреченности этого карнавала — об ужасах войн, революций, террора уже не календарного, а настоящего Двадцатого века, наступившего в роковом 1914 году.

О карнавальном прошлом Ахматова говорит: "Это я — твоя старая совесть." Но "*Поэма без героя*" — не покаянный канон, а победная Песня Песней. Писано как будто *за упокой*, а всё вместе звучит — *за здравие*. В этом чудо искусства, и тоже — тайна.

Захватывают могучие ритмы "*Поэмы*". Немало трехстопных анапестов, но много — тоже трехстопных, но прерывистых анапестов. Вот шестистишие о Петербурге, городе поэтессы:

Отраженье мое в каналах,
 Звук шагов в Эрмитажных залах,
 Где со мною мой друг бродил,
 И на старом Волковом Поле,
 Где могу я рыдать на воле
 Над безмолвьем братских могил.

Ритмический рисунок: — —/— —/—/(—). Но иногда слог опускается во второй стопе.

В первом и втором стихе широкая невская волна подымает на гребень, а далее, в третьем, рывком ударяет о гранитный берег. Поиграет и больно ушибет... Так часто бывает на верхах искусства: оно и радует и ранит.

Ритм в ахматовской "*Поэме без героя*" тот же, что и в кузминском цикле "*Форель разбивает лед*". Это сходство отметил Р. Тименчик (Ахматова, *Сочинения*, т. II, 604) у Кузмина:

Кони бьются, храпят в испуге,
 Синей лентой обвиты дуги,
 Волки, снег, бубенцы, пальба!
 Что до страшной, как ночь, расплаты?
 Разве дрогнут твои Карпаты?
 В старом роге застынет мед?

Шестистишия Кузмина и Ахматовой напоминают терцины Данте. Но флорентинец жесток, несправедлив: многих своих личных врагов он отправляет в ад. "Оставь надежду навсегда", — говорит он грешнику. В страстности и неистовстве Кузмин и Ахматова уступают Данте. Зато они не знают его ненависти. Все же, вопреки ненависти, каждая из трех частей "*Божественной Комедии*" кончается гимном любви, которая движет солнцем и другими звездами: "Tamor che move il sole e l' altre stelle." У Кузмина псевдоним (метафора) любви — форель. У Ахматовой она хотя и не названа, но подразумевается, это *победившее смерть слово*.

Многочисленных участников мрачного шествия, всех этих бражников и блудниц "*Поэмы без героя*" оправдывают их будущие страдания в советском аду. Еще более оправдывает и

отогревает в могильном холоде — любовь и память Анны Ахматовой.

Лирика Ахматовой по силе напряжения превосходит лирику Кузмина, но все же она многим ему обязана. Выясняется, что юную Ахматову ввел на российский Парнас не только Вячеслав Иванов ("восхитившийся ее "перчаткой"), но и Кузмин. Но почему-то она его не жаловала, и, возможно, возмутилась бы моей аналогией между "*Позмой без героя*" и "*Форестью*".

Под эгидой осенней, или даже зимней Анны Ахматовой росли, развивались четыре молодых ленинградских-петербургских поэта. Их теперь именуют *Ахматовскими сиротами*. Выделяются талантом двое — Иосиф Бродский и Дмитрий Бобышев (ему Анна Андреевна посвятила стихотворение "*Пятая роза*").

Ахматова, повторяю, многим обязана Анненскому, русской прозе прошлого столетия и ритмике Кузмина. Но путь Анны Ахматовой, как и Осипа Мандельштама — широкий, без рытвин пушкинский путь.

Нет для Пушкина лучшей эпитафии, чем эта, Ахматовская:

Смуглый отрок бродил по аллеям
У озерных глухих берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

В самые адские советские годы Анна Ахматова занималась Пушкиным и внесла ценный вклад в огромную пушкиниану (в особенности, в изучение его биографии). Но в исследовательской работе ей иногда мешала личная неприязнь к Наталье Николаевне. Не учитывала она и того, что Пушкин (по верному определению Г.П. Федотова) был *певцом и империи, и свободы*, а в ту эпоху империя и свобода зачастую исключали друг друга. Пушкину приходилось мучительно изживать эту антиномию и в жизни и в творчестве. Он сочувствовал декабристам, но ведь и Николаю I, которого наставлял: "Во всем будь пращурю подобен,/ Как он неутомим и тверд".

Осип Мандельштам (1891-1938). Его ранняя зрелость. Еще в 1909 г., когда ему было 18 лет, он уже радовал благодатными

стихами — "Только детские книги читать..." где, вопреки признанному правилу, преобладают глагольные рифмы. Но какое легкое дыхание в 12 строках!

Мотив благодарения слышится в другом стихотворении того же года:

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить,
Кого, скажите, мне благодарить?

Есть и благословение всей твари:

И печальна так и хороша
Темная звериная душа:

И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым...

Здесь уже мастерство и волшебная звукопись: нежные губные *ом, ым, ым, ам, ым* (их всего пять). Вообще же Мандельштам никогда не перебарщивал фонически, как Бальмонт ("Чуждый чарам черный челн") и др.

Наконец, совсем не "ошибочное", а молитвенно-непроизвольное обращение к Богу — еще — Неизвестному:

Господи! — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Если бы Мандельштам умер лет 22-23, и тогда бы от него остался заметный след в русской поэзии.

Юного Осипа Мандельштама сразу признали мэтр акмеистов Гумилев и поэты его цеха. Но одна только Анна Ахматова предугадала его будущее, и она одна из первых, хотя уже значительно позднее, назвала Мандельштама великим поэтом.

Версификация Мандельштама — консервативная. У него мало входивших тогда в моду "дольников".

Одно из самых виртуозных и благодатных его стихотворений — "Венеция:"

Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?

В первой строке уже выложены все главные лирические козыри: вопрошание, повеление (императив) и восклицание (вокатив). От праздничной смерти незачем уходить: она здесь (и вообще зачастую в искусстве) — кульминация жизни. Это не бессмертие, а внесмертие...

Умел Мандельштам смешивать слова из разных стилистических рядов:

Он завирается, с Орландом куролеся,
И содрогается, преображаясь весь.

В первом (шутливом) стихе Орландо является в окружении просторечного глагола *"завираться"* и семинарско-жаргонного *"куролесить"* (от греч. *"кирие элейсон"* — Господи, помилуй). Во втором стихе (возвышенном) тот же Орландо окружается глаголами литературного языка — *"содрогаться"* и церковнославянского — *"преобразаться"*. Но эти слова разных стилей имеют общий звуковой знаменатель — пять рокочущих *"рцы."* Комика и патетика вовлечены в ту же самую фонику.

Есть здесь державинщина, и Цветаева назвала Мандельштама *молодым Державиным*. Все же резкие барочные контрасты и великолепная какофония державинской поэзии ему чужды (а вот Цветаева всем этим добром упивалась).

Мандельштам (как и Ахматова) исходил не из Державина, а из Пушкина. Также — из Батюшкова. Он воспринял, развил его замедленный элегический распев и видел в нем предка в поэзии: *"Батюшков нежный со мною живет..."*. Вдохновляясь им, Мандельштам дал свое исповедание поэзии:

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

Не есть ли это наилучший эпиграф к лирической поэзии, и не только русской?! Новаторство, экспериментализм свойственны искусству. Но истинное искусство любого стиля еще и

священнодействие. Оно возвещает братство и вызывает слезы. "Над вымыслом слезами обольюсь", — сказал Пушкин.

Почему Батюшков назван "косноязычным"? Его поэтическая дикция — очень отчетливая. Предполагаю: не означает ли здесь "косноязычие" то же самое, что "глуповатость" для Пушкина ("Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата". — т. е. не рассудочна.)

Стихи о голодном-холодном и уstraшенном Петербурге, по которому разъезжают чекисты ("Только злой мотор во мгле промчится..."). Но именно там, в опустошенной столице —

За блаженное бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.

Это не заумное *самовитое* слово Хлебникова, экспериментальное и, может быть, иногда магическое. Здесь слово, за которое молятся. Не означает ли оно преследуемые и изгоняемые в пооктябрьской России святыни — Бог, братская любовь, лирика, Россия.

Мандельштам находил у Ариосто "язык бессмысленный, язык солено-сладкий, т. е. язык, не поддающийся рациональному истолкованию. Но не заумь. "Блаженное бессмысленное слово" — святая святых Мандельштама и — великая тайна.

О Мандельштаме говорили: "Осип Эмильевич постоянно влюбляется!" Но в его лирической эротике не слышится страсти: только нежность. Его возлюбленные в поэзии — сестры, музы, и он обращается к ним с призывами, заклинаниями:

Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита...

Эти слова (имена) — тоже блаженные, и его любовь — "блаженная любовь" (стихотворение посвящено сравнительно недавно скончавшейся княгине Саломее Андронниковой). Она не возлюбленная, а высокая покровительница-вдохновительница, Муза. Посвящал Мандельштам стихи и жене, Надежде Яковлевне — "нищенке-подруге". И здесь нет страсти.

Лирическая энциклопедия Мандельштама по искусству, истории обширна: она включает всю нашу иудео-эллинико-латинскую культуру. То, что за ее пределами, например, Дальний Восток, его не занимало. Наполеон дал своему сыну титул —

Дитя Франции; Мандельштам — Дитя Европы. Европу он прославлял еще в юности, в роковом Четырнадцатом году. Он восхищался ее изрезанными берегами, но выделил только одну страну:

И Польша нежная, где нету короля

(Король здесь — символ утерянной независимости).

Германия дана у Мандельштама в великолепной звукописи "Валгаллы белое вино.....".

В зрелости Мандельштам отказался от своей юношеской безобразности. Он расточительно образен в прославлении стран, народов, городов. Из них самые его любимые — Петербург, Рим, Венеция, но и другие, например, Москва, *подаренная* ему Мариной Цветаевой (за что он ее благодарил).

Древний мир Мандельштама не отвлеченно-книжный, как у Вячеслава Иванова, а живой, вещественный. В Риме Овидия "жуют волы"; в Эпире "нерасторопна черепаха-лира". Какую высокую жаворонковую ноту взял Мандельштам вот в этой, единым дыханием выговоренной строфе:

И холодком повеяло высоким
От выпукло-девического лба,
Чтобы раскрылись правнукам далеким
Архипелага нежные гроба.

В античном мире у Вячеслава Иванова мертвая вода, а у Мандельштама — живая.

Мандельштам встречался в поэзии с великими, величайшими — с Давидом Псалмопевцем, с Данте. Но больше всего выделял Пушкина: в стихах избегал называть его по имени, да и в беседах. И другим запрещал его именовать всуе. Но косвенно говорил о нем: он — солнце (Александр). Или: вчерашнее солнце, которое несут на черных носилках. От Пушкина Мандельштам унаследовал имперский Петербург:

А над Невою — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!

Здесь — прославление империи на высокой ноте. Но, как и

Пушкин, он не забывал и обреченных декабристов в этой строке: "Россия, Лета, Лорелея...".

У Мандельштама не было русско-интеллигентского недоверия к культуре, не было базаровщины. Символисты с их безответственными мистическими грезами и ожиданием апокалиптического конца мира, тоже от культуры отвращались. Самое это слово как-то скомпрометировано в России. Клюев рифмовал: "культура-дура". По-советски, некультурно бросать окурки на улице. Для Мандельштама культура — это созидание, строительство, возделывание плодов земных, например, культура винограда, который он воспевал в Крыму:

Я сказал: виноград, как старинная битва живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке.
В каменистой Тавриде наука Эллады — и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.

Благословенны эти замедленные анапесты — здесь слышится гимн труду. Культура — это и искусство, не только поэзия, но и музыка (Баха, Бетховена), а также особенно любимое Мандельштамом зодчество.

Сестры тяжесть и нежность
одинаковы ваши приметы.

Нежность к женщинам-сестрам, музам-вдохновительницам. Но любима Мандельштамом и тяжесть, как будто исключаящая нежность. Еще в юности он обещал:

из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

Это — культура, и священная культура; она выражает нашу любовь к Творцу и входит в то радостное богообщение, о котором Мандельштам писал в своем, увы, фрагментарном очерке о Скрябине...

В замедленных ритмах он восхвалял соборы: Софии и Петра, Notre Dame, Исаакиевский, Казанский, Успенский... Но в цикле соборов еще чувствуется акмеистическая эстетика — но не сноба, а строителя. По-видимому, только после Октября Мандельштам действительно утвердился в религии, и именно-право-

славной. Отец Александр Шмеман, проникательный истолкователь поэзии Ахматовой, говорил, что эти литургические стихи Мандельштама глубже, лучше всего раскрывают таинство:

И Евхаристия как вечный полдень длится
 Все причащаются, играют и поют,
 И на виду у всех божественный сосуд
 Неисчерпаемым веселием струится.

Кое-кого смущает глагол "*играют*". Но все наше православное, созданное византийцами богослужение, как и всякое искусство, вдохновлено *игрой* — *пением Ангелов и псалмами Давида*.

Мандельштам — великий христианский поэт. Иудаизму он чужд. Еще в детстве дед напугал его каким-то ритуальным жестом. Есть у него "ночь иудейская": "Мы в драгоценный лен Субботу пеленали". Но это стихотворение посвящено А.В. Карташеву, обер-прокурору Св. Синода при Керенском, историку Церкви, прославителю св. Руси.

Ничего героического в Осипе Эмильевиче не было. Но осенью 1933 г. он, вопреки своей робости, написал эпиграмму на Сталина: "Его толстые пальцы, как черви жирны... Тараканы смеются усища...":

Что ни казнь у него, — то малина
 И широкая грудь осетина.

Русская литература позорно молчала, а негероический Мандельштам не смолчал. Его арестовали, сослали в Воронеж. Чека играло с ним, как кошка с мышкой. Он отчаивался, пытался покончить с собой. Радостное богообщение кончилось. Началась замедленная крестная мука...

Еще до травли, но уже предчувствуя гибель, Мандельштам написал эти скорбные стихи. Размер — длинные, тяжело катящиеся анапесты (но в первом стихе один слог опущен):

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и
 дыма,
 За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.
 Так вода в новгородских колодцах должна быть черна
 и сладима,

Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавни-
ками звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье —
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Лишь бы только любили меня эти древние плахи!
Как нацелясь на смерть городки зашибают в саду,
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесу топорщице найду.

Все стихотворение полностью не разгадывается (см. мой подробный анализ в "Нов. Журн.", 103, 1971). Но оно ощутимо всеми пятью чувствами, а не только зрением и слухом. Осязательна липкая смола, а дым имеет привкус и, конечно, запах... Какие это вещи, и зловещие стихи, но и упоительно-блаженные — поэта, принимающего и в свою поэзию и в свою жизнь крестную муку.

В этом стихотворении есть *празднование великой беды*, своей собственной и общерусской. Этот скорбный гимн с ликующими интонациями есть вольное подготвление Мандельштама к своей Голгофе.

В поэзию Мандельштама вошла-влилась вся православная Византия, усвоенная Русью-Россией: пасхальные и молебственные песнопения, каноны, акафисты, "столетних панихид блуждающий призрак", вечный полдень Евхаристии.

Праздничны и многие прощальные стихи Мандельштама:

Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилою
Без руля и крыла совладать?

Или:

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски
Лучше сердце мое расколите
Вы на синего звона куски.

Какой у Мандельштама высокий, чистый голос — даже в агонии последних лет!

Осип Мандельштам — еврей, но это существенно, скажем, в седьмых. Он стал христианином в протестантизме, но нашел себя в православии. Заметим, гениальный византийский гимнолог Роман Сладкопеев тоже был евреем и сложил этот Рождественский кондак: "Дева днесь Пресущественного рождает".

Европейцев да и американцев, можно различать по трем основным духовным типам: иудея, эллина, римлянина. При этом расовые признаки здесь мало что значат. Розанов евреев бранил (правда, и тянулся к ним). Но Марина Цветаева верно подметила: духовно он был иудеем. То же самое можно сказать о Достоевском: оба страстно *горячились* в своей вере. Г.П. Федотов утверждал, что С.Л. Франк в своей философии — гармонический эллин, хотя сам и походил на ветхозаветного пророка, да и на раввина.. А Мандельштам, вопреки своему происхождению, конечно, эллин. "Здесь должен прозвучать лишь эллинский язык", — провозгласил он в своих стихах о Евхаристии. Близка ему и античная Греция: "Бессонница, Гомер, тугие паруса...."

Мы знаем, какое было при Анне Иоанновне немецкое засилье. А при Ленине, да и позднее, было на советских верхах другое так сказать засилье — еврейское. Но будем всегда помнить — эсерка Каплан ранила Ленина, юный Леонид Канегиссер убил Урицкого, Мандельштам написал сатиру на Сталина. Жертвенные герои и праведный поэт.

Многое еще не понято, не раскрыто у Мандельштама. Даже проницательнейшая Надежда Яковлевна не все выяснила. В предпоследний год своей жизни, он что-то еще, не самое ли главное, угадывал —

Что счастливое небохранилище —
Раздвижной и пожизненный дом.

Не значит ли это, что небо может вместить землю или же земля вместить небо.

Велемир Хлебников. Алексей Крученых. Футуристы.

Хотя у итальянских и русских футуристов немного общего, их объединяет резко-отрицательное и зачастую издевательское

отношение к прошлому. В декабре 1912 г. в Москве был издан литературный манифест кубофутуристов "*Пощечина обществу вкусу*". Подписались: Давид Бурлюк, Александр (позднее — Алексей) Крученых, Виктор Хлебников (назвавшийся Велемиром) и совсем юный Владимир Маяковский. Кубофутуристы предлагали сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности. Провозглашалась "непреодолимая ненависть к современному русскому языку". Кубофутуристы обещали: "В нас уже трепещут Зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова". Многие нелепо, но без этого мальчишеского задора нет движения в литературе. Вспомним хотя бы немецкий "Sturm und Drang".

Велемир Хлебников (1885-1922) и *Алексей Крученых (1886-1968)* создали особый — заумный язык. Вот образец у Крученых:

дыр був шыл
убещур
скум
вы со бу
р л эз

"Помада"

Здесь — ставка на дикость, на те русские "щи", которые так ненавидел *нежный* италофил Батюшков. А великий Державин шипящие любил. Заметим: русский человек при всем желании не может произнести "ы" после "щ", ибо этот звук всегда мягкий. Поэтому здесь слышится "щил", а не "щыл". Крученых нашел у Пушкина тысячи *сдвигов*: так он называл нарушение смысла звуком. В пушкинском стихе "И к дальним берегам" Крученых слышит икание: "ик!" А вот в своей собственной зауми придиричивый Крученых не заметил нелепости, которую, несомненно, и сам не мог бы произнести, разве что после длинной паузы — "щ...ыл".

Заумь — праформа поэзии, утверждал Крученых, и здесь он совпадает с известным исследователем и истолкователем искусства Нортропом Фрай (Frye), который в книге "*Анатомия критики*" пишет, что поэзия укоренена в бормотании (babble) — и еще во времена доисторические. Заумь бытовала и в регулярных

языковых подвалах — это междометия, и ни один словарь не может учесть их многообразия. Но, как заметил сам Крученых, нельзя объясняться одними заумными словами, как нельзя питаться только перцем.

Была и мистическая заумь. Это — глосолалия апостолов в Пятидесятницу. "Говорили языками" наши хлысты и американские шейкеры (трясуны). Они верили, что их устами глаголет Св. Дух. Далеко Велемиру Хлебникову до Кондратия Селиванова — бога и царя. "Небесная лазурь изливалась из его очей... Бывало, скажет: — "Братушки — *кого* ведете в узах? — И у конвойных солдат опускались ружья..."

В начале нашего столетия заумные стихи слагали немецкие поэты Пауль Шеербарт и более известный Христиан Моргенштернц, друг Андрея Белого. Через несколько лет после русских заумников, в Цюрихе в 1916 г., появились близкие им дадаисты (Тристан Цара, Ганс Арп). Может быть, этот иррациональный язык — бессознательная реакция на технический и бюрократический рационализм нашей цивилизации.

Хлебников в меньшей степени экспериментатор, чем другие. Он сложнее, загадочнее. Но к ужасу некоторых авангардистов решусь сказать: около 80% его стихотворства — нуднейшая графомания идиота. Когда же кончится это чтение, думал я, одолевая три тома его стихов (в мюнхенском издании Финка). Зато и удач у Хлебникова больше, чем у рассудочного заумника Крученых.

Хлебникову несомненно удалось его "*заклятие смехом*", где он нанизывает многочисленные производные; его "*смехачи*" вошли в русский язык. Такого рода нанизывание находим и в "*Мертвых душах*" (Гоголь был одним из любимейших писателей Хлебникова).

"Они голубой тихославль, они голубой окопад. / Они в никуда улетавль, их крылья шумят невпопад..." Кто эти они? Поэты, паломники, ангелы, сумасшедшие, птицы? Уточнять не стоит. И это не заумь. Тихославль выдуман по аналогии с Ярославлем и ассоциируется с церковным гимном "Свете тихий святая славы". Не то светлый Китеж, вознесшийся с озерного дна, не то Новый Иерусалим, спускающийся с небес, этот райский град манит, восхищает. Но сразу же за этими волшебными сти-

хами следует утомительный список неологизмов. Гимнология сменяется технологией. Хлебников, может быть и случайно, одарил поэзию светлым градом, а затем занялся то ли лабораторными опытами, то ли впал в идиотизм ("*Зангези*").

Осип Манделштам будто бы сказал в петербургском кабаке "Бродячая Собака": Не могу говорить, когда в соседней комнате молчит Хлебников!" Было у Манделштама особое чутье, был слух и глаз ко всему сущему, к тому, что греки называют *онтос*.

Хлебникова тянуло к праистории земли и человека. Его привлекало первичное, первобытное — каменные бабы в степях, монгольские шаманы, персидские дервиши, все азийское: "О, Азия, тобой себя я мучу..." В одной из своих наиболее понятных поэм он заявляет: "Ах, мусульмане те же русские, / И русским может быть Ислам." Или:

Казак сдувал с меча пылинку,
На лезвие меча дыша,
И на убогую былинку
Молилась Индии душа.

Кроме тяги к древним тайнам и укорененному в прошлом Востоку, была у Хлебникова тяга к неизвестному, загадочному будущему. Он ведь — футурист, на свой лад "*будетлянин*", хотя вообще не вмещается ни в какие *измы*. Он бредил революцией, но не политической, а другой, той, которая одолеет смерть. И о том же мечтал загадочный Н. Федоров, хотевший воскресения мертвых. Хлебников смутно вещал:

Это у смерти утесов
Прибой человечества,
У великороссов
Нет больше отечества.

Хлебников, скорее, анархист. Его вдохновляла Свобода-Неувяда, в будущем ему мерещился богатырь-могатырь, который все может.

У Хлебникова немало срывов даже в пошлятину, но встречаются и странные, ошеломляющие — откровения: "Целуй врага, пока он не исчезнет" (в поэме "*Ладомир*"). Иногда недопо-

нятый, Хлебников договаривается до самой простой простоты. Он свободный странник:

Мне много ль надо? Коврига хлеба
И капля молока,
Да это небо,
Да эти облака.

Хлебников претендовал на звание Председателя Земного Шара. Но был и скромн.

В своем большинстве футуристы разных оттенков и близкие им имажинисты приняли и даже приветствовали октябрьскую революцию. Им казалось, что коммунисты освободят от всех видов рабства. На первых порах, при покровительстве Луначарского и некотором сочувствии Троцкого, футуристы жили иллюзиями, но скоро разочаровались. Власти стали ими пренебрегать. Хлебников голодал, рано умер; Крученых дожил до глубокой старости, но в нищете; поэт и критик Бенедикт Лившиц исчез в подвалах Чека. Наследники футуристов в 30-х гг. обереуты Даниил Хармс и Александр Введенский погибли в 40-х годах, не успев полностью развернуться. Все еще пишет в СССР одиночествующий, непонятный Г. Айги — не последний ли могикиан зауми.

Проф. В.Ф. Марков много сделал для истории футуризма, а также и имажинизма. Он издал два "кирпича" — *"Поэмы Хлебникова"* и *"Историю футуризма"*, а также два тома об имажинистах (на англ. языке). К сожалению, он не показал эти литературные течения на историческом фоне, и уделил мало внимания биографиям (следуя, вероятно, некоторым американским модам в литературоведении). Судя по одной публичной лекции, на которой я присутствовал, проницательный французский литературовед, проф. М. Окутюрье находит у футуристов нечто праздничное, карнавальное; вероятно, он об этом напишет.

Футуристы повлияли на многих поэтов, даже на таких, казалось бы далеких, как "акмеисты" Кузмин и Мандельштам.

Футуризм был, несомненно, нужен. Дерзания футуристов всколыхнули русскую поэзию. Но бурлили они на поверхности, не затрагивая глубин, не подымаясь ввысь. Они были словесно изобретательны, но духовно скудны.

Несколько попутных замечаний. Значительной фигурой был Николай Иванович Кульбин (1868-1917), врач Генерального Штаба, художник, приятель многих футуристов. Замечательны его статьи в сборнике "*Студия импрессионистов*" (1910 г.). "Совершенная гармония, — писал он, — нирвана, к ней стремится усталое Я... Совершенная гармония — смерть. Но в искусстве нужно и то, и другое...". Шекспир для него — "дивная игра диссонанса с гармонией". Здесь — апология противоречивого барочного искусства, но Кульбин этого не осознавал. Не знаю, насколько Кульбин был оригинален, но никто из футуристов, включая склонного к теориям Бенедикта Лившица, не достигал такого широкого универсального уровня, как Кульбин.

Проф. В.Ф. Марков верно заметил: "Большинство футуристов как черт ладана боялись метафизики". В этом их ограниченность. Добавлю: зато они и не завивались в пустоту с христами, похожими на антихристов, или с несуществующими Прекрасными Дамами.

Но было среди футуристов и исключение, на которое указывает Марков: это *Россиянский* (*Лев Зак*, единоутробный брат великого философа Семена Франка). Он оказался в эмиграции, писал картины, жил в Париже. В стихах он часто обходился без рифм, но многие слова вплетал в звукопись. Есть углубленная метафизика в некоторых поздних стихах Россиянского, написанных уже в эмиграции:

Дай осла
Моей слабости
И слову моему
Овса в яслях.
(*"Кони и дни"*)

Или:

Ты зачал человека
В утробе неба
И объемы дома твоего
Мудрое утро
Играющее
На краю рая.

Владислав Ходасевич (1886-1939)

Жив Бог! Умен, а не заумен...

Этот полемический стих Ходасевича, по-видимому, направлен против футуристов-заумников (Хлебникова, Крученных), а, может быть, и против символистов-мистиков. Замечу: это заявление Ходасевича едва ли выдерживает богословскую критику. Бог умен, скажем, в "Сумме" Фомы Аквинского, но заумен или сверхумен для мистического Майстера Экхардта. Вообще, Ходасевич лучше бы о Боге не упоминал. Он явно атеист, спускался в какую-то кромешную тьму, где слагал мрачные стихи: есть сатанизм в его послании к берлинской Марихен...

В своей тьме Ходасевич жестоко иронизировал, и не только над пошлостью, но чуть ли не над всем в мире. Но он не знал отчаяния Георгия Иванова, тоже погружавшегося во мрак. Отчаявшиеся могут уверовать, ирония беспросветнее. И еще: даже в самой меткой и едкой иронии есть некоторое самодовольство скептика-умника!

Ходасевич стремился к той "прекрасной ясности", которую еще до него насаждали Кузмин и молодые акмеисты 1910-х годов. При этом он хорошо разъяснил, что Пушкин подразумевал под глуповатостью: "А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата", т.е. не рассудочна, но все же разумна.

Ходасевич был умен, а не рассудочен, в поэзии ему не хватало стихийности. Сам он говорил о своей одержимости музыкой:

И музыка, музыка, музыка
Врывается в пенье мое...

Но здесь я нахожу одну декларацию, а не самую музыку, в которой жил-пел Блок.

Ходасевич достиг в стихотворстве высшего мастерства. Умел он и лирически бормотать. Хотя бы вот в этих стихах есть поэтическая глуповатость, а полета все-таки нет:

Перешагни, перескачи,
Перелети, пере- что хочешь
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...
Сам затерял — теперь ищи...

Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенснэ или ключи.

Адамович назвал его бескрылым. Это сказано было бездоказательно, но так ощущали и многие поэты, восхищавшиеся Ходасевичем. Адамович, пусть и в шутку, говаривал: "То-то был бы поэт, если бы можно было совместить в одном лице классическую сдержанность Ходасевича и романтическую (а я сказал бы — барочную) несдержанность Цветаевой".

Ходасевич написал замечательную книгу о Державине, где прекрасно использовал еще более замечательные записки самого Гаврилы Романыча.

Державин — вершина русского барокко, поэт резких контрастов ("Где стол был яств, там гроб стоит"), но и великий жизнелюб. Есть величие в его риторике, совмещающей с грубостью и какофонией:

И се уж кожа, зрю, перната
Вкруг стан обтягивает мой.

Это "безобразие" должно было бы Ходасевичу не нравиться, но что-то в Державине его привлекало. Ходасевич не замечал, что этот наш великолепный "варвар" и певец Фелицы сродни ненавистному ему советскому барду Маяковскому, воспевавшему Ленина.

Ходасевич — пушкинист, автор академической книги "*Поэтическое хозяйство Пушкина*", а также язвительнейший критик. Запоминается его статья 30-х гг. (в "*Возрождении*") "22", о двадцати двух "несчастьях", т.е. о неудачных, по его мнению, сборниках стихов тогдашних молодых эмигрантских поэтов. В те же годы нашумела полемика Ходасевича с Адамовичем.

Русским поэтам-парижанам досаждали придирки и наставления Ходасевича, который "выпестовал" только одного поэта — Владимира Смоленского. В Париже больше внимали Адамовичу, утверждавшему т.н. *парижскую ноту*.

Ходасевич, включаясь в русскую традицию, жестоко бичевал пошлость, но были у него и светлые, добрые *стихи*. Глубоко трогательно (безо всякой сентиментальности) его стихотворение "*Обезьяна*" (1919 г.) Ее водил по улицам нищий серб. Ходасевич подал ей воды напиться, и она —

Мне черную, мозолистую руку,
Еще прохладную от влаги, протянула

И видит Бог, никто в мои глаза
Не заглянул так мудро и глубоко,
Воистину — до дна души моей.

Но эти белые стихи можно было бы пересказать и прозой. Трогательно и вместе с тем торжественно его стихотворение, посвященное Елене Кузиной. Он так обращается к своей тульской кормилице:

И вот, Россия, "громкая держава",
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя,
В том честном подвиге, в том счастье песнопений,
Которому служу я в каждый миг,
Учитель мой — твой чудотворный гений,
И поприще — волшебный твой язык.

Радостно читать эти стихи, особенно в наше время, когда многие писатели третьей эмиграции проклинали Россию — советскую, святую, несвятую. Это стихотворение когда-нибудь будет выбито на памятнике Владиславу Ходасевичу.

Ходасевич в лирике не любовник. Но есть одно замечательное стихотворение, пленяющее целомудренной простотой. В нем всего только восемь строк и три раза повторяется лейтмотив — "Мне почему-то припомнишься ты...". И в последнем стихе — "Или на небе — мне вспомнишься ты".

Не следует упрекать Ходасевича за консерватизм его поэтики. Он ведь довольствовался пятью силлаботоническими размерами, введенными у нас Тредьяковским и Ломоносовым (но, как мы видели, иногда писал без рифм). Литературный консерватизм не всегда мешает творчеству. Так, Толстой, через голову романтиков, был верен Жан-Жаку Руссо, а Ходасевич — Пушкину.

Пусть Ходасевич прохладен, "слишком" умен, хотя и не рассудочен, консервативен, зол, — он, несомненно, большой поэт. Его апогей — в стихотворении "*Перед зеркалом*" (1924 г.).

Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желтосерого, полуседого
И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, —
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, зябу и страх?

И в последней строфе — приговор к одиночному заключению:

Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла.

Есть здесь упоение, обращенная к себе злость. Читателя пронизывает ток высокого лирического напряжения, по которому и узнаются если не бессмертные, то вне-смертные стихи.

Юрий Иваск

О ЛИРИКЕ МАКСИМА РЫЛЬСКОГО

В 1984 г. в ознаменование двадцатилетия со дня смерти поэта Максима Рыльского в Киеве приступили к изданию двадцатитомника его произведений, большая (или, по крайней мере, значительная) часть которых в течение пятидесяти лет пребывала под запретом. Что знает о Рыльском русский любитель поэзии?

Думаю, очень мало. Хотя в свое время в серии "Библиотеки поэта" были изданы стихи Рыльского в русском переводе, а еще раньше появлялись отдельные небольшие сборники (отчасти в авторизованных переводах). Критерием при их подборке, как можно догадаться, служила не художественность, а преданность делу партии. Есть в математике прием "доказательства от противного", ну а здесь была "подборка от противного".

В этой небольшой статье я попробую ознакомить русского читателя с теми сторонами творчества Максима Рыльского, о которых умалчивает советское литературоведение.

Максим Рыльский родился в семье украинизированного польского помещика, женатого на украинской крестьянке. Тремя славянскими языками — польским, украинским и русским — будущий поэт владел уже с детства. Киевская гимназия дала ему хорошее знание французского. Языки впоследствии пригодились Рыльскому в его переводческой деятельности (кстати, замечу, что для меня лично перевод Рыльским "Орлеанской Девственницы" Вольтера явился живым доказательством того, что украинский язык достоин занять место в семье европейских языков, как равный среди равных).

Леся Украинка печаталась с девяти лет. Максим Рыльский в пятнадцать лет издал свой первый сборник стихов "На белых островах" (1910 г.).

Это было время, когда, после реформ 1905 г., украинская литература могла развиваться более или менее свободно. Возникли новые веяния. На позиции сторонников утилитарного подхода к искусству, с двадцатилетним опозданием повторявших зады русских народников, повели наступление украинские модернисты, ориентировавшиеся на Европу сторонники чистого искусства. Модернисты группировались вокруг журнала "Українська хата". Среди них был и молодой Максим Рыльский.

Первый художественно полноценный сборник стихов Рыльского "Под осенними звездами" вышел в 1918 г. Красивое название, как признался сам поэт, он "одолжил" у Кнута Гамсуна (пьеса "Под осенней звездой")

Это — поэзия едва уловимых настроений, полутонов, нюансов. С Гамсуном роднит Рыльского и близость к природе, слияние "с душою земли". Стихи давали основание говорить об импрессионизме, отчасти, о символизме молодого поэта. Но уже и в этом сборнике выступили кое-где черты прозрачно-холодной парнасской лирики.

Вот два стихотворения из книги "Под осенними звездами" в моем переводе на русский язык.

Старым мельником вижу себя я во сне.

Вечеру затихают колеса,

Я не сплю. Прозвенит запоздалый чирок;

В лунном свете — летучие мыши.

Что-то крысы на мельнице громко грызут,

Капли падают под колеса,

Щука где-то плеснет, и сонный аир

Успокоиться долго не может.

Я телегу далекую слышу в полях

Ну кому и зачем теперь ехать?

Вот упала звезда, рассыпая дугой

По широкому темному небу.

И летит вся земля, как телега в полях,

К некой цели, а может, — бесцельно:

Дальний город, и мельница, звонкий чирок,

И колеса, и крысы, и люди.

Любопытна метаморфоза, происшедшая с последней строфой в последних изданиях. Поскольку цель, о которой должен мечтать советский поэт — построение коммунистического общества в мировом масштабе, а без цели никому — ни земле, ни телеге — блуждать не следует, вторую строку пришлось переделывать. Вышло:

К некоей цели в просторе безбрежном...

Второе стихотворение из того же сборника:

Красное вино

Шатер дуоов прозрачно-желтый
Стоит в сияньи золотом.
Пусть счастья, друг, и не нашел ты,
К чему тужить теперь о том?

Взгляни, кипит в хрустальной чаше
Хмельное красное вино.
Истлеет будущее наше,
Как все, что минуло давно.

Все то, что явью нам казалось
Ничтожный сон, напрасный дым.
А то, что снилось и мечталось
Явилось буднично-простым.

Плыви по озеру покоя,
Не вспоминая о былом.
Все, пережитое тобою,
Лишь след, оставленный веслом.

Уходит лето. Гаснут дали.
Но не печалься, все равно
Кипит и пенится в бокале
Хмельное красное вино.

В двадцатые годы на Украине (так же, впрочем, как и в России) появились, как грибы после дождя, всевозможные литературные объединения. Каждое из них утверждало, что только оно ведет литературу к победе коммунизма и мировой революции.

Вне объединений было содружество поэтов, вошедшее в историю украинской литературы под именем "киевских неоклассиков": Микола Зеров (по-русски он Зеро́в), Максим Рыльский, Павло Филипович, Михайло Драй-Хмара, Освальд Бургардт. Порядок имен роли не играет; трудно сказать, кто из них, как поэт, крупнее и значительнее, а кто — мельче и слабее. Их объединяло пассивное неприятие советской действительности и общность эстетического мировоззрения, основывавшегося на теоретических высказываниях и творческой практике французских парнасцев. Киевские неоклассики обладали широкой эрудицией, особенно выделявшейся на фоне тогдашнего общегосударственного невежества, и знанием языков. Здесь пальма первенства принадлежала, насколько мне известно, Драй-Хмаре. Все пятеро преподавали в высших и средних учебных заведениях Киева, занимались переводами. Члены содружества, за исключением Рыльского, писали литературоведческие работы. В 1915 г., когда О. Бургардт опубликовал свой первый труд о новых путях в стилистике, Рыльский — самый младший в группе неоклассиков — успел только лишь окончить гимназию.

Кумиром украинского студенчества в те годы был Сосюра, у партийных полуинтеллигентов кумиром был — Тычина, а многие культурные читатели европейского уровня предпочитали Зерова и Рыльского.

Творчество киевских неоклассиков соединяло лучшие традиции русских поэтов Серебряного века с эрудицией и формальной безукоризненностью парнасцев (прежде всего, Эредиа и Леконт де Лиля), нашедшей непревзойденное воплощение в "Триумфах". Их достойными последователями были Зеров и Рыльский. Вот стихотворение Рыльского из его книги "Тринадцатая весна":

Взметнулась занавеска на окне,
Румянцем ярким вспыхнув на мгновенье,
И ветерок в вечерней тишине
Вслед побежал за синей тенью.

Там, за окном, склонился над столом
Девичий тихий и лучистый профиль.
А с площади глядят на дом
Знакомцы наши — Фауст, Мефистофель.

В тени собора крадутся коты
 Беззвучными виденьями ночными,
 И филин круглоглазый с высоты
 Колдует тайно в темноте над ними.

Плащи в пыли, клинки старинных шпаг
 Затуплены; растеряны желанья...
 Но все ж глядят с надеждою в очах
 На занавески юное сиянье.

Классицизм Максима Рыльского заслуживает отдельного исследования. Ограничимся одним примером:

Плещут у влажного берега чистые, ясные воды,
 Словно пурпурного моря Гомером воспетое лоно.
 Наш Одиссей повествует, древние вспомнив походы,
 О неподвижных полярных снегах и дубравах Цейлона.

Может, живут и теперь лотофаги семьею счастливой?
 Страшные где-то, быть может, еще существуют циклопы?
 Может быть, звезды во тьме, отраженные гладью залива,
 Зевсовы очи, глядящие в очи Европы?

Советская действительность была для Рыльского и его литературных друзей чуждой и неприемлемой, отсюда — эскапизм, стремление убежать, уйти от этой действительности.

Крапивка на воде цветет, благоухая
 И миндалем и медом над прудом.
 Юдоль забыта, злая и глухая,
 Глаза следят за поплавком.

Тут ветерки, что с пылью хороводят,
 Тропинка узкая, густая рожь вокруг.
 Ведь так и годы пролетят, мой друг...
 Пускай проходят!

Ори, кривляйся сколько силы есть,
 Иди своими шумными путями,
 А я б хотел в тиши над поплавками
 Непроданной остаток жизни снести.

Но Рыльский не сумел прожить такую жизнь. Гонения на неоклассиков начались в 1925 г., когда, расправившись с Добровольческой армией, национальными движениями и крестьянскими восстаниями и преодолев разруху, сталинский ЦК перешел в наступление и на культурном фронте. Творчество киевских неоклассиков было объявлено "буржуазным" и целая свора борзописцев, стремящихся доказать свою верность партии, принялась строчить пасквили на Зерова и его литературных единомышленников.

В тридцатом году первым из группы арестовали Рыльского. Он отделился полугодовой отсидкой, но вышел на волю уже совершенно другим человеком. Можно только догадываться, какой ценой он купил свою свободу, решив плыть "по озеру покоя, не вспоминая о былом".

Бургардту, благодаря немецкому происхождению деда, удалось уехать за границу; Там он печатался под псевдонимом "Юрий Клен". Трое других — Зеров, Филипович, Драй-Хмара — погибли в северных лагерях.

А на Рыльского — после пресловутой "Песни о Сталине" — посыпались ордена и награды (две сталинских премии и одна ленинская). Однако, вплоть до смерти Сталина вся его жизнь была "стоянием над бездной": после очередной награды начиналась очередная травля.

Во время хрущовской оттепели Рыльский, надо отдать ему должное, поддержал молодых поэтов, рвавшихся из тенет соцреализма, а незадолго до смерти добился реабилитации Зерова.

Возникла парадоксальная ситуация: творчество многих репрессированных литераторов (среди них — трех крупных поэтов — Плужника, Зерова, Драй-Хмары) было "возвращено украинскому народу", а в то же время лучшие стихи орденоносного лауреата Рыльского оставались под запретом.

Только в позапрошлом году его ранняя лирика после полувекового пребывания под спудом дождалась, наконец, реабилитации. Почему теперь, а не двадцать или двадцать пять лет тому назад? Об этом знает только цензура Главлита. А, может быть, не знает и она.

И. Качуровский

ЕВГЕНИЙ ПОЛЯКОВ

ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОЕ

Соната, бестолочь, оса,
Надежда в дантовой чашобе,
Когда гляжу я исподлобья,
Благословляй мои глаза.

Когда взываю к тишине,
Утихомирь свою досаду
На то, что нет со мною сладу,
Что я рассудочен и вне.

Когда изверится земля,
Ты будь как майская погода,
Моя жена, моя свобода,
Живая рукопись моя!

И, забывая о былом,
О суете души и тела,
Я набросаю каравеллу
На скатерти карандашом.

ФЕНИКС

Что ж с того, что больше не приснится
Никому из утренних стрелков
Эта переменчивая птица
В озорном разрыве облаков?

Бражный луч по просеке прокрался
И сугробы к дню приговорил.
Шалый феникс черпает пространство
Ненасытной выпуклостью крыл.

Пощажён морозной высотой,
Он, казалось, всё предугадал —
Тетивы дрожание густое,
Лёт стрелы и горечь хвойных жал.

Но, в укор венчальному покою
Синева, молчащей за двоих,
Феникс плыл над грешною землёю
Чистым знаком чаяний земных.

Что такое рыцарский порыв?
Два шмеля над розою кружили,
А потом расстались, как чужие,
Тот цветок другому подарив.

Что владело розою? Изволь:
Мир волшебный воздуха и света,
Ножницы садовника и эта
Всепрощенья праздничная боль.

ВНУТРЕННИЙ СВЕТ ПОЭЗИИ

А. РАННИТА

Весьма немногим художникам удалось совершить культурное подвижничество. Не замкнуться в сфере родного этноса, оставаясь неведомыми как Западу, так и России, не раствориться в океане культур соседних, и чужих и родных одновременно, но рыцарски сохранить верность своему маленькому народу во всех смыслах и на всех уровнях, с уверенностью представляя его в сонмище европейских наций.

К этим немногим принадлежал поэт Алексис Раннит, как никто другой овеществивший самую идею звена: творчество его есть достояние национально-эстонское, самостоятельное балтийское духовное деяние; в то же время его вклад в русскую культуру уже заметен, причем двойко — как обилием переводов его стихов, так и собственными его эстетическими и культурно-историческими исследованиями на темы русской литературы и искусства. Глубоко и точно он писал как о западных поэтах, так и о проблемах модернистского искусства.

Вряд ли кто еще, рожденный в Прибалтике, столь естественно соотносился со всеми тремя мирами; гармонически лелеявший эти три духовные измерения в своей душе, подчинивший свою мысль и свою музу отражению и преобразению их, Алексис Раннит по праву обращается к нам от имени Эстонии, Балтики, России, Европы, человечества.

Эстонская поэзия родилась из песни. Едва ли не полмиллиона эстонских народных песен составляют одно из богатейших фольклорных сокровищ мира. К тому предрасполагал и сам язык — "ангельский", по слову Юрия Иваска, необычайно бога-

тый гласными (долгими и сверхдолгими) и плавными дифтонгами.

Не считая фольклора, эстонская поэзия XIX века практически не выходила из-под немецкого влияния; влияние это было романтическим — не в медитативно-эстетическом ключе иенских и гейдельбергских романтиков, а в действенно-социальном направлении "Молодой Германии" и Генриха Гейне. Вопрос национального самоопределения и даже освобождения занимал пробуждающиеся умы, и революционный пафос стихов (вряд ли хоть кого-нибудь из этой эпохи можно назвать поэтом в полном смысле слова профессиональным) был, надо полагать, подсказан также и влиянием русской радикальной разночинной литературы.

Новая эстонская поэзия открывается Юханом Лиивом (1864-1913), поэтом неожиданным и изобретательным, от социального и национального протеста перешедшим к исследованию человеческой души. Общественная направленность была сильна в поэзии Анны Хаавы (1864-1957), лирической в своей основе, и даже в многоплановом творчестве Марие Ундер (1883-1980).

Однако, на рубеже веков в эстонскую литературу начали проникать новые веяния — русский символизм и немецкий экспрессионизм, по преимуществу. Густав Суйтс (1883-1956) возглавил неосимволистское движение, в своей роли теоретика и "мэтра" походя на Вячеслава Иванова или Стефана Георге.

Экспрессионистские пристрастия объединяли членов группы "Сиуру", из которых очень скоро выдвинулись на первый план Хенрик Виснапуу (1890-1951), своими словесными экспериментами близкий Северянину и Бальмонту (с характерным для них обоим упором на звукопись) и Марие Ундер, чей первый сборник стихов (их можно сопоставить с поэзией Мирры Лохвицкой) эпатировал неподготовленных читателей.

Поэты, объединившиеся в группу "Арбуяд" ("Колдуны слова"), выдвигали требование поэзии интеллектуальной, форм отточенных и законченных и, по выражению их вдохновителя Хейти Тальвика (1907-1947), "подчинения утонченной строфе слепой ярости стихий". В поэзии самого Тальвика, замученного в советском концлагере, при всей удивительной языковой дисциплине,

есть немало от экспрессионистического видения. Его экзистенциальный драматизм отражает мучительную психологию "проклятого" поэта, вступившего в непримиримый конфликт с бытием. Многими чертами стихи Тальвика напоминают позднего Георгия Иванова с его мучительным самоанализом, безнадежностью и надломом.

В тридцатые годы к группе "Арбуяд" примкнули молодые поэты Уку Мазинг и Алексис Раннит. Уку Мазинг развился в религиозного поэта редкой силы; его гимны — непрерывный и страстный диалог с Богом, в наше время явление, нечастое в литературе. Он остался в Эстонии, занялся богословием и изредка публикуется. Иная судьба сложилась у Алексиса Раннита.

Перед окончанием войны Раннит покинул родину. На Западе его талант окреп и созрел, он выпустил восемь книжек стихов, от сборника к сборнику совершенствуя свое мастерство. Навероятно строгий к себе, он отдавал в печать только то, что отвечало его самым высоким требованиям.

Прежде, чем перейти к анализу поэзии Алексиса Раннита, приходится признать, что, не владея эстонским языком, невозможно судить о его поэзии с той мерой свободы и уверенности, которая необходима для литературной критики*.

Раннее творчество поэта доступно нам в переводах Игоря Северянина: "В оконном переплете" и "Via dolorosa". Северянин отнюдь не был одаренным переводчиком. Большинство его переводов с эстонского, не только Раннита, но и Марие Ундер и Виснапуу, равно как и ряда других авторов, включенных в изданную им по-русски антологию эстонской поэзии, носит печать небрежности и спешки. Кроме того, Северянин имел тенденцию придавать собственную, "северянинскую" орнаментальность лексике переводимых им поэтов.

* Переводы стихов А. Раннита на русский язык, выполненные поэтессой Лидией Алексеевой, Георгием Адамовичем, Юрием Иваском, Борисом Нарциссовым и Александром Радашкевичем были опубликованы в свое время в "Новом Журнале" (см. кн. 64, 68, 74, 78, 81, 84, 87, 102, 147, 153). В настоящее время подготовлен к печати сборник переводов стихов А. Раннита "Сухое сияние", куда вошли также переводы Василия Бетаки и Наталии Горбаневской, публиковавшиеся в журнале "Континент".

Однако, при всех оговорках, впечатление, возникающее от первых двух сборников стихов Раннита в русских переводах в основных чертах соответствует критической оценке современных ему литературоведов: перед нами поэт молодой и импрессионистический, в значительной мере пишущий еще в русле романтической традиции, стремящийся запечатлеть тонкие движения души и уделяющий большее внимание интонации, нежели организации стиха. Лирика молодого Раннита, хотя нередко и более сдержанная эмоционально, чем не лишенная риторики поэзия Суйтса или спонтанная экспрессия Ундер, тем не менее сосредоточена главным образом на личных переживаниях. Трудно сказать, насколько белый стих Северянина (удававшийся ему больше рифмованного) передает раскованность раннитовского оригинала в стихотворении "Саломее Нерис". Но если мы допустим достаточную меру переводческого такта, то уже здесь можно наблюдать исключительное внимание к оркестровке образа в его словесном выражении, использование неброских, но цепких ассоциаций, динамическую статику, характерную для творчества поэта в целом:

Есть ночи,
 когда месяц
 (опять этот месяц!)
 выползает
 из чернеющего
 болота небес
 и спускается
 на скрипучие
 береговые сосны.

Запечатленное здесь напоминает восточную миниатюру (не случаен позднейший интерес Раннита к китайской живописи и японской графике). Но возглас — "опять этот месяц!" (замечательная поэтическая деталь; сравним в аналогичном интонационном контексте у Ахматовой: "И этот воздух, воздух вешний") дает движение, обращая миниатюру в кадр.

Движение и покой — одна из антиномий, к разрешению и преодолению которых стремится в своем поэтическом творчестве А. Раннит.

Ранний период — период увлечения Литвой. Раннит до конца своих дней сохранил преданность литовской культуре, влюбленность в картины Чюрлениса, в поэзию Донелайтиса и Радаускаса.

И еще одно фундаментальное противостояние — взаимоотношение в духовном плане славянской стихии и германской дисциплины — не могло не сказаться на формировании его поэтического мироощущения.

“Расширение пространственного воображения, — напишет А. Раннит много позднее в автобиографической прозе, — всегда казалось мне славянской чертой, преследование же чистой линии — более западным деянием”. И — воспоминание о словах матери: “Помни, что мы — эстонцы, и принадлежим Западу”. Винсент Литч уделяет большое внимание этой “глубинно укорененной дихтомии” и именно из нее выводит основные принципы раннитовской эстетики. Но не случайно в стихотворении, навеянном письмом Николая Рериха, Раннит утверждает, как бы от имени Рериха, но подчеркнуто — и характеристически — в первом лице:

Я — брат народов двух в их разной доле

Так уже на этом этапе вырисовывается проблема дуализма. Первоначально культурно-психологический, этот дуализм приобретает со временем эстетический смысл — противостояние содержания и формы — и, наконец, онтологический — жизни и смерти, Эроса и Танатоса.

Все эти взывающие к преодолению темы определяют круг идей и образов, присущих поэтическому мироощущению Алексиса Раннита, ставя его в один ряд с такими поэтами-мыслителями, как Уоллес Стивенс и Поль Валери, считавшими, что подлинная поэзия есть, в первую очередь, поэзия интеллекта.

Уже в своем втором эстонском сборнике “Käesurve” (“Рукожатие”) Раннит решительно отходит от юношеского лирического импрессионизма, и с тех пор его поэзия, непрерывно совершенствуясь, сохраняет единый эстетический ключ.

В своем зрелом творчестве Раннит предстает поэтом созерцательным и медитативным, предъявляющим к себе формальные требования невероятной строгости. Для него процесс худо-

жественного созидания — это жесточайший выбор, концентрация — до безжалостности к себе — на образе и слове.

Неоднократно писалось не только критиками, но и самим поэтом, об его "одержимости формой", отчего он автоматически провозглашался модернистом *par excellence* в традиции Т.С. Элиота и Эзры Паунда. Утверждение это — далеко не вся истина. Точно также в оговорках и дополнительных разъяснениях нуждаются и такие, справедливо применяемые к Ранниту понятия, как "интеллектуализм", "классицизм", "парнасизм", "аполлонизм", "эстетизм".

Проблема здесь — в извечной контroversии формы и содержания, которая была для Раннита одним из аспектов должествующей быть преодоленной универсальной дихтомии, являющейся одной из составляющих всей культурной и духовной организации Запада.

Хотя явление Раннита есть во всех отношениях и по всем параметрам явление европейское, в своем стремлении к преодолению фаустовского разрыва поэт интуитивно чувствовал, по крайней мере возможность, разрешения проблемы в духе логики дао или упанишад.

Но было ли стремление? Раннит неоднократно утверждал, и в стихах и в эссеистике, примат формы над содержанием, как, например, в этой сжатой формуле, венчающей стихотворение "Кипр": "Содержание — частица от формы". Это и подобные суждения дали повод усматривать в нем внеэтического поклонника красоты и ее творца, полагающего основой основ "эстетизм как принцип". Но что такое форма? И может ли она существовать без содержания, то есть без наполненности мыслью и чувством? В эссе Раннита "К определению поэзии" мы читаем: "Форма и ритмическая напряженность всегда должны присутствовать в настоящей поэзии, а мысль и чувство — помнить грань формы". Значит, форма не отрицает содержания. Просто, в силу несовершенства нашего понимания, мы не можем на первых порах представить себе нечто, преодолевшее пресловутую антиномию. Таким преодолевшим кажется знакомая еще средневековым схоластикам, а в русской эстетике исследованная Вяч. Ивановым "*forma formans*" — "форма жиздущая", собственное содержание в себе несущая и в качестве энтеллехии неизменно

присутствующая в душе художника:

Влагу не дай мне пролить через край преисполненный, Муза!
 Полнит обильная Мысль Формы размеренной грань.

В заключение имеющего характер поэтического манифеста эссе "К определению поэзии" А. Раннит говорит: "В этой, возможно, окончательной своей перспективе, поэзия становится священной геометрией, и ее эпитет — "священная" — ставит перед нами вопрос: не равносильны ли акт стихосложения акту молитвотворчества? И может ли смысл стихотворения быть не средством общения, но причастия, хлебом и вином преодоления как содержания, так и формы?"

Итак, стремление к преодолению, трансценденсу неоспоримо, и поэзия — одно из средств его достижения. В постскрипуме к сборнику своих английских стихов "Скрипка господина Энгра" А. Раннит пишет: "Все поиски смысла являются качественно временными. Благодаря форме они живы, но форма переживает их, так, как *она вечна*". Слово "смысл" разумеется здесь в своем обыденном ("коммуникативном") значении, под формой же понимается нечто отнюдь не тривиальное, чья "вечность" может быть осмыслена лишь метафизически. Тем самым проблема переносится в измерение платоновой философии, самой аполлонической из всех философий*. Форма, следовательно, есть с одной стороны — творческая интеллекция, определяющая внутреннее движение души и тем самым жизнедеятельная динамика, а с другой — принадлежность недвижимого ноуменального "мира форм". Поэзия — посредствующее звено между этими ипостасями.

Именно в этом контексте становится глубинно очевидным стих из знаменитого стихотворения "Море":

РИТМ — предвечная основа смыслов и миров

Разрешением или преодолением этой принципиальной дихотомии определяются многочисленные черты раннитовской поэ-

* Виктор Террас в своем эстонском исследовании о творчестве А. Раннита справедливо причисляет его к неоплатонической традиции.

тики, в частности, сосуществование в одном стихотворении двух планов — эмпирического и метафизического, а также настойчивая оксиморонность, позволяющая осуществить трансцензус целого спектра дихтомий — движения и покоя, страсти и интеллекта, действия и созерцания.

Все эти компоненты таинственно и совершенно сочетаются, например, в стихотворении "Эстонский гравер Эдуард Вийральт" (мастер, которому Раннит многим обязан в своих эстетических проникновениях и которому он посвятил целые циклы стихов; искусство Вийральта дало толчок к появлению книги "Cantus firmus". Приведем три последние строфы в переводе Лидии Алексеевой:

Штрих — мягче линии простой и нежной
 плеча девичьего. И штрих — стрела.
 И белого песка извив прибрежный.
 И быстрый блеск далекого весла.

Удар бича. И тихое касанье.
 Блаженный штиль. И разъяренный шквал.
 Крик. Инока прилежного молчанье.
 Улыбка неба. Дьявольский оскал.

И времени земному непокорный
 дух Мастера — первоначальный штрих,
 вознесший пламя ледяное формы
 превыше чувств и помыслов людских.

Теми же требованиями трансцензуса диктуются и излюбленные образные лейтмотивы раннитовских стихотворений — "линия" или "строка" (наивозможное приближение к "идее" в платоническом ее понимании — не случайно "строка" — центральная фигура его едва ли не самого проникновенного "греческого" стихотворения, написанного по-английски), "кристалл" или "алмаз", "скала", "лед", "соль" и, наконец, "свет". В идеале поэтический акт — фаустовское "остановившееся мгновение", заветная мечта европейской души. Это миг, когда "времени не будет" (даже у глаголов мешаются временные признаки), равно как и пространства, когда страсть и интеллект, обретая экстатический покой и отождествляясь, "переходят свои границы":

Так долго пил мой взгляд и стих
 в молчаньи горечи прекрасной
 линейность узких рук твоих
 и гордый холод их окраски.
 Два расстоянья, две судьбы,
 как рифмой, сблизилась крылами
 и я о холоде забыл,
 не знаю, как явился пламень,
 что ограждает наш союз
 и не тускнея в стуже утра,
 рук наших радостную грусть
 сплетет беспamięтно и мудро

(пер. Лидии Алексеевой)

И, наконец, величайшее и воистину платоническое преодоление есть преодоление тленности в нетленность, когда Смертный Час — "Творец и Вечный Критик", "в порфир преобразив дух страсти бурной", скроет его от глаз формой: одев "суровой урной" наш "горячий прах".

Здесь преображение — благодатный созидательный исход и — окончательное обретение Формы, даже если само представление о форме в привычных понятиях лишается смысла:

Прошу мой прах на берегу морском
 похоронить — и пусть песком он станет,
 могилою — волны широкой холм,
 а крылья чаек — узкими цветами.
 Так высока над морем тишина.
 И так низка цена освобожденья,
 когда душа прозревшая сильна
 и плоть ей не нужна для зренья

(пер. Лидии Алексеевой)

Напряженный внутренний мистицизм поэзии Раннита, усиленный интеллектуализмом, отмечали многие критики. С другой стороны, как замечает Литч, несмотря на то, что многие стихотворения Раннита заканчиваются молитвой (вспомним: "Не равносильна ли акт стихосложения акту молитворчества?"), "Раннит

на самом деле не получает ответа от своего Бога. Для этого поэта Бог вне его досягаемости”.

Так ли это? И значит ли это, что Бога нет? Нам кажется, что в применении к поэтическому мироощущению Раннита в приведенной цитате содержится теологическое недоразумение. Бог, как известно, “не отвечал” и Экклезиасту и более чем своеобразно “ответил” праведному Иову. Дело здесь не в том, что Бог “вне досягаемости” поэта (а разве Он может быть вообще в пределах чьей-либо “досягаемости”?), но в том, что Он для него неопишем, а следовательно, речь идет о хорошо знакомом явлении религиозного сознания, ставшем психологической основой апофатического (“отрицательного”) богословия. Бог не только в громе бури, но и в тихом дуновении ветра. И Он — для тех, кто ведаёт о Нем — в молчании. Недаром Ранниту был близок апофатический мистик-поэт XVII века Ангел Силезский.

“Он предпочтет лучше промолчать, чем сказать что-нибудь неопределенное”, — говорит о Ранните-поэте Аста Уиллман. “Мысль изреченная есть ложь”, и не случайно Раннит говорит устами “делосского столпника”:

Ты, расторгнувший узы,
ускользающий вихрь,
раствори себя в узость
острых башен твоих.

Упади, как осанна,
в полоненную ширь,
слов ищи несказанность,
слово — мера души

(пер. Лидии Алексеевой)

“Несказанность слов” — основной принцип апофатики. Мысль о недопустимости “неопределенности” в высказываниях, а следовательно, о необходимости непрерывного поиска наиточнейших путей выражения, а с другой стороны — размышления о сакральном значении поэзии подводят нас к двум, во многих отношениях противоположным традициям, с которыми сопрягается творчество Раннита.

Классицистские симпатии играют заметную роль в литера-

турных интересах Раннита, что и естественно, принимая во внимание его "одержимость формой". В европейском наследии это Гёте веймарского периода, Гёльдерлин, Платен. С большими оговорками признавал он свое родство с французскими парнасцами, а в русских акмеистах наиболее ценил ту их стадию, где их поэзия уже выходила за рамки собственно акмеизма, обретая более или менее универсальный масштаб. Со всеми этими "аполлоническими" собратями Раннита сближает не только темперамент и эстетическое кредо, но и необычайно развитое чувство ответственности в выборе, сознание недопустимости злоупотребления свободой, грозящей, под напором дионисийской стихии, выродиться в душе художника в разрушительный и самодовлеющий хаос.

Не без доли иронии, но в то же время и серьезно Раннит называл однажды свою поэзию "иератической", в первую очередь, надо полагать, в смысле наполненности и самодостаточности ее составляющих. Не зная эстонского, невозможно судить об отношении Раннита к тому, что Хлебников называл "самовитым словом", но и переводы не оставляют сомнения в том, что план образа отличается у поэта исключительной выверенностью, полным отсутствием не только всего лишнего, но даже недостаточно существенного, в результате чего, ничуть не в ущерб сложности и многоплановости идейного фона, достигается та "прекрасная ясность", о которой мечтали акмеисты.

Заповедь Пушкина — "служенье Муз не терпит суеты" — как ни к кому другому, применима к Ранниту-художнику. В этом смысле он не только "робкий неофит", смиренный служитель Муз, но и сознающий свое достоинство опытный жрец-иерофант. Вот пример этой лишенной суеты "прекрасной ясности" из его поздних, англоязычных, к сожалению, столь немногочисленных стихотворений:

Мой тройственный ангел —
прощение,

дружба

и стих.

Нет ни земли очумевшей,
ни злобы.

Только серый янтарь
твоих глаз,
только серое небо
в самых высоких кронах
нашего малого
кладбища.

Только трепет ушедшей строки.

(пер. А. Радашкевича)

Мера внутренне обретенной и в этих стихах осуществленной гармонии может быть сопоставима в русской поэзии разве что со столь любимой Раннитом посмертной книгой Вячеслава Иванова "Свет Вечерний". Завершающая строка этого стихотворения возвращает нас к теме искусства и заставляет обратиться к пониманию поэзии Раннита как поэзии в первую очередь об искусстве и для искусства, что, по мнению некоторых, красноречиво свидетельствует о "парнасской" основе его творческого склада.

Теме поэзии, музыки, изобразительных искусств как таковых посвящена очень значительная часть раннитовского стихотворного наследия. И здесь можно найти некоторые сюжетные параллели с "Эмалями и Камеями" Теофиля Готье или "Трофеями" Ж.М. Эредиа. В отличие от Готье, Эредиа и других парнасцев, равно как и ранних акмеистов, в любом стихотворении Раннита, даже целиком посвященном описанию и переживанию предмета искусства, несмотря на точность деталей и "прекрасную ясность", непременно присутствует и иной, *метафизический план*, ибо подлинное искусство есть ни что иное, как наибольшее приближение к платоновскому миру идеальных форм.

Искусство — не слезы, не вопли,
не щедрость излишняя:

— мера

игры светотеней рельефа,
дорической ясности строй.
Спокойные сизые кубы,
во времени нас умудряя,
вне времени снова поют.

Бог в нем дышит — дыханье его горячо,
Словно лунное пламя течет,

И скользит по ладоням огнем серебра
Сокровенный творенья прах.

Где здесь веры начало? Искусства предел?

Уровни смысла, скрытые в финальных строках, ведут к сопереживанию, как вершине творческого самоотречения:

...Страшен путь к совершенству — страшнее в конце
вдруг доступнее ставшая цель.

Ты искал и достиг. Но победой горя,
в ней ты все — навсегда — потерял
(пер. Лидии Алексеевой)

В заключение хотелось бы сопоставить Марие Ундер и Алексиса Раннита — двух крупнейших эстонских поэтов. При незнании языка такое сопоставление может быть лишь самым общим, но нам представляется верной мысль Эмери Джорджа, что при всей едва ли не противоположности своих эстетических устремлений, эти два мастера дополняют друг друга. Существенно заметить, что они принадлежат к двум разным поколениям и уже по этим причинам столь несхожи их мироощущения и художественные судьбы.

Марие Ундер достигла еще в тридцатые годы всеобщей известности как ведущая фигура эстонской литературы. Поэт европейского класса, всесторонний и продуктивный, она — в особенности в годы оккупации Эстонии нацистами, потом большевиками — воспринималась соотечественниками как национальный символ. Сила народного признания была столь велика, что вынудила советскую власть опубликовать сборники ее стихов в Эстонии, несмотря на пребывание поэтессы в эмиграции.

Алексис Раннит начал обретать поэтическую силу лишь после войны, уже в эмиграции, когда его голос мало кем мог быть услышан на родине. В начале 60-х годов, когда был опубликован последний сборник стихов Марие Ундер, Алексис Раннит приближался к своему акмэ.

Поэзия Ундер, исполненная боли и страсти, даже в поздних, созерцательных стихах сохраняет присущий всей эстонской стихотворной традиции элемент романтической стихии, исконного земного дионисийства. Внутренняя патетичность, женственный зачин и женское страдание делают Марие Ундер трепещущей и живой душой Эстонии; ее Муза — Эвтерпа, Муза лирическая.

Стих Раннита, выверенный и предельно точно взвешенный, обращен к иератическим основам миропорядка. Аполлонически строгий и по-северному бесстрастный, устремляется он к бесконечному, хоть и недостижимому совершенству. Здесь традиция достигла интеллектуальной зрелости. Алексис Раннит — созерцательный и стоический дух Эстонии, и его Муза, по собственному признанию поэта, Муза торжественных песнопений, Полигимния:

Робко встаю пред тобою, Дева, Творящая Гимн

Внеся в эстонскую поэзию отчетливо парнасскую и классическую струю, Раннит обнаруживает истоки еще более изначальные, парадоксально единящие его северную родину с южной колыбелью цивилизации. Этим определяется тема Эстонии-Ионии.

Взаимоотношения Раннита с русской литературой в целом были непростые. Это неудивительно: исторические обстоятельства ответственны за то, что вряд ли можно найти крупного восточноевропейского художника — прибалтийского, украинского, польского — чувства которого к России и русской культуре не были бы иногда самой неожиданной смесью любви и ненависти.

Раннит был тонким и бережным знатоком как русской словесности, так и русского изобразительного искусства, более того, был предан им, как можно быть преданным только вещам глубоко прочувствованным, и они находили многогранное отражение как в его поэзии, так и в эссеистике. Он писал проникновенно и неповторимо о русских поэтах и художниках двадцатого века. И стихотворения его, обращенные к Вячеславу Иванову или Марине Цветаевой, естественно перекликаются со статьями о Пастернаке и Заболоцком, соотносясь по многим своим идеям с его заметками о русских художниках или с пространным и парадоксальным эссе "Новаторство и традиция", анализирующим

собрание произведений авангарда в коллекции Томаса Уитни.

Как всякий подлинный творец, Раннит был способен восхищаться достижениями человеческого духа вне зависимости от школ и категорий. Он ценил музыку слова у Бальмонта и Северянина (в оригинале, по отзывам критиков, его поэзия исключительно эфонична), преклонялся перед "барочным классицизмом" Вячеслава Иванова и его эстетическими идеями, хоть не всегда и не целиком разделяя их. Натура "аполлонийская", он умел отдать должное экспрессии Цветаевой и Бродского, необыкновенно высоко ценил раннего Мандельштама и позднюю Ахматову, ему были одинаково близки и понятны надломленная интимность Анненского, экзистенциальный бунт Георгия Иванова и холодно-трагедийная муза Зинаиды Гиппиус.

Раннит был одним из немногих, способных видеть высокую поэзию там, где ее, в силу воинствующего снобизма, ныне замечать не принято: в забытых сборниках Константина Эрберга и Бенедикта Лившица, в творчестве поэтов первой, второй и третьей эмиграций: Адамовича, Корвина-Пиотровского, Кленовского, Иваска, Моршена, Перелешина, Чиннова, Бродского, Бышева, Радашкевича.

Алексис Раннит был мостом между поколениями, лично знавшими Мережковского и Белинкова, Бунина и Солженицына, Шаршуна и Шемякина. Одинаково чутко писал он и об именах прославленных и о самых молодых, еще никому неизвестных поэтах и художниках.

Отныне и впредь Прибалтику в русской культуре будет наиболее выразительно представлять даже не Чюрленис (у которого к русским делам большого интереса не было) и тем более не Балтрушайтис (ныне нами воспринимаемый, как второстепенный русский символист), а художник слова, ставший нам близким и ни на секунду не отрехшийся от своей далекой родины — эстонец Алексис Раннит.

Валерий Блинов

ПИСЬМА И.Ф. РОМАНОВА (РЦЫ) К В.В. РОЗАНОВУ

ПУБЛИКАЦИЯ Ю. ИВАСКА

Иван Федорович Романов (род. 1858 г. — умер в Петербурге, 16 мая 1913 г., погребен на Смоленском кладбище) — публицист, сотрудник изданий "Русь", "Северные Известия", "Благовест", "Русская Беседа", "Мир Искусства", "Ежемесячные Сочинения", "Новое Время", "Россия"; СПб Ведомости", "Север" и других. Писал под псевдонимами "Гатчинский Отшельник", "Заточников, В.", "Заточников, Вл.", "Оборотень", "Р-ов", "И.Ф.", "Рцы", "Точников, Вл.", "Тпру...", "Фосфоритов, Александр".

Письма И.Ф. Романова Василию Васильевичу Розанову (1856-1919) ценны тем, что он, как и Розанов, мыслил не по шаблонам своей эпохи и, при всех противоречиях, иногда высказывал значительные мысли о русской литературе, о судьбах России, о христианстве. Интересен и его переход от славянофильства к западничеству. Существенно, что этот *"маленький Розанов"*, как его иногда называли, оказал некоторое влияние на *"большого Розанова"*.

В "Литературных воспоминаниях" П.П. Перцова (1868-1947) имеется упоминание о И.Ф. Романове-Рцы: "Журнал ["Мир Искусства"] печатал да печатал из номера в номер Левиафана Мережковского ["Толстой и Достоевский"] и своеобразно-свежие "озарения" тогда еще мало кем ценного Розанова и редкие, но всегда "с захватом", наброски столь странно похожего на него Рцы-Романова (маленького Розанова, как мы его звали) и кое-что другое".

Сам В.В. Розанов в "Уединенном" и "Опавших листьях" неоднократно упоминает о И.Ф. Романове-Рцы.

”Он — лицеист (Москва). Умница. Страсть — Рембрандт и Россини. Пишет. Но что-то ”не выходит”. Родился до книгопечатания и ”презирает жить в веке сем”. У него нет *praesens*, а всё *perfectum* и *plusquamperfectum*. *Futurum* яростно отвергает”.

”С ним (Перцовым) в контрасте Рцы, которого *переделав*, Бог плюнул с отвращением и отошел. И с тех пор Рцы всё бегаёт за Богом, всё томится по Боге, и говорит лучшие молитвы, какие знает мир (в себе, в душе). Увы: литературно это почти ни в чем не выразилось. Он писал только об еде, о Россини и иногда об отцах церкви. Теперь, бедный, умолк”.

”У Рцы в желудке — арии из ”Фигаро”, а в голове — великопостная Аллилуя. И эти две музыки сплетают его жизнь”.

В своем литературном завещании В.В. Розанов высказал пожелание, чтобы были опубликованы письма к нему Рцы — И.Ф. Романова.

11 сентября 1891 г. Киев

Милостивый Государь!

Простите, что не зная Вашего имени и отчества начинаю письмо таким сухим, формальным обращением. Простите и за то, что, не будучи известным Вам, решаюсь обратиться к Вам с настоящими строками. Быть может, в чувстве, которое побудило меня в настоящем случае взяться за перо, найдется и оправдание для этой моей решительности...

Дело вот в чем. Только сейчас, только вчера удалось мне прочесть мартовскую и апрельскую книжки ”Русского Вестника”, в которых я нашел замечательную статью под заглавием ”*Легенда о Великом Инквизиторе*”.

Я немного Вас читал. Более капитального Вашего соч. ”*О понимании*” я доселе еще не знаю, но и того немногого, что удалось мне прочитать, достаточно, чтобы возбудить во мне по отношению к Вам чувства... Как выразиться? Чувства глубочайшего уважения к такому светлomu, *независимому* уму, столь ревностно преданному истине? Этого мало. Сказать ли, что мысли Ваши находят в душе моей отклик живейшего сочувствия, еди-

номыслия? И этого мало. Если я выражусь, что некоторые страницы Ваши возбуждают во мне восторг — это будет истина, но не вся. Если есть какой смысл в словах: такой-то читатель *любит* такого-то писателя, то эти слова, кажется, и выразили бы то, что я затрудняюсь выразить.

Сказавши это, могу теперь прямо перейти к занимающему меня вопросу. "Легенда о Великом Инквизиторе" ("Р. Вестник", март, стр. 251): "Один человек, который жил между нами" и т.д., и стр. до конца. Это ужасные слова! Ужасная страница! Необходимо вычеркнуть, сжечь, истребить ее!

Вы это сделаете.

Непременно сделаете. Через месяц, через год, через десять лет, но Вы откажетесь от этих ужасных слов, этой ужасной страницы.

Или, может быть, я не понял? В третий и пятый и десятый раз перечитываю: неужели так? Это не сон, вопрос? Не обмолвка автора? Так и он, Достоевский, наш дорогой Достоевский, *праведник* сей, которого, может быть, когда-нибудь назовут равноапостольным за обращение стольких душ к Богу — так и он с *ним*, с "могучим и умным духом"??? !!!!!

Ведь вся штука в том, что В[еликий] Инк[визитор] не верует в Бога, как догадался, наконец, Алеша. А Вы догадались, что и Достоевский в Бога не верует и эту Вашу догадку вынесли на улицу.

Это кощунство показалось мне сперва забавным и у меня тотчас явилась мысль написать антикритику на Вашу критику. Вот что приблизительно я хотел выразить в этой статье.

1) Вот замечательный автор — В. Розанов. Выдающийся ум, большие познания, талант из ряда вон и что главное, он *любит* горячую искреннюю любовью Достоевского и что же? Таково извращение нашего болезненного просвещения, таково беспросветность нависшего над нашим сознанием тумана, что и он, В.Р., не понял, не смог понять, чудовищно, нелепо, возмутительно не понял Достоевского. Его, Достоевского, праведника сего, еще не причтенного к сподеем, г. Р. еще раз пригвоздил к позорному эшафоту безбожия, неверия.

2) Чудовищное, нелепое, возмутительное непонимание В. Розанова не ново. Другой, хотя и менее положительный критик,

но все-так очень талантливый — Андреевский¹ — впал в ту же ошибку в своем этюде о "Братьях Карамазовых" ("Р.В.", сейчас не помню которая книжка и за какой год), хотя свое нелепое суждение и не высказал с таким ужасающим цинизмом, как г. Розанов. "В своей критике религиозных основ Достоевский заходит так далеко, что невозможно даже разобрать, на чьей он, собственно, стороне, на стороне ли pro или contra" — таков смысл нелепого суждения Андреевского. Ранее этих двух нелепостей то же чудовищное непонимание высказывала цензура, вычеркивавшая у Достоевского все, что написано было у него pro, и пропускавшая написанное contra. "Господи! Да что с ними! — писал Достоевский, — они — заправские нигилисты. Против Бога — говори сколько хочешь, за Бога — не дают!"

Все это в порядке вещей. Неизбежно. Не может быть иначе. И тупая цензура, и талантливый Андреевский, и высокодаровитый В. Розанов суть дети одного духа, все они *западники* и западными глазами смотрят на русскую действительность и, конечно, ничего не видят. Несмотря на ум, знания, талант, они такие же жалкие слепцы, как тупая, невежественная, бездарная цензура.

3) В. Розанов *не понимает* Достоевского, ибо *невозможно* никакому гению в мире и десяткам гениям понять Достоевского, не понимая *Православия. Достоевский весь в православии.*

4) В. Розанов не понимает Православия. Доказательство: а) в выноске на стр. 220 говорится: "Попытки славянофилов (как Хомякова, Ю. Самарина) и выясняют особенность и идею Православия..." и т.д. Но этот пренебрежительный отзыв о славянофилах показывает, что г. Розанов не понимает Хомякова. Но разве можно понять Православие, не понимая Хомякова?²

5) Понять Православие можно *только* через Хомякова. Открытие Америки, изобретение пороха, книгопечатание — суть такие же заурядные фактики будничной действительности, как, например, растрата кассира, сход поезда с рельсов или благополучное разрешение Вюртембергской принцессы от бремени, *когда рядом с ними поставит величайшее мировое явление, имеемое Хомяковым.*

Что же сделал Хомяков?

Вот что он сделал. Если предположить как-нибудь, что ду-

ша человеческая живет пятью чувствами — ну так Хомяков открыл *шестое*.

Если предположить, что действительно возможно четырехмерное пространство, ну так вот Хомяков вводит нас туда, в это четырехмерное пространство.

Не могу больше ничего сказать. Хомякова нельзя *пересказать*. К нему можно только подойти, да и то разве миром, собором, по крупинке разжевать его.

Дерзновенное сближение, но я позволю себе сделать его для уяснения мысли. Св. Апостол Павел был на третьем небе, а рассказать ничего не мог, что там делается, на третьем небе. Как это понятно! Слов нет, образов, мыслей, чтобы передать виденное...

Тоже самое относительно Хомякова. Уж век и много веков мы живем в грубой оболочке папешских и протестантских понятий, и вдруг человек возводит нас на самую высоту беспримесной истины, вводит нас в самое святилище неизглаголанной красоты, именуемой Православием. Что мне, гугнивому, по уши погрязшему в мерзости папизма и протестантизма, рассказать? Видел красоту неизглаголанную, *знаю теперь*, что папизм есть диаметрально противоположное православию, то есть мерзость из мерзостей, самый ужаснейший вид безобразия, так сказать, во имя Божие, что держит он золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостью и нечистотою блудодействия, ну, словом, как дивно в "В. Инк". выяснено. Ведь Достоевский тоже был восхищен до Хомякова и видел неизглаголанную Красоту, но о Православии ничего не сказал, не мог сказать, не в силах был сказать (да и нет и не будет того гения, который бы в *одиночку* сказал); относительно мерзости, именуемой папизмом, сказали достаточно...

б) Нельзя подойти к истине, не отрекшись ранее от Бога?, не отдувшись не отплевавшись от сатаны. Но ложь, но сатана или "аггел" его, орудие действия его в мире (сейчас) и есть папизм.

Стать православным можно только тогда, когда возненавидишь всем сердцем и помышлением своим папизм, этот злейший вид безбожия, как *доказал* (логически) Хомяков и как образно (художественно) с необыкновенной силой показал Достоевский. В этом его величайшая заслуга; здесь весь смысл, все

значение "Великого Инквизитора", Плевков, данный сатане Достоевским, расчистил путь к Истине. Приступайте к ней и просветитесь!

7) Ничего этого, однако, к великому прискорбию, г. Р. не понимает и вот тому еще второе доказательство; г. Р. кощунственно приравнивает Церковь, столп и утверждение Истины, всей Истины, беспримесной Истины с ложью протестантизма и чудовищным инквизиторским безбожием Рима. Это, по его мнению, три сестры, из коих одна "по неисповедимым путям Промысла" избрала благую часть... г. Р. не стыдится повторять эту ходячую, затасканную, до безумия ложную, до кощунства нечестивую мыслишку... О, как далеко нам до наших простодушных предков, которые *чутьем* понимали смысл и значение папизма, а ведь у нас уже есть Хомяков, есть "Легенда" Достоевского, так что мы *сознательно* можем и должны усвоить правду, которую чутьем безошибочно нащупывали наши предки, а мы все еще пробавляемся гнусной побасенкой о трех сестрах... Лиза Тургенева, таракан и обезьяна — это три сестры! Ну, еще с тараканами (протестантство) человека не смешают, но ведь с обезьяной смешивают.

Ведь в том-то горе, что двести лет невежам твердят: отрежьте хвост, отсекайте это несчастное filioque и будут две сестры. Ну, чудесно! Отрежем, отседем и все-таки будет с одной стороны скверная обезьяна, тем сквернейшая, что она будет похожа на человека, а с другой стороны подлинный человек, венец человеческого творения — Лиза Тургенева, т.е. беспримесная Красота самой Истины — Православия. Кто не дорос до Хомякова, неужели тот не выяснил себе сказанного, хоть из "Легенды" Достоевского, где все ясно до последней степени?

Грустно, грустно, невыразимо грустно, до боли, до слез грустно!

Если даже такие люди, как г. Розанов, блуждают в потемках, то что сказать об остальных, которые не имеют ни ума, ни знаний, ни таланта, ни того воистину священного огня, которым так счастливо одарен этот высокодаровитый, глубоко симпатичный нам автор?

Этим я и думал закончить статью.

Потом раздумал.

А что как когда-нибудь и вправду Вы поймете Хомякова, поймете Православие, поймете Достоевского, возненавидите мерзость папизма, уразумете дивную "Легенду" — что тогда? Как взгляните сами Вы на эти ужасные слова Ваши, на ту ужасную страницу, на которую я указал в начале письма? За что такое тяжкое, такое незаслуженное оскорбление памяти писателя, которого мы так любили, перед которым мы благоговели? Мне представляется такое сравнение. Девушка. Ангел. Воплощение красоты, невинности. Вы любите, боготворите ее. И вдруг приходит Вам в голову чудовищная, нелепая мысль: "Она слишком хороша, чтобы быть невинной. Она блудница!" И эту мысль Вы высказываете ей в лицо, грубым, подлым словом бросаете упрек в чудовищном, нелепом подозрении!

Достоевский так глубоко понял безбожнейший, злейший вид безбожия — папизм. *Значит*, он сам папист, безбожник, он с "ним"... Ну договаривайте: *значит*, Достоевский убийца, ибо кто же лучше его разгадал убийцу?

Простите! Тысячу раз простите! Быть может, письмо это возбудит в Вас гнев, негодование, но Бог видит, что руку мою направляла только любовь к истине... С другой стороны, предвижу возможность и другого конца. Не скоро, не скоро, но когда-нибудь, может быть, Вы решитесь взяться за Достоевского и проштудировать его при свете *других* начал. Не "три сестры", но "папизм есть злейшее безбожие, вся, *вся* Истина в православии". Может быть, та же "Легенда" представится Вам тогда в ином свете и Вы почувствуете несправедливость, совершенную Вами по отношению к столь дорогому нам обоим писателю... Тогда, может быть, вместо гнева найдется в Вашей душе оправдание для меня и даже, может быть, одобрение, что я поступил именно так, как поступил, что вместо обстоятельной "антикритики" намарал Вам вот это бессвязное, скомканное письмо, в котором несравненно менее написано, чем сколько осталось невысказанного между строками.

Примите уверение в глубочайшем моем уважении,

Ив. Романов

сентября 11 дня 1891 г., Киев, Жилянская, 70. Иван Федорович Романов, пишуший иногда под псевд. *РЦЫ*.

1. С.А. Андреевский (1847-1919) — поэт, критик, адвокат. Написал очерк о "Братьях Карамазовых"²⁰ (1889 г.), "Книгу о смерти".

2. А.С. Хомяков (1804-1860) — поэт, философ-славянофил. Позднее Рцы отчасти разочаровался в Хомякове. — Ю.И.

II

29-30 сентября 1895 г. Киев

Протокол. Ровно в 5 ч. по полудни 29-го сентября, когда некий Рцы, сидя в своей келии писал следующие строки: "...А удивляться решительно нечему, ибо вовсе не поразительная случайность, что два отдельные, самобытные полушария так искусно пригнаны друг к другу. Дело в том, что г. Розанов разрезал бессознательно *один, цельный шар*, а теперь, склеивая половинки, удивляется, что они так сверхестественно хорошо пришились друг к другу, но зачем же было резать целое?" Он писал (для печати) заметку на великолепную (хотя, в основном ошибочную) главу XVII "Легенды", когда пришедший почтальон прервал его.

То было письмо В.В. Розанова.

Рцы встал и перекрестился, сотворив этим знамение невыговоренное моление, да не найдет он в названном письме того, чего так мучительно боялся он найти: гнева, обиды за неприлично-грубый тон его письма, упрека в высокомерии, в лучшем случае: холодности, натянутости...

Таково чрезвычайное значение, которое придавал Рцы названному, так страстно ожидаемому письму... Такова жажда души его приобрести брата по духу столь населенной пустыни века сего...

Многоуважаемый Василий Васильевич,

Примите живейшую мою благодарность за то, что Вы *поняли* меня. Если бы не поняли, то не написали так, как написали. Значит, сердце мое не обмануло меня. Значит, я угадал Вас. Значит — позвольте этой надежде утвердиться в сердце моем — мы будем друзьями!

Мне кажется, что и я понял Вас (т.е. письмо Ваше), вот с Вас и начну, но нет, лучше уж с себя.

Умоляю Вас раз навсегда не принимать моих голословных, *догматических* суждений за высокомерие, за нравоучительство. О себе я мыслю очень скромно: некоторая доля здравого смысла, как у любого русского мужика, не умеющего по-французски говорить и сморкающегося пальцами (т.е. не извращенного наносными понятиями, у кого не выхолощен здравый смысл "цивилизацией") — ни больше, ни меньше. Значит, почти никакого таланта — также. Простой здравый смысл. Но — сей простой здравый смысл вознесен на Эйфелеву башню, он стоит на Хомякове. Отсюда страшное преимущество: даже самое феноменально-острое зрение не усмотрит того с земли, что видит даже близорукий, даже подслеповатый с такой высоты...

Cela dit¹, перехожу к Вам.

Знаете? Мне кажется, вот на каком пункте остановилось Ваше религиозное развитие: Вы стали рабом Веры, трусом Веры, *лукаво верующим*. Я отлично знаю это состояние. Когда после нук сомнения и мучимый жаждою веры, я обратился к нашей идиотской quasi-православной апологии, я в отчаянии пришел к заключению, что честно, *по совести* уверовать и *веровать нельзя*, а между тем веровать необходимо, непреодолимо хочется, нельзя не веровать, ибо только верою и можно залечить раны сердца... И я стал рабом Веры, трусом Веры, *лукаво верующим*... Припоминаю, как я входил в сделки со своею совестью, как незаметно и властно прививалась ко мне иезуитская мораль. — "Это грех!" — Ба! Да ведь Златоуст так говорит, а Василий мыслит на этот счет иначе... значит... не правда ли, индивидуальная свобода. Куда ни шло — согрешу! Отвратительное, унижительное состояние! Нет, воистину лучше прямодушное, открытое, *честное* безбожие...

Но вот явился случайно Хомяков и *высвободил* мою душу от страха, от лукавства, от иезуитства Веры... Вечная, признательная ему память!

"Истина удобоповратна" — о да, о да! В особенности, если искать ее под руководством таких дядек, как К.Н. Леонтьев. Я не все его читал, но дерзну высказать самоуверенное утверждение, что понимать его я понимаю досконально. *Огромный ум, но болезненно-извращенный*. На одной его брошюре, присланной мне приятелем, я сделал приблизительно такую надпись: он

обладает *почти* всюю истиной, но это маленькое ничтожное "*почти*" отравляет всё, что у него есть истинного. Вы обедаете, Вам подают великолепный суп — чудо гастрономического искусства, но ваш сосед по рассеянности чуточку сплюнул в вашу тарелку... Впрочем, самую малость.. Станете вы кушать суп?

К.Н. Леонтьев есть именно тип не свободной, но лукавой Веры. Он опаснее самых злобных атеистов, точно также как папизм бесконечно хуже безбожия Штраусов, Ренанов et cetera.

Что мы мокнем и разлагаемся — это совершенно верно, но разве Вы не видите, что Господь уже выступил на спасение своего достояния? Сколько предостерегающих знамений за последнее время! Наконец этот спасительный глад!... Не образуми нас голод², будет мор, трус, потоп, но прозрим же мы, наконец! Ведь не может быть иначе...

Что же вы молчите? — спрашиваете Вы. Знаю отлично свое ничтожество, но не стал бы молчать, если бы мог говорить; но не могу, не допускают! Первый мой публичный опыт был отправлен И.С. Аксакову, [он] не напечатал, но все-таки очень похвалил. Затем вскоре умер. Писал я у Гилярова³. Знаете? Никита Петр. Гиляров, что издавал 20 лет газету "Современные Известия"? Это почти двойник Хомякова, и во всяком случае второй по нем, его родной брат — колоссальное явление... Так вот, у него писал. Хвалил, даже до очевидного пристрастия, до явного заблуждения на счет моих сил. И тоже умер.

Пробовал Шарапов⁴ (славный малый и несомненный талант, хотя легкомыслен и поверхностен, как француз) "собрать собор" и тоже очень дорожил мною (впрочем, больше как бесплат[ным] сотрудником), но и основанное им "Русское Дело" лопнуло. *Более абсолютно писать негде* (об убогом "Благовесте" не стоит говорить), не пускают, не признают, считают (должно быть) за кретина, которого даже и ответом удостоить не стоит. Пошлешь — не вытерпишь иной раз — статью, знай наверняка — как в воду канула! Я уже привык к этому. Перестал, кажется, и возмущаться и только спрашиваю себя: величайший, гениальнейший, второй по Хомякове Гиляров хвалит тебя чрезмерно, но *все*, очевидно, считают за кретина — что же ты после этого? Ты — равнодействующая этих двух точек? И не могу найти ответа. Сколько лет держу перо в руках, но больше

для собственного услаждения; нахожусь в положении какого-то фукса⁵, или любителя литературы, в том смысле, как некогда говорили о студентах, не смогших одолеть университетского курса — "любитель просвещения"... Последний репортериска, строчащий в подкаретных газетах отчеты о пожарах, выше меня. Он *признан*, он служитель слова, а я — жалкий, ничтожный "любитель"...

Чего же, посудите сами, можно ждать от меня?

Затем, физически я совершенная руина. Окончив кандидатом прав в Катковском лицее в Москве университетский курс, я перебрался на службу в Киев. Прослужил недолго. Зачислился в помощники присяжн. поверен. (в каковом звании номинально числюсь и по днесь). Затем долго болел, да и по днесь, в сущности, только и делаю, что болею: то нервы, то печень, то то, то другое. Куда я годен? Доедаю доставшееся мне крохотное наследие и далее решительно не знаю, что будет... Может быть, в дворники придется поступить и лучше в дворники, чем на службу или опять обратиться к противной адвокатуре...

Затем цензура. Что можно сказать при существующей системе правительственного нигилизма, при господствующем в официалн[ых] сферах фаворитизме? Вот, присылаю Вам статейку о Толстом. Она была запрещена аки зловредная. Только особо счастливому случаю обязан я тем, что она спаслась от цензурного интердикта. Подумайте, о чем и как говорить при таком убийственном духоугашении? Только хрюкать с подлыми льстецами и возможно...

Вот я затеял издавице. Хочу выпустить серию маленьких книжечек, хочу открыть подписку. Послал уже и объявление в "Новое Время", но разве богомудрое начальство допустит? Первая тетрадка ("Листопад") уже печатается, но разве цензура не арестует? Обязательно арестует!

Такова моя печальная доля. Вот когда являются сомнения, уныние... Ах! Как дивно хорошо Вы высказались насчет *уныния*... Но это не трусость Веры, это несовершенство Веры, бесплодие Веры... И уже несть достоин Сын Твой нарещися... Постоянное желание встать и идти в дом Отца и постоянное бессилие двинуться с места...

Живу отшельнически, уединенно. Пять дней в неделю бо-

лею, два двигаюсь, "созерцаю", читаю, пишу...

Тако аз многогрешный.

Да! Мне уже 33 года стукнуло, а Вам? Наверное, не более? Не может же такой огонь гореть в старом сердце?.. А впрочем, почему нет...

30 сентября

Итак, не мне открывать "собор", а кому же? Да вот именно Вы, Василий Васильевич Розанов, Вы, дорогой, когда-нибудь и подойдете к Хомякову и кое-что объясните незнающим его. У Вас не только здравый смысл, но и талант, но и знания, но и огонь... Вы *должны* это сделать. Много дано, много и взыщется...

Будет. Не стану утомлять долее ни Вас, ни себя. Присылаю Вам "Полн. собр. своих соч." Ничего, кроме этих двух листков, в отдельности не существует. Остальное выброшено по газетам и всего более по редакционным корзинам, или каминам, или хуже того...

Если "Листопад" не будет сожжен цензурою — пришлю обязательно.

Как каллиграфия на сей раз? За прилежание во всяком случае пять баллов.

Душою Ваш Ив. Романов.

1. так сказав (фр.)

2. голод 1891 г.

3. Н.П. Гиляров-Платонов (1824-1887) — историк, близкий к славянофилам. Симпатизировал раскольникам, был сторонником восстановления патриаршества. Издавал газету "Современная Россия".

4. С.Ф. Шарапов (1855-1911) — писал по агрономическим вопросам, издавал журнал "Русский Труд", был близок к славянофилам.

5. фукс — студент, еще не ставший полноправным членом студенческой корпорации.

III

1 декабря 1891 г. Киев.

Многоуважаемый Василий Васильевич,

Вы, конечно, уже забыли о моем существовании и, может быть, в виду Вашего гробового молчания [я] напрасно решил напомнить о себе. Но я не мог превозмочь в себе желания переслать Вам полученный на днях из типографии сборничек моих публицистических грешков.

Простите, если сим деянием причиняю Вам досадную доuku.

Искренно Вас уважающий Ив. Романов

IV

Январь — 15 февраля 1892 г. Киев

“Обыкновенно ищут в сочинении книгу и удивляются, найдя в нем человека”.

(Паскаль)

Письмо Ваше, многоуважаемый и дорогой Василий Васильевич, так порадовавшее меня (я думал, что Вы уже совсем забыли о моем существовании) напомнило мне тот смешной французский фарс, где одно действующее лицо беспрестанно повторяет: “Как трудно узнать истину!”

Вот, например, Ваше правдивое мнение о моем “Листопаде”... Как трудно узнать истину! О, без сомнения осенившая Вас надежда, что когда-нибудь Ваш покорнейший слуга РЦЫ “выпишется”, есть такая же тщетная надежда, как и та, что Вы когда-нибудь *вчитаетесь* в его безобразные иероглифы. Вы, конечно, никогда не *захотите* вчитываться в них — к чему? — он никогда не *сможет* писать иначе, как клинообразными знаками. Что делать! *La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a ...*¹

Да и кроме того, как видно, политические вопросы Вас мало интересуют; есть даже основания думать, что они довольно

смутно сознаются Вами. Вы спрашиваете, например: "Какой смысл в "Генезисе"? Точно человек с Марса свалился! Только и можно ответить: "Аще кто не разумеет, пусть не разумеет". Или, например, вопрос: зачем эти скачки в сторону, кувыркания и пр.? Опять поясню иностранцу с Марса: "Цензура-с, батюшка. Правды у нас не терпят. Только и можно говорить *рабым языком*, надевши шутовской колпак". Я думаю, "Вестник Европы" заплатил бы по червонцу за строку тирады "Отвратительный полицейск. произвол и пр." (стр. 63), если бы только подобную тираду позволено было ему привести на его умеренно-доктринерски-либеральных страницах. Вы даже не догадываетесь о ее животрепещущей actualité ... Да, поистине, как трудно узнать истину! И наряду с такими довольно-таки комически-наивными недоумениями или отрывами, прямо враждебными в силу разности в политических убеждениях, читаю такие комплименты: "прочел с наслаждением", "*есть прелестные вещи*", "удивительные строки", "недосягаемо хорошо", "барон и генезис поразительны". Вот и подите! Вот и разберитесь в этих крайностях! Как трудно узнать истину!

Я вот и рассуждаю так: узнать о себе истину можно только следующим образом: все-таки писатель пишет для публики, для этого нередко презираемого им gros, который все-таки вполне может решать его участь, являясь крайним судьей писателя. Давай же я попытаю счастье, издам серию, шесть-восемь таких книжек, это будет не то журнальчик, не то дневник, так, нечто (вроде) эпидемии и тогда посмотрим, посмотрим каковы окажутся результаты плебисцита. Авось же найдется какая-нибудь *средняя* между идиотски плохо и "недосягаемо хорошо", вот она-то и будет соответствовать истине. Заготовлено было и даже уже набрано объявление: "Открывается подписка на первую серию книжек...", причем пояснялось, что все книжки, несмотря на различие заглавий, связаны между собой "внутренним единством направления, сущность которого сводится к тому коренному убеждению, что истинно *охранительное* начало есть вместе с тем и начало истинной *свободы*, что то и другое дано в христианстве, которому одинаково чужды и так называемый либерализм, сознательно отвергающий истину, и так называемый консерватизм, бессознательно компрометирующий ее, и что по-

следняя несть горше первой”...

Но одним ударом п-ц Феоктистов² разрушил мечты и надежды мои. Объявление было запрещено, и вот обречен я оставаться при прежнем своем недоумении: ”Бог знает что!”, или: ”недосягаемо хорошо!”???

Как трудно узнать истину!

31-го января [1892 г.]

Не отсылал этого давно написанного (письма) в надежде за-получить, наконец, когда-нибудь из библиотеки первую за нынешний год книжку ”Р. Вестника”. Чуть не месяц целый водила меня за нос библиотека, наконец, догадался. Еще в декабре, или точнее, после нового года, как только из газет ознакомился с содержанием ”Р. Вестника” и прочитал ”Эстетическое понимание истории”,³ я подумал — очевидно, речь о К. Леонтьеве и тут же воскликнул: ”И кто способен к сему! Одним заглавием человек, как клещами, захватывает самую суть дела!” И еще воскликнул — как мог бы воскликнуть старик-учитель, бедняк сельский учитель, приходящий в ужас о разуме своего ученика: ”Каков младенец! Гениальный отрок! Ведь он почти в самую точку попал!” Говорю ”почти”, ибо какой же ”эстетик” К. Леонтьев? Разве он поклонник, апостол *Красоты*? Разве он понимал и мог понять *Красоту*? Он не шел дальше *Красивости*. Есть красота и в безобразии, это — Красота *внутреннего*, Красота *сущности*. Красота *духа*, неизменяющегося, вечного. Безобразный и даже отвратительный Аким (”Власть тьмы” Толстого) весь день возивший бочки с, а вечером ковырявший в ногах — разве это не Красота? А эти убогие и, наверное, внешне безобразные прихожане елецкой убогой церкви, приводившие Вас в уныние — разве это не Красота?

Но Леонтьев *Красоты* не понимал, т.е. не *чувствовал* ее, не мог ее восчувствовать⁴. О, без сомнения, только невыговоренное презрение послал бы он по адресу этого бедного елецкого храма и его убогих прихожан, если бы рядом высился гордый, величественный костел с великолепным органом, великолепным бритым, с римским профилем ксендзом, великолепными прихожанами в богатых польских кунтушах с заливчатскими усами на типических лицах ясновельможных панов... И припомнился мне

отрывок, вернее, заглавие собственной (начатой и недоконченной) статейки о К. Леонтьеве) "*Декоративный консерватизм*" — ведь вот она, вся суть без остатка. В этих двух словах весь Леонтьев! Для понимающего дело это *очевидно, непререкаемо* так, а для непонимающего... опять скажу: кто не понимает, пусть не разумеет!

Итак, насколько же Вы приблизились в Вашей статье к *действительному* пониманию дела? Заглавие великолепно. Маленькое напряжение мысли и автор неизбежно подойдет к истине. Он на верном пути. Пусть только не сходит он с рельсов логики и сама сила вещей заставит его отложить в сторону эстетику, заменив ее культом Красивого, на место непреложной истины Красоты поставить призрачную иллюзорность декорации... Выбранный автором эпиграф, по-видимому, подавал надежду, что "гениальный отрок" пойдет именно по этому пути, действительно попадет в самую точку...

"Я праздновал бы великий праздник радости, если бы сама жизнь, или *чьи-нибудь убедительные доводы* доказали мне, что я заблуждаюсь". Вот Василий Васильевич и докажет заблуждения, представит "*убедительные доводы*", что Леонтьев на историю, на политику смотрел не с точки зрения Красоты, а с точки Красивости, что этот в высокой степени замечательный, но болезненно извращенный тип был выразителем не эстетического понимания истории, но парадоксальным (и до цинизма искренним) извратителем философии истории сообразно с узеньким кругозором *декоративного консерватизма*...

Посмотрим! Послушаем. Вонмем!

15-го февр[аля]

Вот и февральская книжка "Р. Вестн." передо мною. Что за притча! Куда девалось "Эстетическое понимание"? Читаю совсем другое заглавие: "Теория историческ[ого] прогресса и упадка". Что сей сон означает?

И на сей раз все чрезвычайно интересно, талантливо, хотя со многими скороспелыми обобщениями и весьма сомнительными заключениями я и не согласен. (Ну можно ли, напр[имер], утверждать что *все* европ. народы чуждаются государствованию, не хотят государствовать? Это верно по отношению к России,

где еще сохранилось христианство и безусловно неверно по отношению к Европе, давно ввергнутой безбожием папизма в первобытное язычество. Разница между современной Европой и античным языческим миром прямо пропорциональна отношению, существующему между *sangler* и *сочон*. Повторяю: талантливо, интересно, но К. Леонтьев с его "эстетическим" (читай: декоративным) мировоззрением где-то затерялся...

Не понял, что Вы хотели сказать выражением "Царь персов"? В каком отношении находится к оному формула "Император французов" (а не Франции)? Присвоила ли себе и страна приапизма "иранскую миссию в истории"?

С величайшим нетерпением буду ждать продолжения Ваших достохвальных этюдов.

Все, что Вы говорите о "государственности нового времени", в особенности о бюрократии etc., было бы очень хорошо, если бы можно было *скобки раскрыть*, но скобки, очевидно, раскрыть нельзя, чтоб до Нерчинска не махнуть! И посему получается нечто ужасно пресное... Предпочтительнее, на мой взгляд, "рабьий язык" с кувырканиями и проч. Кстати, ведь рабьий язык не от Щедрина идет, а много ранее, от наших юродивых времени Грозного, не правда ли?

Карточку *непременно* [пришлю], но простите, если не сейчас. Я страх как тяжел на подъем. Верите ли, лет уже 15 не был в фотографии. Просто страшно идти, но все-таки и во всяком случае непременно пришлю под условием, что Вы пришлете мне Вашу. Ведь у Вас, наверное, есть готовая. Вы меня очень обрадуете. Я представляю Вас таким: высокий, худощавый, узкогрудый, белокурый. Голос тонкий. Кисть руки правильная, длинная. Должны бы, кажется, любить цветы и чувствовать антипатию к кошкам.

Ничего похожего?

Искренне Ваш Ив. Романов

1. самая красивая девушка на свете не может дать больше того, что она имеет (*фр.*)

2. Е.М. Феоктистов (1829-1898) — публицист, историк. Начальник Главного Управления по делам печати. В 1871-1883 редактировал ЖМНП.

3. статья В. Розанова о К. Леонтьеве.

4. Нечем было ему восчувствовать ее, сердце его было выхолощено, атрофировано для красоты, хотя вся его суть заключена в рамках красоты (*прим. Рцы*).

V

3 апреля 1892 г. Киев

По двою дню Пасха будет...

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

От души поздравляю Вас, дорогой Василий Васильевич, с этим светлым и радостным праздником, поистине, праздников праздником! Ничего лучшего для начала я не мог бы придумать, как отослать Вас к слову Златоуста, что будет оглашаться в Пасхальную утреню: постили Вы или не постили (как я, многогрешный и больной), бодрствовали или унывали в истекшие дни и недели а теперь радуйтесь, Христос Воскресе!

Вот как я бессовестно долго не отвечал Вам, а все же, несомненно, я гораздо чаще залетал мыслью и душой в Белый, чем Вы в Киев! Мне все хотелось побеседовать с Вами, хоть в несколько уравновешенном состоянии духа, чтобы не было на душе никакого отвлекающего горчичника, но видно от разных удручающих горчичников никогда не избавишься в сей многоболезненной жизни, что делать! Буду говорить, не взирая на горчичники, усердно прилепляемые на душу судьбою... Постараюсь ответить по пунктам на Ваше последний раз неленостное — спасибо Вам! — письмо. Вонмем.

Никакого хаоса, тем паче противоречий в моих писаниях нет, а есть недосказанность, лаконичность, или пожалуй, фрагментарность. Я даю вывод, оставляя про себя логический процесс, который привел меня к нему, а Вы (как и всякий другой читатель) не желаете вторично пережить пройденный мною путь и останавливаетесь в недоумении перед непонятным для вас выводом, говорите: парадокс! Голословное утверждение! Нелепость! Чорт знает что и пр. Разумеется, Вы (как и всякий другой

читатель) с своей стороны совершенно правы: "Что ты, дескать, шарады нам задаешь! Ты говори делом, выводи всю механику наружу, не заставляй нас ломать голову над мыслительным процессом, который нам неизвестен и угадывать который мы не обязаны и не станем". Да, конечно, прав читатель, но что же мне делать, когда я неспособен пережевывать жвачку! и вынужден, как альпийская коза, прыгать от вывода к выводу, от заключения к заключению!

Ведь Вы же сами знаете, какая это мука пережевывать жвачку, Вы сами об этом говорите в Вашем письме, а ведь у Вас эта жвачная антипатия не доведена до того болезненного отвращения, как у меня. Посмотрите — само собою, о себе я говорю, как о третьем лице, просто как об объекте психологического исследования, не взирая на лицо — посмотрите, например какова судьба моих писаний. "Листопад" идет феноменально плохо, доселе продано всего несколько экземпляров, а почему? Неужели эта книжка хуже всех книг, которые когда-либо выходили на Руси? Ведь, думаю, самый ярый противник и недоброжелатель "Листопада" не осмелится этого сказать; в чем же дело? Я Вам скажу. Дайте "честному немцу" этот самый злополучный "Листопад" и обяжите его нотариальной подпиской *не* прибавлять к книжке ни единой новой мысли. Уверяю Вас, что "честный немец" из этого самого "Листопада" *выжует* три увесистых тома и сразу составит себе имя. Всё значит дело в жвачке!

Да это мое несчастье, что я пережевывать не умею. Я говорю: "Листопад", но здесь еще 150 страниц, а что же сказать об отдельных моих статьях, или брошюрках моих? Ведь вот даже *Вы*, Вы, которого именуют В.В.Р., пропустили их мимо ушей, чего ждать от ординарного читателя? Знаете ли Вы, что в брошюрке "Вечер магии" есть мысли, до которых разве через 50 лет додумается пресловутая "Европа"? Возьмем, например в самом конце, там, где разные пророчества объявляются, ну хоть бы только мысль об *экстерриториальном* владычестве папы и Ротшильда (что, дескать, на яхтах плавают и *с моря* управляют миром) — да ведь одну эту мысль на целый том можно разжевать! Вы прикиньте-ка головой, вдумайтесь. "А тексты перепутали!?" Я не спрашиваю Вас, было ли хотя приблизительно

что-нибудь такое динамитно-всесокрушающе-сильное сказано против Толстого, как на этих убогих 8 страничках, но я спрашиваю: знаете ли Вы во всей *всемирной литературе* более неслыханно-гигантский аргумент против *женобойцев* или *гюнайкофобов*, чем тот, который высказал РЦЫ в его брошюре?

Вникните в дело: ведь Толстой прав, черт возьми! Да, "это" есть, действительно, дело мерзкое и свиное! Ведь Толстой только повторил протест духа против плоти, протест, который есть и будет высказываться до тех пор, пока на земле останется хоть один экземпляр того странного существа, в котором *непостижимым образом соединены бесплотный дух и бездушная материя*.

Да, господа скопцы всех стран, времен и народов, вы правы. "Это" есть нечто мерзкое и свиное о, конечно, дух не может не брезговать этим свинством, но как же может он помириться с необходимостью д...ть под кусточком? Ведь это уж такое "чистое" свинство, которого никто никогда и не пытался опозитизировать! Одно из двух, господа, или перестаньте и есть, перестаньте существовать, или: "смирись гордый человек!". Поразмысли, кий есть твой состав, смирись перед самою твоею немощью, перед необходимостью вонять, чтобы только поддерживать храмину твоего гордого духа, а смирившись, ты уже найдешь в себе силу уразуметь, что не может быть нечистым то, что благословил Бог и тогда уляжется гордыня духа твоего и успокоится встревоженная совесть и станешь ты радостно есть и благодарить Бога, и любить жену свою, и благодарить Бога...

А далее — какой аргумент против блудников! "А коли так, коли только Бог один может "нечистое" превратить в "чистое" и "животное" и "мерзкое" в человеческое и нескверное, то что же ты творишь, блудник? Кто очистит твою нечистоту? Кто успокоит твою совесть, властно сказав, что "мерзкое" и "животное" стало честным и нескверным? Или ты и совесть свою потопил в мерзости блудодеяния?"²

Паки и паки спрашиваю Вас: читали Вы что-нибудь более глубокое (на эту тему) *во всей человеческой литературе*? Скажите с полным прямотушием: ведь речь идет о третьем лице, мы беседуем о каком то РЦЫ... Скажите так: нет, это брошюрка глупенькая, жиденькая, трактующая вопрос поверхностно, она

не заставит ни один ум закружиться от глубины затронутых проблем, это просто фельетончик, который прочитывается и забывается... Да? Так? Однако же и "сам" Толстой соблаговолил ее принять к сведению, ведь текст-то исправлен в печатном издании.. Впрочем, будет об этом; скушно говорить о себе даже в третьем лице, даже рассуждая совершенно объективно...

2

Ваш комментарий на лермонтовского "Ангела" — это прелесть! Вы заслуживаете того, чтоб Вас немедленно произвести в докторы философии какого-нибудь Гейдельбергского университета.

Dignùs, dignùs est intrarè
In nostro octo corpore!!

Удивительно тонко, удивительно по-немецки, и, разумеется, совершенно неверно! "Платоновская идея", "предсуществование души" — Господь с Вами! "Ей Богу же, стихи *должны быть* немножко *глупыми*" — это сказал величайший поэт и величайший умница Александр Сергеевич Пушкин... Что до меня, то я до смерти боюсь и умных *стихов*, и *умных* женщин. Пусть только будут они и оне прекрасны!.. Довлеет им. Конечно, история знает стихотворца, именуемого Гёте, а мы еще ближе знаем нашего "умного, как день", по выражению Тургенева, Федора Ивановича Тютчева; верно далее и то, что жила-была некогда бабенка, которую звали Екатериной и у которой, действительно, была головка, но все таки Mesdames! О, будьте только прекрасны, а вы, милые дети муз и шаловливых рифм, будьте, по завету Пушкина, немножко глупыми!

3

Сравнение РЦЫ с бродячим музыкантом весьма удачно. В особенности верно сравнение в отношении *плодов* и славы, которую пожинают тот и другой.

4

О Леонтьеве знаю мало. Когда-нибудь порасспрошу знавших его лично. Известно мне только, что это был человек вели-

ких крайностей... От оргий "мира" он убежал в монастырь и из монастыря, быть может, еще притче бежал он к оргиям "мира"... В 12 кн. "Вопр. философии и психологии" есть превосходная статья арх. Антония (Храповицкого)³. Имею большое основание предполагать, что нижеследующие слова относятся прямо к Леонтьеву: "Один подобного направления литератор говорил мне, что, будучи весьма большим любителем удовольствий в молодые годы, он смертельно заболел и, потеряв надежду на врачей, обратился с молитвой к Божией Матери, дав обет в случае выздоровления постричься в одной из Афонских обителей. Постричься он, конечно, не постригся⁴, продолжал по выздоровлении срывать цветы удовольствия (en compagnie с бароном Гоморрским???)⁵, но страх смерти у него остался, а также и несчастное убеждение, будто отныне он призывается быть апологетом *своей* (курс. подлин.) насильственно усвоенной религии, — и вот отсюда ряд его статей (прибавлю от себя: в сущности, глубоко антихристианских) о личном спасении и страхе Божиим" (стр. 72, 73).

5

Вы спрашиваете: "почему князь Мещер[ский]⁶ — Гоморрск.?" Да *потому* что это всероссийско известный любитель содомских наслаждений. Ведь в этом состоит пикантность нашего времени, что на страже "Православия, Самодержавия, Народности" стоят и даже от казны вспомоществование получают — кто? Кабатчики, поротые в оно время за злоупотребления питейным промыслом, агенты сыскного отделения, отъявленные содомисты, не мошенники пера и разбойники печати, но заправские мошенники и настоящее разбойники, словом — подонки общества, отребья человечества... Эти одни имеют привилегию несомненной благонамеренности. Всякий мало-мальски честный, мало-мальски чистоплотный человек признается нигилистом, ибо признано, что так назыв. "чисто русское отечественное направление" и не может быть иным, как с зловонной грязнотцей... Это очень пикантная подробность современной, поистине дивной, истории!

6

Вы считаете настоящее царствование самым плодотворным после Петра Великого.

Милый Шиллер! Как хорошо Вам, должно быть, в Вашем гнездышке, свитом из нежных паутинок лазуревой фантазии! Неужели мне брать на себя неблагодарную роль Мефистофеля? Мне жаль Вас, дитя мое, но ведь все равно суровая действительность рано или поздно одним слабым дуновением прорвет Ваше уютное гнездышко, свитое из нежных паутинок лазуревых фантазий, — пусть же лучше любящая рука Вас нежно пощекочет и заставит удалиться из такого ненадежного убежища...

Вы утверждаете, что современная нам история, в которой такое видное, чтобы не сказать господствующее, положение принадлежит содомисту Мещерскому, столь же плодотворна как и та, которую творил великий преобразователь и его великие подвижники? Вы, должно быть, плохо осведомлены. Из "текущего" Вы, должно быть, ничего не читаете, кроме "Правит. Вестника" и его филиального отделения, "Гражданина"?

Но пусть даже "Правит. Вестник" — о каких же, позвольте спросить, *плодах* вычитали Вы там? Конечно, плоды плодам рознь. На моей улице, возле моей квартиры поставили лишний почтовый ящик. Как гражданин, я и сие приемлю с благодарением. Бесспорно, и лишний — против существовавших — почтовый ящик есть *плод* культуры, своего рода прогресс... Вы о таких плодах говорите? А паче сего что? Наслаждаюсь Вашими мучениями. Вижу, как напрягаете память, с каким ожесточением растираете лоб — ничего! Дворянский банк, шепчете Вы, вексель... перебираете год за годом — ничего! В итоге один гаденький, предательский....

Восхваляя нынешнее царствование, Вы, вероятно, имели в виду высокие *личные* качества Государя — с этим спорить никто не будет. Я первый с умилением преклоняюсь перед трогательными семейственными добродетелями Августейшего Семьянина. Поэтическая картина Поля и Виргинии, или Абеяра и Элоизы во все времена действовала и будет действовать на людей неотразимо. Но если от созерцания собственно семейственных добродетелей мы перейдем к глубоко почтительному, но и в такой же мере *правдивому* исследованию доблестей правительственных, чисто государственных — что могли бы мы здесь отыскать, что могли бы сказать в этом отношении, не солгав перед своею совестью, не нанеши тягчайшего оскорбления

чувству патриотизма?

Вы утверждаете, что Государь неповинен в идиотизме поставленных им на управление чиновников. Это суждение, достойное первоклассников. *Второклассник* уже должен знать и понимать, что именно в том и заключается доблесть верховного правителя, чтобы к кормилу правления приставлять не идиотов, а людей ума и таланта... Вы сами, значит, свидетельствуете... Но пусть так. Чиновники — идиоты и в этом никто не виноват. А где Самодержец? В чем проявляется его индивидуальность, его инициатива, его творчество? Где находится власть? Говорят, она отдыхает в Гатчине, прохлаждается в финляндских шхерах, благодушествует в Дании... Повторяю: пасторальная идиллия Поля и Вигринии глубоко поэтична и трогательна, но... Власти нет. В "нетях власть". Вакансия! Но кто же управляет Россией? Первый, взявший в руки палку капрал. И если бы этот капрал назывался Ришелье или хотя бы только Годуновым — нет! Трижды нет! Это самый заурядный фельдфебель, ограниченный и тупой, черпающий вдохновение у содомита Мещерского...

Но ему не подобает,
Говорят, такая честь,
Отчего ж он заседает?
От того, что ж... есть⁶.

Вот и весь аргумент, вот и вся "ultima ratio". Нужно кому-нибудь заседать? Нужно, не пустовать же креслу! Есть ж...? Есть. — Ну, садись и заседай. Ничего, кроме ж... не требуется. Точнее, только она и требуется, ибо головы по нынешним временам под подозрением, только одна ж... в почете, не даром же презренный Мещерский так внезапно возвеличился...

Один откровенный, хотя и грубоватый циник так и выразился про современный период истории, по Вашему, "петровскому равный", что это просто-напросто — "ж-пник"... Во всяком случае, можно смело повторить вслед за "РЦЫ": "Серо, мелко, плоско, скучно, пошло... Ни славных дел, ни смелых идей, ни выдающихся дарований... Мир, спокойствие, всеблагополучное обстояние, отсутствие великих слов и смелых мыслей и наоборот, наличность пошлости в жизни, торжество бездарности, бес-

цветности, умеренности..." ("Листопад", стр. 2, 3). Нет? Не так, милый Шиллер?

7

В портрете, заглазно Вами с меня списанном, есть тоже кое-что верное: волосом черный (и не без сединок на висках), вечно больной, в нечеловеческом костюме (Иегеровский *Norma*ljurre — слышали про такой костюм?), ничего, впрочем, общего с неряшливостью и нечистоплотностью не имеющим, почти всегда угрюмый, хотя по природе веселый и теперь еще способный на веселость, когда болезнь и разные житейские горести не душат, но росту среднего, коренастый "крепыш", по выражению др. Захарьина, скорее, полной комплекции, чем худощавый, с широкою карасеобразною рукою и короткими пальцами, вовсе теперь некрасивый и до невероятного старообразный, а некогда с замечательно — не помню уже, что говорили — красивыми или выразительными, а теперь совершенно потускневшими от болезни глазами... Женат, двое маленьких детей. Затворник, совершенно удалившийся от мира...

Пришлите карточку Вашу хоть на время. Я свою обязательно пришлю, дайте только с духом собраться. Я страшно тяжел на подъем и мучительно стал медлителен (это не врожденное, чисто болезненная черта).

Мартовской книжки "Р. Вестн." я еще не видал и не знаю потому, как и чем Вы закончили Вашу перекрещенную эстетику.

Во 2-ой кн. "Славянск, Обозрения" известный генерал Киреев похвалил "Листопад", а статью Вашу "Место христианина" (по сделанной мною выписке) назвал *замечательной, что вполне согласно с истиной.*

Ну, вот, кажется, все. Еще раз:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Душою Ваш **Ив. Романов.**

1. Да и что пережевывать? Заново пересказывать Хомякова и Гилярова? Ведь вот мое основание, я *откуда* отправляюсь! (*прим. Рцы*).

2. Эта апология пола, возможно, не без влияния Рцы, стала главной темой философии Розанова — *Ю.И.*

3. Антоний (Храповицкий, 1863-1936) митрополит Киевский: в 90-е гг. архимандрит Троице-Сергиевой Лавры.

4. К. Леонтьев принял тайный постриг в августе 1891 г. в Оптиной пустыне. — Ю.И.

5. кн. В.П. Мещерский (1839-1913), внук Н.М. Карамзина. С 1873 г. издавал и редактировал газету "Гражданин".

6. неточное воспроизведение эпиграммы Пушкина на кн. М. Дондукова-Корсакова.

VI

Простите, дорогой Василий Васильевич! Я несколько замедлил ответом на Ваше письмо. Дело в том, что недавно на *Жиланской* состоялось важное решение. Непризнанный литератор "без портфеля", небезизвестный некоторым почтенным ортодоксам, г. РЦЫ, убедясь окончательно в невозможности по нынешним временам достигнуть чего-нибудь *головой*, решил попытать счастье на другом поприще, пустив в оборот более современное и более успевающее орудие. Он положил в душе перебраться за границу, т.е. в финско-чухонский, немецко-ингерманландский Санкт-Петербург с целью заявить там кому следует, что и он, РЦЫ, *habet lunam*...

Да, милый мой Василий Васильевич! *Basta cosa! Finita la comedia!* Право же, глупо долее упорствовать в несбыточных надеждах. Писать мне негде. Открыть подписку на собр. моих соч. мне запретили. Издавать случайно, кое-что, после "Листопада", какой-нибудь "Летень", или "Липец", или "Зарник" — средств нет. Затративши свыше 600 руб. на "Листопад", я доселе вернул всего 1 р. 40 к.! Да и какой смысл перепечатывать отдельн. сборниками свой архив, или писать что-нибудь наново? Читать никто не читает, сочувствия ниоткуда ни малейшего. Те, кто могли бы *me prêter main forte*, оказать могущественную поддержку, ну хотя бы в борьбе с п.... Феокт[истовым], те, что *должны бы* были оказать мне таковую, если бы лучше различали и видели дальше, сначала как бы протянули мне руку, но тотчас же и отвернулись, должно быть не возлюбя мою прямодушную речь..

Basta cosa! Если кто, то именно я могу сказать: *fēci quod potui*. А затем, может быть, и вправду я ошибался, может быть, ничего на пользу русского самодержавия я сделать не смог бы... Ну и прекрасно! Отселе мой девиз скромная ω (омега). Дайте

мне кресло, или стул, или скамью и буду я с отличным усердием протирать оные, получая 20-го установленную мзду — вот все мое честолюбие, вот чего ради я и трогаюсь в Питер... Когда? Да вот как соберусь... Ужасно я тяжел на подъем, но да, Бог даст, как-нибудь удастся прикончить с киевским периодом истории и начать Санкт-Петербургский!

Опять перерыв! Все сие время разъяснял одному, также *загубленному Леонтьевым* прекрасному дарованию, зловерный смысл папизма... Ничего не выйдет! Человек уже, как видно, *окаменел* в своих убеждениях. Попадают такие обороты речи в его письмах, что с тоскою начинаешь думать, что он окончательно погиб для истины, для Православия... Леонтьев ловко вытравил из его сознания различие между *истиною* и *авторитетом*...

Бедная Русь! В области знания — раболепство перед разными Шарками и Пастерами и — знания нет, ибо в основе знания — свобода. В области художества раболепство перед разными Мопассанами и — творчества нет, творчество иссыкает, ибо основа творчества есть свобода. В области Веры — раболепство перед идиотскими синодальными жирами, начиненными папешко-протестантской дребеденью и — Веры нет, ибо *Вера есть свобода*. Всюду, всюду дух папешский пронизывает нас, отравляет, губит нас, а дух свободы Христовой никнет долу, прячется куда-то, исчезает, а Заря великой спасительной идеи вселенской соборности не занимается, не находит отклика даже в самых возвышенных умах, в самых благородных душах!... Несчастливая Клара! Безумная Клара! Несчастливая Клара, мой рай! — или *mutatis mutandis*: несчастный РЦЫ, безумный РЦЫ, несчастный Гамлет с Жиланской!...

Ну-с, к Вам, Василий Васильевич, теперь мое слово. Надеюсь, уже без перерыва.

Отвечаю отрывочно, но по порядку.

Да, конечно, *пока* я еще могу Вас поучать и всеми силами стараюсь это делать, дабы *потом* уже самому за парту сесть и разверзнуть уши... Так оно, надеюсь, и будет. Мне время глеть, тебе цвести, как сказал поэт!

* * *

Таинственный закон раздвоения и психического уравнивания есть тема неисчерпаемая. Она прямо соприкасается с вопросом о *рационализме*. Дело в том, что рассудок человеческий и вся вообще сознательная человеческая деятельность равна, так сказать, одной лишь десятой части человеческого состава. $1/10$ — рассудок, $9/10 = x$. Что такое сей x ? Отчасти можно перечислить: тут и *физика*, и *эстетика*, и *мистицизм*, и *патология*, *предрассудки*, *идиосинкразия*, *страсти*, *привычки*, воздействия этнографические, географические, климатические, наследственные, социальные — и все-таки всего не перечтешь, и все-таки x остается x , и сократовское "познай самого себя" *есть абсолютно неисполнимое требование*; можно лишь *познавать* себя без малейшей надежды когда-нибудь познать, ибо там, где *все познано* — там смерть, там разложение на составные части: столько-то углерода, столько-то азота, столько-то мускулов, столько-то костей, но жизни нет, но дух куда-то спрятался от аналитического ножа...

Рассудок, писал я своему утреннему корреспонденту, есть дурной столоначальник весьма важного, обширного департамента. Он нам докладывает о том, что делается в СПб и в самом департаменте. Кое-что говорит верно, а большую часть безбожно врет, так, как Хлестаков, без самонаименованного злого умысла; в особенности жестоко врет о самом департаменте, в коем заседает; вот почему, вопреки ученому дурачью, мы и не будем особенно доверяться его "докладам" и будем более прислушиваться к общему неформулированному мнению *всего департамента*... Тут есть в особенности хороший человек, хотя и не очень чиновный, всего-то навсего курьер, податель и имя ему: *сердце* — вот на этого господина можно положиться... Само собою, никак нельзя уволить г. начальника логического стола, только необходимо помнить, что он пьяница и *моветон*, а некоторые хотели бы его короною короновать, на престол посадить, сосредоточить в его руках неограниченную власть над всем департаментом; такое безумное желание называется *рационализмом*. (Сей последний, к слову сказать, и составляет суть папизма, абсолютизма и всякого вида деспотизма...).

Картина халата потому чрезвычайно понравилась в нашем департаменте, не исключая и г. столоначальника.

”Странствующ[ий] полонофил” есть фотография с беседы нашей с Шараповым. Говорить устно я не только не умею, т.е. теряю память слов, не нахожу соответствующ. выражений, но и мысли теряю, т.е. попросту глупею. От этого, отчасти, я так и нелюдим. Всякий мальчишка и щенок в устном споре меня разобьет вдребезги.

Чудак! Разве Александр (II) — даровал *свободу*? Он даровал *Волю!* (Гениальный народ, имеющий такие гениальные выражения, всю суть дела обнаруживающие, находит!) А свобода есть *согласование воли* (думать и действовать всем заодно и как один, разумеется, Бога для и след = *церковь*). А про *церковь*-то и забыли! Как забыли про Церковь в земском положении, как забыли про нее при освобожд[ении] славян, при идиотск. классическ. образовании и всюду и всегда забывали... А теперь, к слову сказать, не забывают, а *перевирают*. Думают, что, если изобразить русскими или славянск. буквами[...], то это и будет вполне *национальный* обед. Ужасное идиотство!

Можно на основании всего сказать: папа отнял волю у человечества, прикрепил душу к Риму, протестантство возвратило волю, раскрепостило, утвердило самоволие. *Безволие* и *самоволие* — вот два термина; предстоит третье явление: добровольное самоотречение воли, иже есть любовь. Любовь и есть основание свободы, вернее, любовь в социальном смысле и есть именно сама свобода. Идея вселенской соборности явится коррективом и для ошибок Александровского, все же великого (как и Лютер бесконечно велик) подвига.

Меня даже *обидело* в первую минуту сообщение, что Хомяков был брошен за *недостатком времени*, ну а есть — спать было время? Нет, аргумент никуда не годится! *Не увидишь час*, еще не дозрели, а как придет момент, и есть забудете, и спать не за-

хочется, и от Хомякова не оторветесь... Сообразивши это, я успокоился. Труден *подход* к Хомякову. Нужно знать, с какой стороны подойти. По-моему, легчайший к нему подъем лежит чрез убеждение в бессилии, абсолютном бессилии современ[ных] христианских апологетов. Кто терзался сомнениями, кто ясно видел, что существуют пунктики, коих никак минуть нельзя, без разрешения коих нельзя *честно, по совести веровать*, кто искал разрешения названных сомнений в идиотских — православных апологиях и убеждался из них в совершенной несостоятельности апологетов и отсюда заключал о непобедимости неверия — тот только может понять, что такое Хомяков. Это прежде всего величайший христианский апологет, разбивающий *все* возражения современного неверия... После Хомякова стало возможно *честно* веровать, *по совести*, не страшась возражений, не пряча голову в песок, чтобы уйти от некоторых "бесовских силлогизмов"...

* * *

Вас беспокоит будущее русской промышленности, но подумали ли Вы, *какая* может быть промышленность на Руси? Разумею реальную народную промышленность, а не фабрично-купеческую монополию во вкусе Вышнеградского. На Руси может быть только одна промышленность — *земледельческая*. Круг, в котором находится и заключительная точка есть *земля*. Всё от земли, чрез землю, для земли. А что такое земля? Знаете ли Вы, чувствовали ли, что такое земля? Леживали ли Вы на ней подолгу, "уста к устам и грудь на грудь"? Подслушивали ли Вы, как она дышит и что-то шепчет, какими веяниями жизни наполняет Вас? Ведь в антеевом мифе более, чем поэтическая метафора, тут прямо, может быть, нечто физическое? Что мы, например, знаем о магнитных подземных толчках? Каково их влияние на человеческий организм и проч.? Во всяком случае, целящая, живительная сила земли — вне сомнения.

Чем силен *Kumai*? Что дает ему возможность бравировать века, не имея никаких себе вековечных начал? Положительно одно — земля. Китайская любовь к земле, холя земли, которая воздаст им сторицей, дает какую-то неумирающую живучесть этому уже столь старому организму. Так должно быть у нас.

Хищническое насилие земли должно замениться любовною холемою земли — вот что такое будущая русская промышленность. И таким образом первый камень Вашего построения падает, пролетариату места нет, падают, след[овательно], и дальнейшие выводы...

Но видите ли, чтоб осуществить всё сие, необходимо одним всё *понять*, что надлежит делать, другим подобает *разъяснять*, но разъяснение-то у нас и не допускается, ибо господствующая система *белого* нигилизма полагает, что благонамеренность проявляется исключительно либо в доносах, либо в раболэпной лести, а что сверх сего, то уже почитается крамолою, изменою. Последнее десятилетие есть самая гибельная, *позорная* страница нашей истории. *По плодам узнаете её...* Се наперед рек Вам.

* * *

Относительно Т.И. Филиппова² сведения мои крайне скудны и *скорее* неблагоприятны. В Питере, может быть, разуюзнаю побольше. Во всяком случае, считаю, что Вы прекрасно сделали, пустив в ход "политику свободных рук". "Гражданин" и есть такое неприличное место, в которое вступить нельзя, не замаравшись.

Вам, конечно, известен жестокий, доходящий до вражды антагонизм между Филипповым и Победоносцевым ... нужно хорошенько взвесить выгоды, прежде, чем очертя голову прилепиться к одному полюсу его ... и навлечь на себя громы другого... Пока в Питере, конечно, постараюсь разнюхать все, что Вам потребуется и все, что будет доступно моему, более чем короткому, носу...

Ну-с засим обнимаю Вас. Пишете мне и

Душою Ваш Ив. Романов.

Неужели у Вас деток нет?

P.S. Ах, если бы Вы знали, какой я несчастный, какой беспомощный в сборах к путешествию! Что б я дал, чтобы заснуть и, поспавши хорошенько, проснуться на готовеньком уже где-нибудь там, на Петербургской стороне! И что меня влечет в этот проклятый Санкт? Не там ли мой конец, моя погибель? А что-то влечет...

Я было решался поставить последнее на карту и готов был посылать прошение в Главн. Управ. по делам печати с целью получить разрешение на *свой* ежемесячный журнал. Ввиду сего снесся с кое-кем, откуда мог ждать некоторой сочувственной поддержки и отовсюду получил единодушное предостережение не губить себя и не затевать предприятия, в успехе коего все единодушно сомневаются. Таким образом — судьба. Самый очевидный и несомненный писатель Рцы исчезает бесследно в тартарах и на сцену выступает канцелярских дел ревнитель Романов.

1. Эти стихи бормочет Аратов в тургеневской "Кларе Милич". Их написал В.И. Красов (1810-1855) после прочтения романа Вальтер Скотта "St. Ronan's Well". — Ю.И.

2. Т.И. Филиппов (1825-1898) — в 50-е годы — член т.н. младшей редакции журнала "Москвитянин". С 1887 г. — Государственный Контролер.

VII

18 марта 1892 г.

Бесценный Куманек!

Может быть, эти строки еще дойдут до Вас. Пишу, разумеется, кратко, почти телеграфически.

Прежде всего, спешу успокоить Вас: о нашем [неразб] принципал говорил на основании рассказней муравьев нашего чиновничьего муравейника и сам еще не остановился на том или ином окончательном мнении, посему: "прииди и виждь!", но все-таки упорно предупреждаю Вас:

Тот великолепный генерал, на которого Вы с благоговением взирали в Вашем провинциальном соборе на торжественном молебствии, здесь, в этом вонючем Питере, в этих подлых кулисах России, предстанет перед Вами дебутонированным, в грязных, заплатанных портках... *Point d'illusion, jeune homme!*

Это понимаете ли, говоря *вообще...*

* * *

Вы жестоко заблуждаетесь насчет Вашего неправославия.

Напротив, Вы чудесный ортодокс, но оно в Вас действует бес-
сознательно. Все значительное, скажу прямо, великое, что Вами
создано — это плод впитанного с молоком матери Православия.

Необходимо теперь его осмыслить [...]

Quid папизм? *Миродержавство совести, душ* [...] Миродер-
жавство Наполеона — государственная, языческо-римско-госу-
дарственная идея.

Общий смысл — владычество *одного*. Ибо, по существу,
Власть едина, не терпит подле себя другой.

Quid протестантизм? Владычество *каждого* — бунт, анар-
хия. [...]

* * *

Обязательно выйду навстречу, если не буду в командировке.
Занимаю преподающую должность, сопряженную с постоянными
разъездами.

* * *

Повторяю еще раз: вся Ваша *force vitale* — Православие, но
Вы еще сами не опознали, в чем и где Ваша сила! *Cela viendra!*

* * *

”Жажда убранства”. *C'est le mot!* Вы *убираете* историю и,
пожалуй, жизнь, и это неплохо; плохо то, что Вы делаете вид,
т.е. себя обманываете, будто не знаете, что и жизнь и история
также в известные моменты щеголяют в портках... Чутьочку
расхмурьте Ваш лоб и улыбнитесь улыбкою, ну хотя бы
Беранже, а еще бы лучше Шекспира, а уж совсем хорошо —
улыбкой Пушкина! Вот русак не только от головы до пят, но
даже с пылью, прилипшею к подметкам сапогов включительно.

* * *

Смотрите! Нарисовали два столбика и симметрии нет: мо-
нархию сбоку прилепили! Вы даже, кажется, не замечаете, что
нащупали ужасающую по глубине идею:

- 1) Уверенность в своих силах.
- 2) Неуверенность в них.

Ведь это, батюшка, универсальная, вековечная, всечелове-
ческая черта. Египетская пирамида соответствует первому, и го-

лодранцы, "которые мерзость пред очами фараона", шествующие в пустыню за каким-то облаком — другому.

Да эта черта повторяется в каждом из нас! И знаете: я — мученик *второй*!

Православие должно указать *синтез* этих двух начал, а я, несчастный, его не нахожу!

Пример: По службе я ничего не могу достигнуть, ибо вся моя надежда на молитву и помощь св. угодников (буквально); друзья-приятели всего достигают по вполне национальным, человеческим действиям, отсюда для меня *соблазн*, источник великих душевных мучений и умственных недоумений: "вся елика аще просите" — как же это понимать?

Так повторялось многожды в моей жизни, причем, однако, бывали случаи, когда казалось несомненна действительность молитвы.

Словом, и ум и сердце чувствуют, что есть какая-то *середина*, а я впал в одну из крайностей, и этой середины никак не могу найти.

* * *

Вокруг себя я вижу многое, кроме Матрен, но приведши из классического мира человеческий документ под рубрикой "Матрена", должен был и из нашей привести соответственный. Если до нас *не дошли* (не записаны, потерялись), человеческие документы из других областей — так что же из этого? А Гомер? Женщины "Илиады"? Прощание Гектора... У меня просто уши опускаются перед такою доктринальною предвзятостью. Я утверждаю не больше и не меньше: Человек всегда был человеком, и от Адама и поднесь ничто человеческое ему не было чуждо, а теорияка Ваша (не статья, в которой попадают удивительные пассажи) есть миленькая, но крайне хрупкая побрякушка для елки, и именно для немецкой елки, для елки немецкого филистера, который и детей своих пустил плясать вокруг елки по известной системе, с троекратным, именно троекратным возглашением hoch!

* * *

Диву даюсь Вашим восьми quasi — победоносным пунктам. Только для того, чтобы не удлинять сих строк, не привожу *по*

десяти из христианской эпохи на каждый, взятый из классической... но, впрочем, не шутите ли Вы?... Мать Гракхов, а Граббе, умоляющий Николая казнить сына-декабриста? Дети умирают с голоду, а подвиги Скублинской? Черная похлебка, а Вы думаете в лице нас кормили лучше? В Афинах гетеры... а парижские кокетки или ревельская мещанка в СПб?

Нет, это, очевидно, насмешка, ибо кто же станет пускать в ход такие ребяческие, да еще утробно-ребяческие аргументы?

Итак, *vous n'avez rien à me dire?*

Человек есть человек? Ничто человеческое ему не чуждо? Не забывайте, что христианство открыло человеку *мир новых возможностей*, из коих лишь бесконечно малая часть и в редко редких исключительных случаях осуществлена на деле. Все остальное — только возможность, тогда как *реальность* — тот же великий человек, но обтрепанный, опошленный, загаженный... Вы и не подозреваете, что *осуществление* возвышеннейших христианских возможностей должно бы *вовсе* упразднить вопрос о власти. Ни республика, ни монархия, ни беспримесная свобода, но любовь — вот что должно было явиться на смену классическим порядкам.

Но любви нет, христианство — абстракт, нет и свободы, но и к прежнему нет возврата, и вместо Брута мы наслаждаемся лицезрением... Держиморды!...

* * *

Какое же можно писать *возражение*, родненький мой? *Принять* вот эту предлагаемую мною и единственно возможную точку зрения, т.е. возразить са́мому себе, самого себя в лоск разбить и опровергнуть — да, без сомнения, когда-нибудь Вы это сделаете. Я, по крайней мере, слишком для этого верю в Вас, слишком уважаю Вашу писательскую добросовестность...

Христианство только *терпит*, только снисходит к какой ни на есть власти, ради жестокосердия нашего признает ее необходимость, но идеал — вложите это в ушию Ваши — *свобода* — *любовь* — *братство* — святейшая апостольская община. А за сим *addio*.

Черкните словечко.

Ваш душою Ив. Романов.

Слышу, кума пришла. Мы соседи.

VIII

7 мая 1892 г. Киев

Нет, дорогой Василий Васильевич, это именно в Вашем сердце нет ни капельки любви, раз Вы могли написать: "Вы меня не любите"! Сердце, небось, *умнее, зрячее* ума, оно никогда не обманет, а раз оно молчит у Вас, ничего Вам не подсказывает — значит, оно не хочет отзываться на зов другого сердца, отворачивается от него, умышленно закрывает глаза. Или Вы, может быть, написали это неискренно, так сказать, пококетничали немножко?

Знаете, читая Ваши письма мне приходит иногда в голову смешная мысль — *что вы не вы*. Что пишет мне не тот удивительный писатель, которым я восторгаюсь, не тот глубокий, вдумчивый, такой оригинальный, такой самобытный мыслитель, что передо мною не *великая надежда* русского слова, а просто какой-то неведомый господин Розанов, бесспорно твердо знающий, что в слове б а р б а н буква "б" неуместна — но и только... Есть у меня письма Аксакова, Гилярова и других меньших величин, есть совершенно безобразные по внешности и ничего не представляющие по содержанию лоскутки, и всюду, однако, видна печать незаурядности. Читаешь и смакуешь: глупость, шалость, черт знает что порою, а всё-таки портной Иванов из Лондона и Парижа так не напишет! Объясняю я себе такую поразительную бледность или заурядность, или, если хотите, универсальность Ваших писем тем, что Вы ниже самомалейшего (как я, например) удовольствия в беседе со мною не испытываете, а *механически отписываете* мне. Думаете, например, о Рюрикe, а на бумаге изображаете: "Благодетельная политика в соединенном духе православия, самодержавия и народности успела уже одарить Россию в высшей степени ценными плодами" — т.е. изрекаете самую банальнейшую пошлость, которую и портной из Лондона и Парижа мог бы изречь, да и действительно изрекает каждодневно в течение 11 лет на листах "чисто русского отечественного направления".

Ведь Вы, конечно, размышляли о Рюрикe или о великом переселении народов, когда победоносно потрясали передо мною обезьяно-образным изображением г. Вышнеградского¹

Портные из Лондона и Парижа давно давным уверились, что

это гений, и Вы вслед за ними повторяете: *гений!* А спроси Вас: да в чем же гениальность? Вы разобидитесь и скажете: "У! Брюзга противный!"... Конверсия займов? *Доказана* специалистами их абсолютная для государства убыточность! *Тульская* операция с дворянскими выигрышными билетами (к слову сказать, разорившими меня) — но об этом лучше уж и не говорить! Ультрапротекционистские тарифы в угоду нескольким купеческим пузам? Пускай на это дает надлежащий ответ наша чудосочная промышленность, всеобщий застой в делах, дороговизна жизни до крайних пределов, всеобщая беднота и такая беднота, что один неурожай сшибает с ног стомиллионную страну с неисчерпаемыми естественными богатствами... Что же? Что же? Заслуга Вышнеградского (уж подлинно *Алеут* из "Горя от ума") в том, что два года кряду (87 и 88) Бог дал великолепные урожаи, благодаря которым можно было *ловкие* всеподданнейшие отчеты сфабриковать... Да, действительно гений! Наиболее блистательный из его подвигов это "переутомление" от глупости и скоропостижный отъезд в Крым...

Затем Вы потрясаете еще *Vumme*². Ничего не понимаю. От портных даже ничего еще не слыхивали. Витте был у нас начальником Ю-3 ж.д. Начальник как начальник, таких в России ровно столько, сколько станций и полустанков на нашей ж. дорожной сети... Но, может быть, Вы имеете откровение, что и это тоже гений? Может быть. Я, однако, никаких откровений не получал. Знаю только, что пустовало кресло. Вышнеградский открыл, что и Витте *habet*... оную, ну и воссел, ну и заседает, и только. И совершенно не знаю, чего ради бенгальские огни пускать.

Церковная школа это действительно великая идея, да разве это новинка? Разве это продукт нашего времени? Помилосердуйте! Да ведь это труп, и учитель мой Гиляров подал покойной Государыне записку о церковно-приходских школах — вот оно откуда пошло. Это завет *прошлого*. "Три кита" — смешно и говорить об этих уродливых потугах. Ведь это разжиженная по правилам гомеопатии николаевщина, но *quod licet* Николаю...

Нет, дитя мое (я старше Вас, не сердитесь, я больше Вашего передумал и перестрадал, больше потому — к слову говорю — и надеюсь на Россию), в том и горе, что прежде "в сердце была бездна идеализма", а теперь, а теперь... Ни сердца не видно, ни

головой а... восседающая на разных креслах и с отличным усердием протирающая их...

Будет, впрочем. Я вовсе не хочу Вас огорчать, и если Вам сдастся, что настоящее по всем частям доведено до последней степени совершенства, то *пес plus ultra* — что же? Сделаю Вам удовольствие, подхвачу и вместе с Вами патриотично гаркну: Уррра-а-а!

Я не помню, чтобы К. Аксаков говорил об отравлении Соед. Штат. политикою. Разве политика составляет выдающуюся черту их жизни? Не перепутали ли Вы чего-нибудь? Как бы ни было, я знаю, что К. Аксаков сказал, что Соедин. Штаты есть *государство-машина*, что у этого государства нет никакой идеи, что оно не вносит никакого нового слова в общечеловеческую сокровищницу, и я долго принимал это аксаковское суждение, но Гиляров надоумил меня: американские *машины* — ну, это и есть ихняя идея, ихнее новое слово. *Побеждать природу и eo ipso высвободить человечество от зависимости и работы вещественным стихиям* — это и есть положительная, общечеловеческого значения роль Соедин. Штатов.

Кстати, относительно "работы" и "освобождения". Знаете ли Вы, в чем суть славянофильства? Конечно, нет. Конечно, не знаете. Вы еще только бродите около славянофильства... Я Вам скажу. Суть славянофильства в знаменитой антитезе: *Свобода и необходимость*.

Что свобода, от свободы и к свободе — то добро, то от духа Христова, ибо идеже дух Господень, тут свобода и только истина освободит (спасет: высвобождение — спасение) человечество.

Что необходимость, от необходимости и к необходимости — то зло, то от духа антихристового.

Необходимость в сфере человеческих отношений проявляет себя как владычество, порабощение, насилие, обезволение.

Вот и все.

Достаточно этого маленького компаса, чтобы никогда не сбиться с пути. Это оселок, на котором испытывается всякое явление, всякий принцип.

Что такое папизм? Владычество, порабощение, насилие.

Satis! Мы уже знаем, с каким духом приходится нам иметь дело.

Другой пример. Община? Хороша, а артель лучше, ибо свободнее, вольнее; там — зависимость от предания, быта et cet., здесь — более интенсивное волевое стремление к человеческой совокупности. Но лучше артели и абсолютно хорошо: православное братство, собор. В артели все-таки зависимость выгоды, материальный расчет (соберемся в артель, чтобы сделать то и то, ради такой-то корысти). Братство, собор — это абсолютная свобода, беспримесный принцип "Бога для"...

Свободу еще и так можно определить:

Добровольное согласие людей думать и действовать всем заодно и как один.

И этому согласию дано чудное обетование: в таком соборе обязательно невидимо присутствует сам Христос и *понятно*, почему Он присутствует. Он всюду, где истина, где красота, где любовь, и все это только разные названия *свободы* духа Господня... Отсюда можно целую табличку вывести:

<i>Свобода</i>	<i>Необходимость</i>
Церковь	Государство
Любовь	Страх
Истина	Закон
Самоотвержение	Правомерность
Абсолютное добро	Польза
Разнообразие	Нивелировка
Индивидуальность	Индивидуализм
Красота	Благообразие (декорация)
Внутреннее	Внешнее
Органичность	Машинообразность
et. cet.	et cet.

Вы говорите: к черту политику! Не нужно политики, а я, плывя по тому же руслу логики, воскликну: К черту листья, не нужно листьев! Интересно только дерево да корни, а эти убогие листья так рано пожелтевшие, сморщившиеся — к чему они? Настанет осень, они вовсе отпадут, а весной распустятся новые... Но вот слышу голос противного брюзги, желчного, страдающе-

го печеню: "Безумец! Но ведь листья с деревом и корнями — *одно!* Ведь по состоянию листьев мы судим о здоровье самого дерева. Тебе противны эти листья, поблекшие, свернувшиеся, пожелтевшие, поточенные паразитами — Безумец! Но знаешь ли, что это признак, что ствол засыхает, что корни гибнут...". Подлецы, подлецы! Зачем же вы не окапываете дерево, не обкладываете его хворостом, не поливаете водой, не обмажете глиною трещины, которыми покрылась кора! Душегубы! Опомнитесь! Ведь не будет по весне и ненавистных вам листьев, но ведь и ничего не будет. — Спрашивается: следует ли отправить в Карлсбад человека, который утверждает, что "политика" так относится к истории, или ее философии, как листья к стволу и корням дерева? Предоставляю сей вопрос решить Вам.

Вы еще догадываетесь, что Рудини и Каприви³ и *вся западная гниль и мерзость* есть прямое порождение Инквизитора и его политики уловления душ и пастырства над народами? Чудак!

От жены моей Вы *несомненно* вывели бы следующее:

"О! Это ужасный человек! Помилуйте! Мягкость и незлобие в такой степени — разве это доброта? Нет, это преступление. Если предоставить его самому себе, поверьте, его дочиста оберут — и он будет молчать. Придет кто-нибудь, завладеет его квартирой, а его выгонит на улицу — и он будет молчать. Прислуга будет у него танцевать на голове, а он будет молчать! Воображаю, что было бы, если бы ему недели на две детей сдать на руки! Да, конечно, маленькая Надя за один раз съела бы целый фунт конфект — и он был бы в восторге! Наверное, маленький Ваня взбунтовался бы против пеленок и потребовал бы себе штаны, и он полетел бы покупать ему штаны. О! Это ужасный человек. Он боится возвысить голос, он ленится дать шлепака ребенку... В одном пункте он проявляет некоторую несговорчивость, это в вопросе об этом мерзком письменном столе, покрытом пылью, заваленном книгами и газетами, от которых только беспорядок и нечистота в доме... Верите ли, под великий праздник мне с трудом удается получить доступ к этому невозможному углу, чтобы хоть какой-нибудь порядок там водворить!".

Ужасный обвинительный акт, но совершенно не тот, кото-

рого Вы ждали? Да, сударь, я порою желчен и зол, но *на бумаге*. Самая лютая злоба на бумаге менее зла, чем только неласковое слово на деле. Я груб порою до цинизма, но опять на бумаге, а в жизни меня шокирует нескромность речи. Загадочно? Однако, это всеобщий психологический закон. *Кровожадный* Бакунин был, говорят, благодушнейшим добряком. *Похабник* Достоевский был целомудрен, как весталка; ярый крепостник Бланк, проповедовавший в печати, что всех мужиков нужно запороть, был просто отцом родным для своих крепостных. Зато кн. Мещерский, который *действительно* не в силах дочитать "Крейцеровой сонаты", есть содомит. Подлец Толстой, на каждом шагу повторяющий "самоотвержение", "любовь", есть на самом деле мрачный эгоист, который стакана воды ближнему не подаст... Праведник Страхов⁴, говорят, весьма охотно учинит мелкую бабью, так сказать, гадость по адресу своего приятеля... Вот также, почему я пришел к заключению, когда получил отказ от Берга⁵ поместить в "Р. Вестн." одну неизданную мою статью о Бартенева⁶ и Висновской за *ее неприличие*, что оный муж не просто развратник, но какой-нибудь квалифицированный, наслаждающийся, напр., задушением детей и проч. Да-с, закон-с.

Бросающиеся в глаза недостатки и даже пороки *писателя* суть отражение несколько преувеличенных в том же направлении добродетелей его, как *человека*; чрезмерные добродетели, чрезмерно, насильственно, так сказать, навязываемые читателю *писателем*, суть верный признак существования в нем, как человеке, чрезмерных, противоестественных пороков в том же направлении... Здесь, так сказать, уравновешение психологических сил... Этот же закон (о котором современное дурачье, кажется, и не подозревает) совершенно в новом свете представляет многие установившиеся характеристики... Отселе мы совершенно поверили *отвлеченному* целомудрию кн. Мещерского и не станем обвинять его в лицемерии (даже самое понятие лицемерия чрезвычайно расширится при свете указываемого закона). Взирая на кровопролитные деяния Грозного, мы, однако, нимало не усомнимся в его искренней богобоязненности и всего менее станем упрекать его в ханжестве. Отселе мы с величайшим скептицизмом будем относиться к тем мнимо-научным биографиям, которые составлены на основании собственноручных документов

изучаемого автора. Писания его принимали к сведению, но и только, а решение постановили на основании *совокупности* данных...

Нет? Все это Вас не удовлетворяет? Нужно написать 14794 страницы, тогда только будет ясно, а пока — "оркестрион!"?

Ну-с, заболтался я, однако, с Вами. Пора и кончать. Заключу словами матушки Екатерины: *Aimez moi comme je vous aime* — ничего большего я не хочу.

Да! Вы еще говорите: "иди в монастырь" Отвечаю: Аминь. *Это так и будет.* Глупо и смешно против течения плыть. Пока что наш брат не нужен, ну и удалимся смиренно подальше от общественной арены...

Душою Ваш Ив. Романов

P.S. читайте и паки реку: читайте "Дневник Толстовца" Ильина. Очень стоит.

1. И.А. Вышнеградский (1830-1895) — министр финансов.

2. граф С.Ю. Витте (1849-1915).

3. граф Лео Каприви (1839-1899), канцлер Германской империи (1890-1894).

4. Н.Н. Страхов (1828-1896) — критик, философ, близкий к славянофилам. Розанов посвятил ему книгу "Литературные изгнанники" (1913).

5. Ф.Н. Берг (1839-1909) — редактор "Русского Вестника" в 1888-1895 гг.

6. П.И. Бартенева (1829-1912) — историк, археограф. С 1863 г. издавал "Русский Архив".

ВОСПОМИНАНИЯ А.В. ТИМИРЕВОЙ

Вы просили меня написать о моей жизни. Говорили, что легче писать, обращаясь к кому-нибудь, — и что ж, это, может быть, правда. Момент благоприятен — августовский день тёпел, кругом суздальские поля, полоска леса на горизонте. Я лежу в тени терновых кустов, ветер шевелит ветки с синими ягодами. Начнем.

Я мало знаю о своих предках, мое представление о них начинается с деда и бабушек. Впрочем, на стене в маминой спальне висел портрет ее деда-священника, а потом Вышневолоцкого архиерея. Его сын, а мой дед по матери Вышнеградский кончил духовную семинарию, был сельским учителем, а каким образом он стал одним из основоположников русского машиностроения, директором политехнического института, а затем министром финансов при Александре III**, ничего этого я не знаю. На моей бабушке он женился, когда она была уже вдовой с несколькими детьми. Бабушка во втором браке была так счастлива, что основательно забыла о своем первом браке. Она как-то заметила в

* Анна Васильевна Тимирева (род. 18.VII.1893, Кисловодск — ум. 31.I.1975, Москва) — дочь известного русского музыкального деятеля Василия Ильича Сафонова. В первом браке была за Сергеем Николаевичем Тимиревым, впоследствии контр-адмиралом (ум. в 1933 г. в Шанхае), во втором — за композитором Книппером, племянником О.Л. Книппер-Чеховой.

** Иван Алексеевич Вышнеградский, в 1887-1892 министр финансов.

присутствии своей старшей дочери Веры: "Вот, говорят, что первый ребенок выходит неудачный. А чем плоха моя Сонечка?". Вера возразила: "Вы забываете, мамаша, что этот первенец у вас пятый по счету".

Я помню эту бабушку хорошенькой маленькой розовой старушкой в седом паричке — бабушка была лысой, чем она меня поразила, когда я раз ночевала у нее.

Но "настоящая" наша бабушка была Анна Илларионовна Сафонова, урожденная Фролова, мать отца. За деда, генерала конвоя, она вышла замуж по тем временам поздно, двадцати двух лет. Ее первый жених, с которым она была помолвлена 14-ти лет, был убит во время Кавказской войны.

Родом бабушка Сафонова была из станицы Червленной, а дед из станицы Ищорской. Анна Илларионовна образования не имела никакого, писала каракулями, но была женщиной тонкого ума, много читала, из Пушкина больше всего любила, кажется, "Анчара". Бабушка считала, что человек в своей жизни должен посадить хотя бы несколько деревьев и выкопать хоть один колодец. Нам, внукам, были отведены в саду участки, где мы и сажали, что хотели (потаскивая из большого цветника). На дороге между полустанком Минуткой и Подкумком бабушка велела выкопать колодец, чтобы проезжие могли напиться (воды под Кисловодском мало) и скот напоить — для скота стояла каменная колода.

Бабушка Сафонова не позволяла разрезать запутанные узлы, всегда заставляла их распутывать, чтобы приучить к терпению. Как-то она рассказала, как в старину цари выбирали невест. На царских смотринах девушкам давали спутанные нитки шелка, а царь в шелку подсматривал, как они с этим справляются. Если девушка дергала нитки и сердилась, то ее кандидатура отпадала.

Во время одного из походов казаки Шелковской станицы привезли себе из Турции пленных турчанок и переженились на них. Но те были женщины гаремного воспитания и палец о палец не хотели ударить. Зайдет прохожий, попросит: "Подай воды напиться!". А хозяйка лежит на постели и отвечает: "Вот придет Иван, он тебе и подаст". Так что стоило нам залениться, бабушка Сафонова говорила: "Ах ты, шелковская казачка!".

Своих лошадей, кроме старой Вороны, бабушка не держала. Но иногда нанимала кисловодского извозчика Илью Климова на пароконной коляске и возила нас катать, и чтоб непременно "через воду", переезжая речные мели. Сидя в коляске, мы наслаждались тем, как плещется под колесами вода, как видны сквозь нее мокрые камешки.

Когда мы, дети, ссорились и дрались — все бывало — она заставляла нас мириться прежде, чем мы пойдем спать, чтобы зла не оставлять на следующий день.

Бабушка Сафонова много знала и любила казачьи песни. А про русские говорила: "Что это за песня! — Ах ты, береза ты моя, береза, все были пьяны, ты одна твереза". Пьянство осуждала. Помню, как рассказывала об одном перепившемся казаке: "До того допился, что почернел, упал, а по нем синие огоньки забегали, — так и сгорел".

Иногда вдруг, сама генеральша, начинала стряпать и непременно станичные кушанья, вроде пирога с калиной, который моя мама называла "пирог с дровами" (из-за косточек), пресные пышки с чернушкой (душистое такое семя). Напечет перед самым обедом и накормит нас. Мама скажет: "Зачем вы, мамаша, детей не во время кормите?". Бабушка скажет: "Оставь, Варенька, дети должны есть, когда им хочется".

Бабушкина дочь, тетя Настя, присылала ей из Петербурга шляпы и черные вдовьи, с завязками из лент, кружевные наколки, которые бабушка носила дома. Как-то при свидании бабушка попеняла тете Насте: "Что же это ты, любезная, мать родную чучелой вырядила, прислала не шляпу, а какую-то башню?". "Маменька, — удивилась тетя Настя, — ведь в шляпу-то две наколки были вложены". Бабушка так их и пронесла вместе со шляпой.

Каждому из своих внуков бабушка Сафонова прочила блестящую будущность — "Ты мой Пушкин, ты — моя Патти". Ее зять Плеске как-то сказал: "Я спокоен за Россию: тринадцать великих людей ей обеспечено, это внуки Анны Илларионовны".

Она любила и часто повторяла слова Пятидесятого псалма — "Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей". Высокого строя души была женщина.

Семья моего отца, Василия Ильича Сафонова*, была большая. Я была шестым по счету ребенком. Старшие сестры, Настя и Саша, потом три брата — Ильюша, Сережа и Ваня, затем я и младшие сестры — Варя, Мария (Муля), Оля и Лена.

Я родилась в Кисловодске. Родители мои хотели, чтобы крестила меня бабушка Сафонова. Крестным отцом был Павел Иванович Харитоненко, большой папин друг, у которого папа крестил сына Ваню, моего ровесника.

Мое первое воспоминание — как меня вынесли на руках на балкон, внизу — огни, иллюминация по случаю коронации Николая II. Во время этой коронации мой дед, генерал Сафонов, нес балдахин над царем. Палка балдахина обломилась и всю тяжесть со своей стороны он вынес на руках. В том же году он умер от рака печени. В памяти моей от него осталась только седая борода на две стороны, когда он брал меня на руки. Когда он тяжело заболел, то любил, чтобы меня приводили к нему — "Без нее скучно".

Отрывочные воспоминания от Москвы. Круглая гостиная в доме Шмидта на Арбате, мое обожание старшей сестры Саши, во всех отношениях необычайно одаренной девочки, от которой можно было вытерпеть все, только бы она согласилась с тобой поиграть. Год, когда родители переезжали на квартиру в новом здании Консерватории, и два брата и я до поздней осени оставались в небольшом имении бабушки Сафоновой под Георгиевском — "Ильинки". И пришла телеграмма: "Настя больна, выезжайте". Вокзал в Москве, темный день, проливной дождь, молодая мама в трауре бежит по перрону нам навстречу и плачет.

Сестры умерли в одну неделю, Настя — от воспаления легких, а Саша — от воспаления брюшины. На время похорон нас отвезли в гостиницу "Дрезден". На этом месте сейчас стоит ре-

* В.И. Сафонов (род. 7.II.1852 г., ст. Ишорская — ум. 27.II.1918, Кисловодск), дирижер, пианист, композитор, в 1889-1905 гг. директор Московской Консерватории и Русского Музыкального Общества в Москве, в 1907-1908 гг. — директор National Conservatory of Music в Нью-Йорке. Учитель А. Скрыбина и многих других известных композиторов и музыкантов.

сторон "Арагви". Это было мрачное, темносерое, с темными коридорами и темными обоями здание. В это время, не помню какой добрый человек, подарил мне игрушку — Ноев Ковчег со всеми животными по паре.

В новой консерваторской квартире наша детская — большая, в три окна комната. Здесь живем мы — я, Варя, Муля и наша гувернантка, Людмила Николаевна (Никаша). Большой черный стол, под которым очень удобно играть, большой диван, на котором спит Людмила Николаевна, за ширмой у печки умывальный. Наши кровати. Над диваном полка, на ней икона и голубая лампадка, которая горит всю ночь. И бутылка с сиропом от кашля с красным крестом — "Сиролин" — это очень вкусно.

Папа и мама обитают на втором этаже. Туда мы приходим утром, к завтраку, к чаю, к обеду, но живем мы внизу.

В Газетном переулке, на углу Тверской — лавка игрушек Сафонова. Там продаются и сказки в издании Сытина, книжки по 10 копеек. Какие картинки, какие краски! Надо было иметь все сказки именно десятикопеечные, то, что дорогое — это уже не то.

По субботам, когда в консерватории бывали симфонические концерты, из окна нашей классной (довольно унылой комнаты) можно было видеть, как светится на большой лестнице витраж — св. Цецилия играет на органе. Это окно теперь заделано, и на его месте висит худшая из репинских картин — "Русские композиторы".

Мы воспитывались в церковном духе. Каждое воскресенье обязательно было ходить к обедне, в посту — говеть. Праздники были совсем особенными днями, к ним готовились все, особенно к Пасхе. В доме наводилась чистота и красота. А какое наслаждение красить яйца! Какой восторг, когда во время Пасхальной заутрени открываются запертые двери церкви и выходит крестный ход! И подарки. Дарили на праздники нам, и мы дарили сами папе и маме непременно что-нибудь, что сделали сами.

Завтрак. Открывается дверь, ведущая из Консерватории в нашу столовую, входит папа и всегда приводит с собой кого-нибудь. За столом — общий разговор, нам лучше помалкивать. Иногда нам капают в воду красное вино, оно не смешивается с водой, а лежит сверху — это "интересное вино". После завтра-

ка надо подойти к папе, и он даст тебе кусочек сахара из черного кофе. Ах, как вкусно!

Мама, та ближе. Утром она встречает нас в столовой, на ней халат с широкими рукавами, в рукав можно залезть с головой. Сердце тает, такая мама милая.

Есть еще тетя Настя, папина сестра. Она живет в Петербурге. Когда она приезжает — это праздник, она рассказывает сказки из "Тысячи и Одной Ночи" в собственной интерпретации. Мы слушаем, затаив дыхание. Она настоящая Шахерезада: прервет на самом интересном месте, уедет. А мы ходим, завороченные, до другого раза.

Брат Сережа — настоящий фантазер. Брат Ваня — каверзник, от него всегда можно ждать подвоха. Сережа очень добрый, возбудимый, нервный. Ваня толст и музыкален. Непрекращаемый авторитет — старший брат Ильяша, его слушают все и все любят. Он уже почти большой, играет на виолончели и в сумерки хорошо слушать его игру в гостинной.

Иногда мама поет, когда думает, что она одна. У нее прекрасный голос, она кончила Петербургскую консерваторию у Эверарди и первое время концертировала с папой и виолончелистом Давидом, когда они ездили в турне по России. Нам она пела детские песни Чайковского, казачью колыбельную "Как по морю, морю синему". Очень было жалко, когда ястреб убивал лебедушку, и приходилось прятаться за мамину спину, чтобы не было видно, что плачешь. Мы все пели хором, больше казачьи песни, которые очень любили. Я и до сих пор их люблю.

У папы всегда были какие-нибудь увлечения. Одно время это был лимонный сок. Не знаю, было ли это по предписанию врача, но папа и сам его пил и мы должны были пить. Мы подходили к нему за обедом по очереди и получали по рюмочке. Кислятина ужасная. Надо было пить и не поморщиться — мы пьем, а он смотрит, не делаем ли мы гримасы. Или возьмет руку и крепко жмет; смотришь ему в глаза и улыбаешься. Вообще у нас заплакать от боли, от ушиба считалось позорным — терпи, не подавай виду.

Я очень любила ездить верхом. Как-то в Кисловодске, где мы жили летом, в жаркий день поехала в степь, к Подкумку. Меня от жары разморило, я ехала, распустив поводья. Вдруг из-под

копыт лошади взлетел перепел. Лошадь испугалась, понесла, поводяев подобрать я не успела, вылетела из седла, а нога осталась в стремях. Меня порядком протащило по камням. Кое-как доехала до дому. От бедра до колена нога была черная от кровоподтека, каждое движение — мука. А сказать — нельзя, и хромать — нельзя: спросят, почему и, пожалуй, не пустят больше кататься верхом. Так я и проходила целую неделю не хромя и с веселым лицом.

У нас с братом Ваней было соревнование — это уже в порядке собственной инициативы — пробить лед в кадке с замерзшей водой и сунуть в дырку руку: кто дольше выдержит, тоже с веселым лицом. Воображаю, как бы нам влетело, если бы кто-нибудь из взрослых застал нас за этим занятием!

Восемь человек детей разного возраста и разных характеров — это была довольно буйная кампания. Всего было — и ссор, и драк, и бранились мы со злом. Но — это относится к общему духу семьи — вранье у нас было не в ходу и бездельниками мы не были. Я не помню, чтобы кто-нибудь из нас "гонял слонов". Если папа хотел нас пристыдить за какой-нибудь поступок, у него не было худшей укоризны, чем: "Это — неуважение к труду". И слышать это было очень стыдно.

Папиного идеала кротости и послушания достичь было невозможно. К этому идеалу приближалась мама. Помню, мы говорили ей: "Почему папа хочет, чтобы мы были такими кроткими — ведь мы же его дети?!".

А он был человек крутой и страстный, и возбуждал вокруг себя страсти. Были люди, которые его обожали, и другие, которые его ненавидели — удел всех, превышающих средний человеческий уровень.

Он постоянно был в разъездах, в турнэ. Пожалуй, я больше всего помню отца в Кисловодске. Он отдыхал, концертов не было, мы больше его видели. То есть, что значит — отдыхал? Последние годы, вернувшись опять к роялю, он проводил за ним большую часть времени. Когда же он не играл, то постоянно делал гимнастику пальцев для поддержания их гибкости, по своей системе: закладывал большой палец между двумя, сначала медленно, потом с молниеносной быстротой в различных комбинациях. У него была подагра, и он очень следил за своими

руками. Часто я делала ему маникюр и массаж рук.

Иногда после обеда, в Кисловодске, он собирал нас и ставлял петь под рояль хоралы Баха. Чаще всего мы пели хорал "Wer nur den Lieben Gott lässt walten". Сестра Оля говорила: "Нахоралились!". Как-то папа мне сказал: "Да ты хорошо ноты читаешь!" — "Нет" — "А как же ты поешь?" — "Ты ударишь клавишу, я сразу ноту и беру".

Иногда стиль музыки был не такой классический. Как-то братья, Ильюша-виолончелист, Ваня-скрипач и пианистка Мария Ивановна М. устроили вечером румынский оркестр. Играли всякую всячину из опереток. Папа слушал-слушал и не выдержал: взял бубен и стал подыгрывать. Замечательно подыгрывал и сам очень забавлялся.

На даче в Кисловодске за стол у нас садилось человек 15 — дети, домочадцы, постоянно кто-нибудь из гостей. Кухня у нас в доме всегда была хорошая, но не без вариаций. То вдруг папа заявит, что надо переходить на вегетарианство — к столу подают печеную картошку, кукурузу, кислое молоко, вегетарианские супы. Так продолжается недели две. В конце концов папа жалобно говорит маме: "Варенька, ты бы биточки заказала!".

В результате этого выступления папа получил прозвище "граф Сигаров-Биточкин" — за глаза, конечно. Посмели бы мы его так в глаза называть! Было у него от нас, детей, еще и другое прозвище — "Базили".

И снова начинается — кавказский борщ, перепела, шашлык, вырезка на вертеле. И огромные блюда вареников с вишнями. После обеда все переходили на террасу, в середине которой росло два больших каштана. Террасу расширили, а каштаны спилить пожалели, так и оставили. Там пили кофе, подавались арбузы и дыни с погребца, холодные в кавказскую жару. Обедали в Кисловодске в два часа. Затем часов до пяти, в самую жару, все сидели в своих комнатах с закрытыми ставнями. Всякий занимался, чем хочет. В пять часов — чай.

К этому времени по дорожке, поднимающейся из парка к нашему дому, начинается шествие посетителей. Какие-то дамы, которым папа с серьезным видом говорит комплименты, от которых, с нашей точки зрения, можно сгореть со стыда, до того они гиперболичны, — а им хоть бы что, всё принимают за

чистую монету. Приезжие музыканты, папины ученики, кого только нет! Постоянно Евсей Белоусов, которого папа очень любит, и братья с ним дружат. Он — неистощимый каламбурист. У него большие рыжие усы и открытое русское лицо. Он у нас называется Евсей-Евшлык. Подают пирог с ежевикой. "Вот тут и живи-ка!" — восклицает Евсей. Папа рассказывает какой-нибудь еврейский анекдот, потом смотрит на Евсея: "Прости, Евсеюшка, я все забываю..."

Чай — тяжелое для меня время. Я — старшая дочь. Молодая девушка должна разливать чай. А это не так просто — за столом опять 15 человек. Жарко, всем хочется пить. 15 человек — по две чашки — 30, а по три — сорок пять. У папы насчет чая свои принципы, в чашку надо наливать только из чайника, а не из самовара. Доливаешь чайник раз, другой, третий, а они все пьют, конца нет!

После чая — прогулка. Иногда отправляется все семейство. Папа с мамой идут по дорожке в парке, проложенной зигзагами. Мы ее называем Professoren — или Idioten-Weg. И сами лезем прямо в гору. Однако, теперь мне кажется, что Idioten-Weg имела свои достоинства.

Иногда папа любил дразнить маму. Сидим мы все за обедом, вдруг он начинает: "Дети, хотите, я вам расскажу, как мама расставляла мне сети?". Мама в негодовании. "Дело было в Карлсбаде, у Варвары Ивановны очень болела нога, и она все отставала...". Мама восклицает: "Василий Ильич!". "Ну я, как вежливый человек, конечно...".

Или другая вариация: "Дети, хотите, я вам расскажу, как мама мне делала предложение?". Тот же эффект, продолжения не следует. Больше всего мама негодовала, видимо, потому, что для этого рассказа были веские основания. Сестра уже после смерти и отца и мамы нашла в его письменном столе мамино письмо, полностью их подтверждающее.

...Папа на вокзале. Он всегда уезжает. Мама и все мы стоим на перроне. Второй звонок. Папа на площадке вагона ждет третьего. Три удара колокола. Папа спускается с площадки на перрон и начинает прощаться с мамой. Поезд медленно трогается. "Васенька, ради Бога!" — мама в панике. Папа влезает в вагон, страшно довольный, что напугал.

Так как отец был постоянно в разъездах, телеграммы у нас были делом самым обычным. Из заграницы он посылал русский текст латинскими буквами. Помню телеграмму из Лондона в Кисловодск: "Tuman, sygo, zaviduju wam". В Петербурге у него был даже условный адрес для телеграфа: "St. Petersbourg Fanofas".

У папы была какая-то особая дружба с братом Сережей. Сережа был мальчик очень своеобразный, ко всему подходил со своей меркой. Даже арифметические задачи он решал совершенно необычным (очень запутанным) способом. Отца Сережа просто обожал — не по музыкальной линии. Кажется, один из всех нас Сережа обладал полным отсутствием слуха. Папа долго бился, чтобы выучить его петь, не фальшивя, арию мельника из "Русалки". И это был единственный мотив в Сережиной жизни, который он мог повторить, не перевирая. Зато стихи, которых Сережа знал множество и выбирал с безупречным вкусом, он пел, перелагая на какую-то дикую мелодию, чем изводил всех окружающих.

Папа очень хотел, чтобы Сережа отбывал воинскую повинность в казачьих войсках. Отец никогда не переставал себя чувствовать коренным казаком, он и числился казаком станицы Кисловодской (по месту жительства, переведясь из станицы Ищорской). Но Сережа категорически отказался, потому что "в случае революции казачьи части могут послать на усмирение". Он отбывал повинность в драгунском Нижегородском полку в Тифлисе, с ним же пошел на войну 1914 года. Он и погиб на этой войне.

Необыкновенной честности был человек. Летом 1915 года я виделась с Сережей в последний раз в Петрограде. Он ехал с Кавказа на Западный фронт, уже офицером, переведясь из кавалерии в пехотный полк. Когда я спросила Сережу, почему он это сделал, он ответил: "Видишь ли, в пехоте большая убыль офицеров. Кроме того, я думаю, что у меня недостаточно быстрое соображение, чтобы командовать артиллерийской частью — я могу подвести своих людей".

Через два месяца он умер от ран, не сознавая, что умирает, по дороге в Петроград, куда его эвакуировали. В бреду все говорил, что сейчас к нему приедет сестра (я). Мне рассказывал об

этом ехавший с ним товарищ, тоже раненый. Мы вдвоем с отцом встречали на вокзале его гроб — все остальные из семьи были в Кисловодске.

Мне кажется, что именно с этих дней у папы стали такие печальные глаза, как на последних его портретах. Он не плакал — по крайней мере на людях. И я помню, как на панихиде в полку, где служил брат, он спросил: "Шел ли полк в наступление?". (Брат был ранен стоя, в живот). Совсем недавно мне рассказали, как папа, провожая Сережу на фронт в самом начале войны, сказал, вернувшись домой: "Вот, я дожил до счастливого дня, когда мой сын идет защищать родину". У него это была не фраза, так он думал и так чувствовал.

Весной 1915 г. мама уехала в Кисловодск красивой пожилой женщиной, а вернулась в Петроград после смерти брата маленькой старушкой. Есть фотография, снятая на Кисловодском вокзале — встреча гроба с телом брата (он похоронен в Кисловодске, там же, где дед и бабушка и где были похоронены отец и мама, недолго пережившая отца). Тело брата привез его вестовой, живший после этого некоторое время у нас в семье. После революции он писал маме: "Как Сережа был бы рад!"

Перед тем, как стать невестой отца, мама была влюблена в Блока, отца поэта, который очень за нею ухаживал. Но так как ее родители были очень против этого претендента, то сочли за благо увезти ее подальше от греха, и уехали с нею за границу, в Карлсбад. Там она и встретила с папой и в конце концов вышла за него замуж. Вероятно, Блок-старший был сильно в нее влюблен, так как потом женился на Бекетовой, очень похожей на маму. Только та была маленькая, а мама хорошего среднего роста.

"Я не могу о всех вас сразу беспокоиться, — говорила нам мама, — но о ком-нибудь из вас — всегда. Тот болен, у этого с учением плохо, тот проявляет дурные наклонности, эти ссорятся". И помимо этого, ей приходилось иметь дело со всеми артистами, бывавшими у нас в доме, поддерживать огромное знакомство, вести наш большой дом.

Мама была очень тактичный человек. Помню, как она ходила по комнате после первого представления оперы Ипполи-

това-Иванова "Измена": — "Ну что я ему скажу?". Михаила Михайловича она любила, папа был дружен с ним долгие годы, а опера была скучнейшая. Наконец, мама решила и взяла телефонную трубку. Мы слушали ее разговор с Ипполитовым-Ивановым с восхищением — "Знаешь, мама, это просто фокус, как это тебе удалось сказать столько хорошего и при этом нисколько не наврать?".

На папиных концертах в Петербурге ей приходилось сидеть в первом ряду с Юлией Федоровной Абаза, которая ни одного папиного концерта не пропускала. На моей памяти это была уже старая дама в каких-то серых вуалях, настоящая "Пиковая Дама" — так ее и звали. Ю.Ф. отличалась необыкновенной бесцеремонностью и всегда очень громко высказывала маме свое мнение о выступавших артистах, далеко не всегда лестное. Бедная мама не знала, куда деваться, ведь ей с этими артистами постоянно приходилось иметь дело, а артисты, как известно, народ обидчивый. Мы панически боялись этой Абазы: приходилось подходить к ней здороваться, а она всегда что-нибудь неприятное да скажет.

Мама была умница. Помню, как-то все мы сидели за столом и разговаривали. Она слушала-слушала, а потом рассмеелась и сказала: "Эх вы, даже сплетничать не умеете!".

Помню, как папа взял меня с собою в заграничную поездку, мне было тогда неполных 16 лет. Ехали мы на пароходе до Стокгольма, потом в Копенгаген и затем к маме в Берлин, где она лечилась. Тут папа и стал высчитывать маме все мои промахи: "Аня совершенно не умеет себя вести в обществе". Мама с некоторым страхом спросила: "Да что же она такое сделала?". Главное мое прегрешение было то, что когда мы с папой были у русского посла в Копенгагене, я на его вопрос: учатся ли мои братья в Лицее (он был папиным товарищем по Лицею) — ответила, что мои братья в привилегированном заведении учиться не хотят, что было совершенной правдой. Мама вздохнула с облегчением: "Ну, это еще ничего".

Интересная это была поездка с папой по Скандинавии. На пристань меня пришел провожать мальчик, в которого я была влюблена, и принес мне большую коробку конфет. Наутро, выйдя на палубу, я увидела такую картину: в шезлонге с самым

Satonoff



В.И. Сафонов

небрежным видом лежит папа, рядом на кончике стула сидит какая-то дама и смотрит на него с подобострастным восхищением, а папа скармливает ее двум детям, которые мне показались омерзительными, мои драгоценные конфеты.

По дороге из Гельсингфорса в Стокгольм папа познакомился с финским композитором Каянусом, очень красивым человеком с золотой бородкой, и сразу объединился с ним за бутылкой коньяку, так что они просидели в каюте до поздней ночи. А я смотрела на розовые, в свете белой ночи, шхеры, поросшие редкими соснами. Слышно было, как бегущие от парохода волны разбиваются о прибрежный гранит. В Стокгольме мы были в цирке, смотрели на львов и казачью джигитовку — стоило для этого ехать в Стокгольм! Папа вообще любил цирк и дома иногда говорил нам за обедом: "Ну, дети, мы сегодня поедем в

цирк Чинизелли! Мы — в восторге. Затем папа ложился на диван, на минутку, закрывался газетой. Увы, дело часто этим и кончалось. А у мамы при виде зверей с укротителем холодел от ужаса нос...

В 1922 году я вернулась в Москву, жила с братом Ильюшей в его комнате. Ни у него, ни у меня денег не было, а очень хотелось слышать музыку. Вот мы и ходили к коменданту Консерватории за контрамарками на концерты. Он был наш старый знакомый, работал давно, при папе, монтером в Консерватории и приходил к нам ставить на елку цветные лампочки, а с его детьми мы играли во дворе, устраивали бега на приз — апельсин.

Очень был милый человек. Когда я в первый раз пришла к нему, он стал рассказывать, как в начале революции снял и спрятал для сохранности все портреты. Теперь они опять висели на старых местах. Он говорил: "Вот Василий Ильич был бы доволен, похвалил бы меня"...

2

Мне 74 года. Остается так мало времени. Если я не буду писать сейчас, вероятно, не напишу никогда. Это не имеет отношения к истории, это просто рассказ о том, как я встретила человека, которого я знала в течение 5 лет, с судьбой которого

я связала свою жизнь навсегда.

18 лет я вышла замуж за своего троюродного брата С.Н. Тимирева. Еще ребенком я видела его, когда, проездом в Порт-Артур — шла война с Японией, — он был у нас в Москве. Он был много старше меня, красив, герой Порт-Артура. Мне казалось, что люблю — что мы знаем в 18 лет? В начале войны с Германией у меня родился сын, а муж получил назначение в штаб Командующего флотом адмирала Эссена. Мы жили в Петрограде, ему пришлось ехать в Гельсингфорс. Когда я провожала его на вокзале, мимо нас стремительно прошел невысокий, широкоплечий офицер. Муж сказал мне: "Ты знаешь, кто это? Это Колчак-полярный. Он недавно вернулся из северной экспедиции".

У меня осталось только впечатление стремительной походки, энергичного шага.

Познакомились мы с Колчаком уже в Гельсингфорсе, куда я приехала на три дня к мужу, осмотреться и подготовить свой переезд с ребенком.

Нас пригласил товарищ мужа, Николай Константинович Подгурский, тоже порт-артурец. И Александр Васильевич Колчак был там. Война на море непохожа на сухопутную: моряки или гибнут вместе с кораблем, или возвращаются из похода в привычную обстановку приморского города. И тогда для них — это праздник.

Я приехала в Гельсингфорс из Петрограда 1914-1915 годов, где не было знакомого дома не в трауре — в первые же месяцы уложили гвардию. Почти все мальчики, с которыми мы встречались в ранней юности, погибли. В каждой семье кто-нибудь был на фронте, от кого-нибудь не было вестей, кто-нибудь ранен. И все это камнем лежало на сердце.

А тут люди были другие — они умели радоваться, я же с начала войны об этом забыла. Мне был 21 год, с меня будто сняли мрак и тяжесть последних месяцев, мне стало легко и весело.

Не заметить Ал. Вас. было нельзя — где бы он ни был, он всегда был центром. Он прекрасно рассказывал, и о чем бы ни говорил — даже о прочитанной книге — оставалось впечатление, что все это им самим пережито. Как-то так вышло, что весь вечер мы провели рядом. Долгое время спустя я спросила его,

что он обо мне подумал тогда, и он ответил: "Я подумал о вас то же самое, что думаю сейчас".

Он входил — и все кругом делалось как праздник, — как он любил это слово! Встречались мы не часто — он был флаг-офицером по оперативной части в штабе Эссена и лично принимал участие в операциях на море, потом, когда командовал минной дивизией — тем более. Он писал мне позже: "Когда я подходил к Гельсингфорсу и знал, что увижу вас — он казался мне лучшим городом в мире".

К весне я с маленьким сыном окончательно переехала в Гельсингфорс и поселилась в той же квартире Подгурского, где мы с ним встретились в первый раз. После Петрограда мне все нравилось — красивый, очень удобный, легкий какой-то город. И близость моря, и белые ночи — просто дух захватывало. Иногда, идя по улице, я ловила себя на том, что начинаю бежать бегом.

Тогда же в Гельсингфорс перебралась и семья Александра Васильевича — жена и пятилетний сын Славушка. Они остановились пока в гостинице и так как А.В. бывал у нас в доме, то он вместе с женой сделал нам визит. Нас они не застали, оставили карточки, и мы с мужем должны были ответить тем же. Мы застали у Колчаков еще несколько людей, знакомых и им и нам.

Софья Федоровна Колчак рассказывала о том, как они выбирались из Либавы, обстреливаемой немцами, очень хорошо рассказывала. Она была высокая и стройная женщина, лет 38, наверное. С.Ф. очень отличалась от других жен морских офицеров, была более интеллектуальна, что ли. Мне она сразу понравилась, может быть потому, что и сама я выросла в другой среде — мой отец был музыкантом, дирижером и пианистом, семья была большая, другие интересы, другая атмосфера. Вдруг отворилась дверь и вошел Колчак — только маленький, но до того похож, что я прямо удивилась, когда раздался тоненький голосок: "Мама!". Чудесный был мальчик.

Летом мы жили на даче на острове под Гельсингфорсом, там же снимали дачу и Колчаки. На лето все моряки уходили в море, виделись мы с С.Ф. и Славой часто и всегда это было интересно. Я очень любила Славушку, и он меня тоже. Помню, я как-то пришла к ним и он меня попросил: "Анна Васильевна,

нарисуйте мне, пожалуйста, котика, чтоб на нем был красный фрак, а из-под фрака чтоб виден был хвостик!". С.Ф. вздохнула и сказала: "Вылитый отец!".

Осенью в городе я продолжала часто видеться с С.Ф. и редко — с Ал. Вас., который тогда уже командовал дивизией, базировавшейся на Ревель и в Гельсингфорсе бывал только наездами. Я была молодая и веселая тогда, знакомых было много, были люди, которые за мной ухаживали, и поведение Ал. Вас. не давало мне повода думать, что отношение его ко мне было более глубоко, чем у других.

Но запомнилась одна встреча. В Гельсингфорсе было затемнение — война. Город еле освещался синими лампочками. Шел дождь и я шла по улице одна и думала о том, как тяжело все-таки на всех нас лежит война, что мой сын еще маленький и как страшно иметь еще ребенка — и вдруг увидела Ал. Вас., шедшего мне навстречу. Мы поговорили минуты две, не больше. Договорились, что вечером встретимся в компании друзей, и разошлись. И вдруг я отчетливо подумала: "Вот с этим я ничего бы не боялась". И тут же себе попеняла — "Какие глупости могут человеку прийти в голову!"

Когда бы мы ни встретались, всегда выходило так, что мы оказывались рядом, не могли наговориться и Ал. Вас. всегда говорил: "Не надо, знаете ли, расходиться, кто знает, будет ли еще когда так хорошо, как сегодня". Все уже устали, а нам, и ему и мне, всё было мало, нас несло, как на гребне волны. Так хорошо, что ничего другого и не надо было.

Только как-то раз на одном вечере, он вдруг стал усиленно ухаживать за другой дамой, и немолодой и некрасивой, и даже довольно неприятной, а мне стал рассказывать о ее совершенствах. Тогда я ему рассказала сказку Уэллса о человеке, побывавшем в царстве фей. Фея полюбила его, а он ей, не умолкая, рассказывал о своей невесте, о том, как они купят зеленую тележку и будут в ней разъезжать и торговать всякой мелочью. Фея поцеловала и отпустила его, и он проснулся на том же холме. И с тех пор никак не мог забыть фею, невеста казалась ему топорной, все было не так. А попасть обратно в царство фей ему уже не удалось.

Рассказала я в шутку, но Ал. Вас. задумался.

Все шло по-прежнему — встречи, разговоры — и каждый раз — радость встречи. На одном из вечеров в собрании все дамы были в русских костюмах, и он попросил меня сняться в этом костюме и дать ему карточку. Портрет вышел хороший, и я ему подарила. Правда, не только ему, но и нескольким близким друзьям. Потом один знакомый мне сказал: "А я видел ваш портрет у Колчака в каюте". "Ну что ж такого, — ответила я, — этот портрет не только у него". — "Да, но в каюте у Колчака был только ваш портрет и больше ничего".

Потом Ал. Вас. попросил у меня карточку меньшего размера, "так как большую он не может брать с собой в походы".

Так прошли 1915 и 1916 годы до лета. Сыну моему было почти два года, я жила на даче с большим моим другом, Евгенией Ивановной Крашенинниковой и ее детьми, у сына была няня, и я решила съездить в Ревель к мужу на день своего рождения — 18 июля. На пароходе я узнала, что Колчак назначен командующим Черноморским флотом и вот-вот должен уехать к месту назначения.

В тот же день мы были приглашены на обед к Подгурскому и его молодой жене. Подгурский сказал, что Ал. Вас. тоже приглашен, но очень занят, т.к. сдает дела минной дивизии и вряд ли сможет быть. Но он приехал. Приехал с цветами хозяйке дома и мне, и весь вечер мы провели вместе. Он просил разрешения писать мне, я разрешила. И целую неделю мы встречались — с вечера и до утра. Все собрались на проводы: его любили.

Морское собрание — летнее — в Ревеле расположено в Екатеринентале. Это прекрасный парк, посаженный еще Петром Великим в честь его жены Екатерины. Мы то сидели за столом, то бродили по аллеям парка и никак не могли расстаться...

Я пишу урывками, потому что редко остаюсь одна, потому что надо писать со свежей головой, а не тогда, когда уже устанешь от всякой бестолковой домашней работы, от всего, что на старости лет наваливается на плечи. Так и живешь двойной жизнью — тем, что надо, необходимо делать и тем, о чем думаешь. Но был ли день за все мои долгие годы, чтоб я не вспоминала то, что было мною прожито с этим человеком...

Мне было тогда 23 года, я была замужем пять лет, у меня был двухлетний сын. Я видела его редко, всегда на людях, я была дружна с его женой. Мне никогда не приходило в голову, что наши отношения могут измениться. А теперь он уезжал надолго, очень могло быть, что мы никогда больше не встретимся. Я думаю, если бы меня разбудить тогда ночью и спросить, чего я хочу, я сразу бы ответила: "Видеть его".

Я сказала ему, что люблю его: "Я всегда хочу вас видеть, всегда о вас думаю, для меня такая радость видеть вас, вот и выходит, что люблю вас". И он сказал: "Я вас больше, чем люблю". Так мы и продолжали ходить рука об руку, то возвращаясь в залу Морского собрания, где были люди, то опять бродя по каштановым аллеям Екатериненталя. Нам и горько было, что мы расстаемся, и мы были счастливы, что сейчас вместе — и ничего больше было не нужно.

Потом он уехал. Провожало его на вокзале много народу. Мы попрощались, Ал. Вас. подарил мне фотографию, где был снят в группе со своими товарищами по Балтийскому флоту.

Вот и конец. Будет ли он писать мне, я не была уверена. Другая жизнь, другие люди. Я знала, что он увлекающийся человек.

Я вернулась в Гельсингфорс, на дачу, где жила вместе с семьей Крашенинниковых. Там же жила и семья Колчака. Недели через две, вечером, все мы сидели на ступеньках террасы. Мой муж и муж Е.И. Крашенинниковой были у нас наездом. Вдруг подошел огромного роста матрос Черноморского флота в сопровождении маленькой горничной С.Ф. Колчак. А.В. даже не знал моего дачного адреса. Матрос передал мне письмо и сказал, что адмирал просил ответа. Эффект был необычайный.

Письмо было длинное, времени было мало. Я даже не успела прочитать его как следует, написала несколько строк и отдала их матросу. Письмо прочла позже, муж возвращался на корабль, я должна была его проводить. Но скрыть того, как я счастлива, было невозможно, я просто пела от радости. Вернувшись, я стала читать письмо. Оно начиналось со слов: "Глубокоуважаемая Анна Васильевна!" и кончалось "да хранит вас Бог, Ваш А. Колчак". Он писал это письмо несколько дней — в ставке у царя, потом в море, куда он вышел сразу по приезде в Сева-



А.В. Тимирева

стополь, преследуя немецкий крейсер "Бреслау". Это письмо пропало, как и все его письма. Он писал о задачах, которые поставлены перед ним, о том, как он мечтает когда-нибудь опять увидеть меня. Тон был очень сдержанный, но я была поражена силой и глубиной чувства, которым письмо было проникнуто. Этого я не ожидала, я не была самоуверенной.

На другой день я встретила в знакомом доме с С.Ф. Колчак и сказала ей, что получила очень интересное письмо от Александра Васильевича. Впрочем, она это знала, т.к. письмо пришло не по почте, а одновременно с письмом, которое получила и она — с матросом. Мы продолжали видеться на даче. Слава, тогда шестилетний, сказал мне: "Знаете, Анна Васильевна, мой папа обстрелял "Бреслау", но это не значит, что он его потопил". Впрочем это был последний рейс "Бреслау" в Черное море — выход из Босфора был заминирован так, что это было уже невозможно для немцев.

Письма от Ал. Вас. приходили часто, дня через три — то по почте, то с оказией, через Генеральный Штаб, где работал большой мой друг, В. Романов, приехавший в командировки в Гельсингфорс. Однажды он меня спросил: "Что же из всего этого выйдет?". Я ответила, что ведь он привозит письма не только мне, но и Софье Федоровне. "Да, — сказал он, — но только те письма тоненькие, а ваши — такие толстые."

С.Ф. Колчак собиралась ехать в Севастополь. Жили они очень скромно и ей надо было многое сделать и купить, чтобы к приезду иметь вид, подобающий жене командующего флотом. Мы много вместе ходили по магазинам, на примерки.

Она была очень хорошая и умная женщина и ко мне относилась хорошо. Она, конечно знала, что между мной и Ал. Вас. ничего нет, но знала и то, что что-то есть, и это очень серьезно. Много лет спустя, когда все уже кончилось так ужасно, я встретила в Москве с ее подругой, вдовой адмирала Развозова и та сказала мне, что еще тогда С.Ф. говорила ей: "Вот увидите, что Ал. Вас. разойдется со мной и женится на Анне Васильевне". А я тогда об этом и не думала: Севастополь был далеко, ехать туда я не собиралась, но жила от письма до письма, как во сне, не думая ни о чем больше...

...Это имеет мало отношения к тому, о чем я пишу, а вот

вспоминается. Было это в самом начале знакомства с Колчаками. Ал. Вас. редко бывал в Гельсингфорсе. Был чудесный зимний день, я как-то зашла к С.Ф., застала ее в постели: "Поедьте кататься, день такой прекрасный!". Она быстро оделась, мы взяли извозчицьи санки и поехали. Тихо, мороз, все деревья в Брумст Парке в инее. И вдруг — музыка. Мы жили еще по старому стилю и забыли, что сегодня — западный Сочельник. Кирха ярко освещена, белые деревья в зимних сумерках, как золотые. Мы вошли в кирху — полно народа, красные тюльпаны и свечи, ясли с восковым младенцем. Музыка, и все вместе — такое очарование, как во сне. Ах нет, этого не расскажешь.

В другой раз мы с С.Ф. поехали кататься по заливу. День был как-будто теплый, но все-таки я замерзла. С.Ф. сняла с себя великолепную чернобурую лисицу, надела мне ее на плечи и сказала: "Это подарок Александра Васильевича". "Я не знала, что он такой теплый и мягкий", — сказала я. Она посмотрела на меня, как мне показалось, с пренебрежением: "Многого вы еще не знаете, прелестное молодое существо".

И правда, ничего я не знала, никогда не думала, чем станет для меня этот человек. И до сих пор, когда Софьи Федоровны давно уже нет в живых, мне все кажется, что если бы довелось нам встретиться, мы бы не были врагами. Что бы то ни было, я рада тому, что на ее долю не выпало всего того, что пришлось пережить мне, так все-таки лучше...

Осенью С.Ф. уехала с сыном в Севастополь, а мы переехали в Ревель. Жили мы в Вышгороде, снимая квартиру в доме барона Розена. Оттуда был широкий вид на Ревель, порт и Екатериненталь. Каждый день я выходила встречать почтальона. Иногда он говорил мне извиняющимся тоном: "Сегодня письма нет". Вероятно, все было написано у меня на лице. В эту зиму у меня бывало много народа, но когда все расходились, я выходила одна на узенькие улицы Вышгорода, садилась на скамейку у Домкирхе и долго сидела, смотря на звезды в просвете веток и зная, что приду домой, перечитаю последнее письмо и буду писать ответ, и очень была счастлива.

Осенью 1916 года на рейде Севастополя произошел взрыв на броненосце "Императрица Мария". Я была тогда в Петрограде, письмо получила через штаб. Уже по почерку на конверте

я знала, какого рода будет письмо. Тут у меня сердце сразу упало. Ал. Вас. писал о том, как с момента первого взрыва он был на корабле. "Я распоряжался совершенно спокойно и, только вернувшись, в своей каюте, я понял, что такое отчаяние и горе, и пожалел, что своими распоряжениями предотвратил взрыв порохового погреба, тогда все было бы кончено. Я любил этот корабль, как живое существо, я мечтал когда-нибудь встретить вас на его палубе". Он был совершенно потрясен этим несчастьем. Отчего это произошло, так это и осталось неизвестным — тогда, но корабль погиб.

Вскоре я встретила с адмиралом Альфатером, который говорил, что Колчак совершенно не в себе, может говорить только о гибели "Императрицы Марии".

В начале февраля 1917 г. мой муж, С.Н. Тимирев, получил отпуск и мы собирались ехать в Петроград, — мой муж, я и мой сын с няней. Но в поезд сесть нам не удалось — с фронта лавиной шли дезертиры, вагоны были забиты, солдаты на крыше. Мы вернулись домой и пошли к вдове адмирала Трухачева, жившей в том же доме, этажом ниже. У нее сидел командующий Балтийским флотом, адмирал Адриан Иванович Непенин. Мы были с ним довольно хорошо знакомы. Видя мое огорчение, он сказал: "В чем же дело? Завтра в Гельсингфорс идет ледокол "Ермак", через четыре часа вы будете там, а оттуда до Петрограда доберетесь поездом". Так мы и сделали.

В Финляндии уже плоховато было с продовольствием, мы купили в Ревеле всяких колбас и сели на ледокол. Накануне отъезда я получила — в день своих именин — корзину ландышей от Ал. Вас. — он заказал их по телеграфу. Мне было жалко их оставлять, я срезала их все и положила в чемодан. Мороз был лютой, лед весь в торосах, ледокол одолевал торосы с трудом и вместо 4-х часов мы шли больше двенадцати. Ехало много женщин, жен офицеров с детьми. Когда в Гельсингфорсе я открыла чемодан, оказалось, что все мои ландыши замерзли. В Морском собрании был какой-то вечер — последний вечер перед революцией.

В Петроград мы приехали в двадцатых числах февраля, в квартиру моих родителей. Уже не хватало хлеба, по улицам шли толпами женщины, требуя хлеба, разъезжали конные патрули,

не зная, что с этими толпами делать, а те, встречая войска, кричали "Ура!" В эти дни я несколько раз бывала в Государственной Думе. Последним после разных речей вышел Керенский и сказал: "Вы тут разговариваете, а рабочие уже вышли на улицу — пошлѐ."

Моя сестра Ольга училась в это время в театральной студии Мейерхольда. В Александринском театре ставился "Маскарад" Лермонтова, все студийцы участвовали, как мимансы, сестра тоже. Несмотря на то, что на улицах было уже очень беспокойно, мы все поехали на генеральную репетицию. Душевное состояние было невыносимо тревожное, но зазвучала музыка и в прорезе занавеса начали двигаться маски. Все тревожное, уличное сразу забылось. Этот спектакль, может быть, лучший из всех, которые я видела в жизни.

А на улицах уже постреливали. Революция — февральская — шла полным ходом. Мой муж срочно уехал в Ревель на корабль, которым тогда командовал. В Гельсингфорсе был убит адмирал Непенин, убит зверски, убито несколько знакомых мне офицеров. В Кронштадте тоже. Что в Ревеле — неизвестно. Что в Севастополе — неизвестно.

К нам приходили с обыском, искали оружие — взяли дедовский кремневый пистолет и лицейскую шпагу отца.

Мы ехали во Владивосток — мой муж Тимирев вышел в отставку и был командирован советской властью туда для ликвидации военного имущества флота. Брестский мир был заключен, война окончена.

В Петрограде — голод, 50 грамм хлеба по карточкам, остальное — что достанешь. А в вагоне-ресторане на столе тарелка с верхом хлеба. Мы его немедленно съели. Поставили другую — и ее тоже съели. А по дороге, на станциях, продают невиданные вещи — молоко, яйца, лепешки. И все время мысль — вот бы послать тем, кто остался в Петрограде и так голодает.

Была весна, с каждым днем становилось все теплее и была полная неизвестность, на что мы, в сущности, едем, что из всего этого выйдет. А события, тем временем, шли своим ходом: начиналась гражданская война, на Дону убит Корнилов, восстание чешских войск, следующих эшелонами на Восток. В вагоне с на-



*Адмирал А.В. Колчак
(1874 — 1920)*

ми ехала семья Крашенинниковых, наши друзья. Еще какая-то девушка Женя, с которой я подружилась, ехала в Харбин к родителям. Ехали два мальчика-лицеиста, Баумгартен и Герарди. Остановки долгие, города мне незнакомые, все было интересно, все хотелось посмотреть.

В Иркутске задержка — началось восстание в Черемховских копиях, никого дальше не пускают. Тут-то мальчишки-лицеисты и пригодились. Уж не знаю как, им удалось организовать совершенно липовую китайско-американскую миссию и получить под нее вагон. Состав этой миссии был по их выбору — все мы туда попали. Время было фантастическое.

И вот мы едем по Амурской колесухе, кое-как построенной каторжниками. Красиво, дух захватывает. Вербная неделя, на станциях видим, как по гребням холмов идут со свечами люди со Всенощной. В Хабаровске я и девушка Женя побежали смотреть город. Город пестрый, то большие дома, то пустыри, по улицам ходят свиньи — черт знает, что такое. Тут я повстречалась с лейтенантом Рыбалтовским. Когда-то он плавал под командой моего мужа, мы были знакомы, даже приятели. "Что вы здесь делаете?" — "Да так как-то попал. Вот хочу перебраться в Харбин". — "Зачем?". — "А там сейчас Колчак".

Вероятно, я очень переменялась в лице, потому что Женя посмотрела на меня и спросила: "Вы приедете ко мне в Харбин?" Я, ни минуты не задумываясь, ответила: "Приеду". Страшная вещь — слово. Пока оно не сказано, все может быть так или иначе, но с той минуты я знала, что иначе быть не может.

Последнее письмо от Ал. Вас. — через Генеральный Штаб — я получила в Петрограде вскоре после Брестского мира. Он писал, что пока не закончена мировая война, он не может стоять в стороне от нее, что за позорный Брестский мир Россия заплатит страшной ценой — в чем оказался совершенно прав. Был он в то время в Японии. Он пошел к английскому послу лорду Грею и сказал, что хочет участвовать в войне в английской (союзной России) армии. Они договорились о том, что Ал. Вас. поедет в Месопотамию, на турецкий фронт, где продолжались военные действия.

Но события принимали другой оборот. В Харбине тогда царь и бог был генерал Хорват — формировались воинские час-

ти для борьбы против советской власти. Ал. Вас. решил посмотреть на месте, что там происходит. Так он оказался в Харбине. В последнем письме он также писал, что где бы я ни была, я всегда могу о нем узнать у английского консула, и мои письма будут ему доставлены.

И вот мы во Владивостоке. Первое, что я сделала — написала ему письмо, что я во Владивостоке и могу приехать в Харбин. С этим письмом я пошла в английское консульство и попросила доставить его по адресу. Через несколько дней ко мне зашел незнакомый мне человек и передал мне закатанное в папиросу мелко-мелко написанное письмо Ал. Вас. Он писал: "Передо мной лежит ваше письмо и я не знаю — действительность это или моя фантазия".

Тогда же пришло письмо от Жени. Она звала меня к себе, у нее были личные осложнения, и она просила меня помочь ей: "Приезжайте немного и для меня". Я решила ехать. Мой муж спросил меня: "Ты вернешься?" Я ответила: "Вернусь".

Я так и думала, я только хотела увидеть Ал. Вас., ничего больше. Я ехала, как во сне. Стояла весна, все сопки цвели черемухой и вишней — белые склоны, сияющие белые облака. О своем приезде я известила Ал. Вас., но на вокзале меня встретила Женья, сказав, что Ал. Вас. в отъезде, и увезла меня к себе.

Когда я, наконец, встретилась с Ал. Вас., мы не узнали друг друга: я была в трауре, т.к. недавно умер мой отец, он был в защитного цвета форме. Такими мы никогда друг друга не видели. Чтобы встретиться, мы с двух сторон объехали земной шар. И мы нашли друг друга.

Вот я пишу, что же я пишу, в сущности? Это никакого отношения не имеет к истории тех грозных лет. Все, что происходило тогда, что затрагивало нашу жизнь и в чем Александр Васильевич принимал участие в силу обстоятельств и своей убежденности, не втягивало меня в активное участие в происходящем. Для меня он был человеком, смелым, самоотверженным, до конца правдивым, любящим и любимым. За все то время, что я знала его — пять лет — я не слыхала от него ни одного слова неправды, он просто не мог мне ни в чем солгать. Все, что пытаются писать о нем на основании документов, ни в какой мере не отражает его, как человека больших страстей, глубоких

чувств и совершенно своеобразного склада ума.

В Харбине он стал бывать у меня, в той семье, где я жила. Потом он попросил меня переехать в гостиницу. Днем он был занят, мог приходиться только вечером, и всегда это была радость.

Время шло, мне пора было уезжать обратно во Владивосток к мужу, я ведь обещала вернуться. Как-то я сказала Ал. Вас., что пора ехать, а мне не хочется. "А вы не уезжайте", — сказал он. Я приняла это за шутку, но шуткой это не было. — "Останьтесь со мной, я буду вашим рабом, буду чистить ваши ботинки, вы увидите, какой это удобный институт". Я только смеялась. Но он постоянно возвращался к этому. Наконец, я сказала: "Конечно, человека можно уговорить, но что из этого выйдет?". — "Нет, уговаривать я вас не буду, вы сами должны решить".

У Колчака начались трения с Хорватом, которого он терпеть не мог: "И по виду и по качеству старая швабра". Ал. Вас. приходил замученный, совсем перестал спать, нервничал. Как-то мы сидели поодаль друг от друга и разговаривали. Я протянула руку и коснулась его лица. И в то же мгновение он заснул. А я сидела, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить его, смотрела на его измученное лицо. И тут я поняла, что никогда не уйду от него, что, кроме этого человека, нет у меня ничего, и мое место — с ним.

Мы решили, что я уеду в Японию, а он приедет ко мне. А пока я напишу мужу, что не вернусь, что остаюсь с Ал. Вас. Единственное условие было у меня — мой сын должен быть со мной (в то время он жил в Кисловодске у моей матери). "Что ж, — ответил Ал. Вас., — в таких случаях ребенок остается с матерью". И тут я поняла, что он тоже порвал со своей прошлой жизнью, а ему это было нелегко, он очень любил своего сына.

Я никогда не говорила с Ал. Вас. об его отношении к семье, и он только раз сказал о том, что все написал Софье Федоровне. Как-то раз я зашла к нему в кабинет и застала его читающим письмо — я знала почерк С.Ф., мы переписывались, когда она уехала в Севастополь. Потом он сказал мне, что С.Ф. хочет только одного — создать счастливое детство сыну. Она была благородная женщина. После смерти Ал. Вас. она хотела получить его записки, попавшие в Пражский музей, их ей не выдали.

И хорошо сделали, в основном это было адресовано мне, как и неотправленные письма. Эти письма я получила через 50 лет (переписанные для меня из Московского архива). Ей не надо было их читать. Я вспоминаю ее с уважением и душевной болью, но ни в чем не упрекаю себя — иначе поступить я не могла.

В Харбине, когда я жила в гостинице, у меня постоянно бывали наши попутчики по вагону, Баумгартен и Герарди, оба были немножко влюблены в меня. Незадолго перед отъездом в Японию Ал. Вас. как-то заехал за мной, чтобы покатать меня на автомобиле. Мы едем, а он посмеивается. "В чем дело?" — "Знаете, у меня сегодня был Баумгартен. Он спросил меня, буду ли я иметь что-нибудь против того, если он поедет за вами в Японию?" — "Что же вы сказали?". — "Я ответил, что это зависит только от Анны Васильевны. Тогда Баумгартен сказал, что он не может без вас жить.". — "И?" — "Я ответил: вполне вас понимаю, я сам в таком же положении".

На другой день Баумгартен меня встретил словами: "Знаете, Аня, Александр Васильевич — отзывчивый человек". В Японию он не поехал, мы остались добрыми приятелями, он все понял.

И вот я поехала во Владивосток, чтобы окончательно покончить со своей прошлой жизнью. Я была молода и прямолинейна до ужаса. Ал. Вас. не возражал, он очень мне верил. Конечно, это было глупо — какие объяснения могут быть, все ясно. Но иначе я не могла. За месяц, что я провела в таком тесном общении с Ал. Вас., я привыкла к полной откровенности и полному пониманию, а тут я точно на стену натолкнулась.

"Ты не понимаешь, что ты делаешь, ты теряешь себя, ты погибнешь", — твердил муж. Мне было и жалко и больно — непереносимо. Из Владивостока я уехала разбитой и измученной, поручив моим друзьям Крашенинниковым не оставлять Сергея Николаевича, пока он в таком состоянии. Я знала, что все, что можно, они сделают. Чтобы оплатить дорогу в Японию, я продала свое жемчужное ожерелье.

Было лето, ясные дни, тихое море. Ал. Вас. встретил меня на вокзале в Токио и отвез в Империяль Отель. Жил он в другом отеле. Он очень волновался. Ушел — до утра. На другой день он приехал: "У меня к вам просьба, поедemте со мной в русскую церковь".

Церковь была почти пуста, служба шла на японском языке, но напевы были русские, привычные с детства, и мы стояли рядом молча. Когда мы возвращались, я сказала ему: "Я знаю, что за все надо платить, и за то, что мы вместе, но пусть это будет бедность, болезнь, что угодно, только не утрата той нашей полной душевной близости, какая между нами есть; я на все согласна".

Что же, платить пришлось страшной ценой, но никогда я не жалела о том, за что пришла эта расплата...

...Сегодня я рано вышла из дому. Утро было жаркое, сквозь белые облака просвечивало солнце. Ночью был дождь, влажно, люди шли с базара с охапками белых лилий в руках. Точно такое было утро, когда я приехала в Нагасаки по дороге в Токио. Я ехала одна и до следующего поезда было время; я пошла бродить по городу. И все было точно так же: сквозь облака светло просвечивало солнце и навстречу шел продавец цветов с двумя корзинами на коромысле, полными тоже белых лилий. Незнакомая страна, неведомая жизнь, и все, что было, осталось за порогом, к нему нет возврата. Тогда впереди была встреча и сердце было полно до краев... (*Киев, июль 1969 г.*).

...Ал. Вас. увез меня в Никко, в горы. Это старый город храмов, куда идут толпы паломников со всей Японии, все в белом, с циновками-постелями за плечами. Тут я поняла, что значит — "возьми одр свой и ходи". Одр это просто циновка. Везде подвесные бамбуковые водопроводы, шелест струящейся воды. Ал. Вас. смеялся: "Мы удалились под сень струй".

Мы остановились в японской гостинице, в смежных комнатах. В отеле жили русские тоже, но мы ни с кем не общались. И кругом — покрытые лесами горы, гигантские криптомерии, горные речки, водопады, храмы, крашенные красным лаком, аллея ста Будд на берегу реки, и мы вдвоем. Да, этот человек умел быть счастливым.

В самые его последние дни, когда мы гуляли в тюремном дворе в Иркутске, он посмотрел на меня, на миг у него стали опять веселые глаза, и он сказал: "А что, неплохо мы с вами жили в Японии! — И, после паузы: — Есть о чем вспомнить"...

Я в японском вагоне. Мое место отгорожено от коридора занавеской. За окном мутная-премутная ночь, силуэт Фудзия-

мы; туман ползет по равнине, растекается у подножья горы. И вдруг, повернувшись, я увидела на стене его лицо, бесконечно печальное, глаза опущены, и настолько реальное, что я протянула руку, чтобы его коснуться и ясно ощутила его живую теплоту. Потом оно стало таять, исчезло — на стене висело что-то. Осталось только чувство его присутствия, не оставлявшее меня...

Приблизительно с месяц тому назад мне позвонил по телефону М.Н. Тихомиров, писатель, который пробовал писать роман об А. В. Колчаке и узнав, что я еще жива, приехал ко мне для разговора. Роман он написал скверный, сборный, собственно, о генерале Лукаче. Меня он наградил княжеским титулом, отвел мне крайне сомнительную роль, ничего общего со мной не имеющую и имел дерзость мне его прислать. Перелистав, я читать его не стала. Тихомиров сообщил мне, что в архиве сохранились неотправленные мне письма Ал. Вас., частично напечатанные в журнале "Вопросы Истории" (8, 1968). Писатель Алдан-Семенов имел полные копии этих писем 1917-18 годов. Он привез их мне.

И вот, спустя 50 лет, я держу их в руках. Они на машинке, обезличенные, читанные и перечитанные чужими. Но даже в этом виде я слышу в них знакомые интонации. Это очень трудно — столько лет, столько горя, все войны и бури прошли надо мной — и вдруг почувствовать себя опять молодой, безоглядно любимой и любящей. Будто на всю мою теперешнюю жизнь я смотрю в бинокль с обратной стороны.

Что из того, что полвека прошло. Никогда я не смогу примириться с тем, что произошло. И ему и мне трудно было. Черной тучей стояло это ужасное время, иначе он его не называл. Но это была настоящая жизнь. Разве я не понимаю, что даже если бы мы вырвались из Сибири, он не пережил бы всего этого. Не такой он был человек, чтобы писать мемуары где-то в эмиграции в то время, как люди, шедшие за ним, гибли за это и поэтому.

Как трудно писать то, о чем молчишь всю жизнь — с кем я могу поговорить об Ал. Вас.? Все меньше людей, знавших его, тех, для кого он был живым человеком, а не абстракцией, лишенной человеческих чувств. В моем одиночестве нет уже лю-

дей, любивших его, веривших ему, испытывавших обаяние его личности. Он предъявлял к себе высокие требования, и других не унижал снисходительностью. Он не разменивался сам и с ним нельзя было размениваться на мелочи. Он говорил: "Ничто не дается даром, за все надо платить — и не уклоняться от уплаты. Если что-нибудь страшно, надо идти этому навстречу, тогда не так страшно". Эти его слова были мне поддержкой в трудные часы, дни, годы, десятилетия...

Из Омска я уехала на день раньше Александра Васильевича в вагоне, прицепленном к поезду с золотым запасом, с тем, чтобы потом переселиться в его вагон. Я была уже тяжело больна испанкой, которая косила людей в Сибири. Его поезд нагнал наш после столкновения поездов, в котором было разбито несколько вагонов, были раненые и убитые. Он был мрачнее тучи. А вскоре началось это ужасное отступление. Заторы. Чехи отбирают на станциях паровозы, составы замерзают, мы еле движемся. Куда? Де еще в пути конфликт с Пепеляевым, который вот-вот мог перейти в вооруженное столкновение. Положение было такое, что Ал. Вас. решил перейти на бронепоезд и, если надо, бой принять. Мы с ним прощались, как в последний раз. И он сказал мне: "Я не знаю, что будет через час. Но вы были для меня самым близкими человеком и другом, и самой желанной женщиной на свете". Не помню как, конфликт разрешился на этот раз. И опять мы ехали в неизвестность, сквозь бесконечную Сибирь, в лютые морозы...

... Я вхожу к нему в купэ. Ал. Вас. сидит у стола и что-то пишет. За окном лютый мороз и солнце. Он поднимает голову: — "Я пишу протест против бесчинств чехов — они отбирают паровозы у эшелонов с ранеными, с эвакуированными семьями, люди замерзают в них. Возможно, что в результате все мы погибнем, но я не могу иначе".

Я ответила: "Поступайте так, как считаете нужным".

День за днем ползет наш эшелон по бесконечному Сибирскому пути. Я стою в коридоре у замерзшего окна с зав. печатью в Омске Клафтоном. Вдруг он спрашивает меня: "Анна Васильевна, скажите мне, как, по-вашему, просто по вашему женскому чутью, — чем все это кончится?" — "Чем? Конечно, катастрофой".

О том же спрашивает Пепеляев: — “Как вы думаете?” — “Что же думать, конечно, союзное командование нас предаст. Дело проиграно, и им очень удобно, если не с кем будет считаться”. — “Да, пожалуй, вы правы”.

И целый месяц — в предвиденьи и предчувствии неизбежной гибели. В одном только я ошиблась — не думала пережить его.

Долгие годы не могла я видеть морозные узоры на стекле без душевного содрогания, они сразу переносили меня к этим ужасным дням.

Может быть, самое страшное воспоминание — мы в тюремном дворе в Иркутске вдвоем на прогулке — нам давали каждый день это свидание, и он говорит: “Я думаю: за что я плачу такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачу за вас, я ничего не сделал, чтобы заслужить это счастье, ничего не дается даром”.

Последняя записка, полученная мною от него в тюрьме, когда армия Каппеля, тоже погибшего вскоре, подступала к Иркутску: “Конечно, меня убьют, но если б этого не случилось, только бы нам не расставаться”.

Я слышала, как его уводят, видела в волчок его серую папаху среди черных людей.

И всё.

Луна в окне, черная решетка на полу от луны в эту февральскую лютую ночь. И мертвый сон, сваливший меня в тот час, когда он прощался с жизнью, когда душа его скорбела смертельно. А наутро тюремщики переводили меня в общую камеру. Они прятали от меня глаза. Я отозвала коменданта и спросила: “Скажите, он расстрелян?”. Комендант не посмел сказать мне “да”: “Нет, его увезли, даю вам слово”. Не знаю, зачем он это сделал, зачем не сразу было узнать мне правду. Я ко всему была готова.

Полвека не могу принять
Ничем нельзя помочь —
И все уходишь ты опять
В ту роковую ночь.
А я осуждена идти,
Пока не минет срок,

И перепутаны пути
Исхоженных дорог...
Но если я еще жива
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя
И память о тебе

30 января 1970 г.

14 января 1920 г. А.В. Колчак был арестован эсеровским Политическим Центром, будучи вероломно предан чехословаками и генералом Жаненом, представителем командования Союзников в Сибири. 25 января 1920 г. Политцентр был отстранен от власти Иркутским коммунистическим ревкомом. 6 февраля было принято постановление о расстреле А.В. Колчака и председателя совета министров его правительства, В.Н. Пепеляева. Во втором часу ночи 7 февраля 1920 г. расстрельная команда явилась в камеру. Колчака застали одетым. Большевик С. Чудновский зачитал постановление ревкома. Колчак только спросил: "Без суда?".

В 4 часа утра команда прибыла на берег Ушаковки, притока Ангары. На предложение завязать глаза Колчак ответил отказом. После расстрела трупы А.В. Колчака и В.Н. Пепеляева были спущены в речную прорубь. Так под покровом ночи большевистские палачи расправились с известным полярным исследователем, прославленным моряком, разгромившим во время Первой мировой войны турецкий и германский флоты в Черном море, Верховным Правителем, желавшим счастья и благоденствия очищенной от большевистской заразы России. — *Ред.*

3

Впервые я встретила с Екатериной Павловной Пешковой в 1921 г. Иркутск, тюрьма, женский одиночный корпус, где я сидела во второй раз. Время было страшное. Только что в Иркутске побывала комиссия по пересмотру дел политических заключенных под председательством Павлуновского. Как ее ждали! И дождались — многие заключенные получили новые сроки — максимальный тогда был пять лет. И вдруг начались расстрелы — по 40, 80, 120 человек сразу, из тех, кто уже получил сроки.

Дважды в неделю. Начались безнадежные, безумные попытки побегов.

По субботам и понедельникам мы не спали. Смотрели, прижавшись к решеткам, как пачками выводят людей — "в подвал". В один из таких дней меня предупредили, что я тоже в списках. Оказалось — ошибка.

Как-то среди бела дня человек десять взяли штурмом вышку с часовым, перемахнули через забор и бросились бежать. Всех, конечно, перестреляли, ушел только один. Долго под нашими окнами лежал убитый.

И вот в этой обстановке однажды открылось окошко в двери одиночки и я увидела даму в шляпе и вуалетке, среднего роста, чуть подкрашенные губы, решительное лицо. Она внимательно посмотрела на нас — я сидела вдвоем с другой женщиной — и спросила, в чем мы нуждаемся и хватает ли нам хлеба.

Нет, в хлебе мы не нуждались. Обе мы занимались каким-то рукоделием, надзирательницы давали нам перевязывать на платки старые фуфайки, платили едой, да и от друзей мы получали передачи.

И всё. Окно снова захлопнулось. Разве могла я представить себе, кем будет в моей судьбе эта незнакомая дама, сколько раз — выручит из беды. А она потом говорила моей сестре, что запомнила меня в одиночке в тюремном полосатом платье, за каким-то шитьем. В это время Е.П. Пешкова объезжала сибирские тюрьмы, как уполномоченный Польского Красного Креста по делу о репатриации польских военнопленных — только что кончилась война с Польшей.

— Но я, — говорила потом, улыбаясь, Екатерина Павловна, — и всех политических обходила.

Поздней осенью меня вызвали в подвал с вещами. Все мы знали, что это значит. Соседка по камере мне так и сказала: "Вы не маленькая, не берите вещей, они пригодятся вашим друзьям". Так я и ушла с конвоиром через весь город с маленьким чемоданчиком, который нес конвоир — была я совсем больна, у меня начинался туберкулез. В подвале навстречу мне бросилась женщина, знакомая по тюрьме: "Не беспокойтесь, вас только отправляют в Москву".

В тот же вечер посадили меня и еще одного арестованного с

конвоирами в общий вагон. А через несколько недель повезли из Новосибирской тюрьмы вместе с тремя членами эсеровского ЦК в Москву. Выпустили меня на волю в конце апреля 1922 г. В тюрьме я узнала о политическом Красном Кресте, куда и пришла. Виделась там с Винавером, так как думала, что это он приложил руку к моему освобождению. От него я узнала, что, вернувшись из Сибири, Екатерина Павловна при свидании с Дзержинским рассказала ему и обо мне. Дзержинский ей будто бы сказал: "Да, кажется, мы много лишнего делаем". Вот меня и вызвали в Москву.

С Екатериной Павловной я познакомилась уже только в 1925 г., когда меня выслали из Москвы на три года. Когда кончился мой срок, я получила в Тарусе (где жила с М. Якунчиковой, отпущенной затем за границу) телеграмму от Е.П., что я могу вернуться в Москву. Это было в 1928 г. Я пошла в политический Красный Крест благодарить ее за внимание. Семь лет я прожила в Москве и время от времени заходила на Кузнецкий, 24. Там всегда было много народу, но я, как старый подопечный Екатерины Павловны, проходила к ней вне очереди, на минуту.

Е.П. много слов не тратила, слишком была занята. Ее очень боялись. Каждый раз, когда я от нее выходила, ожидающие меня спрашивали: "Что, сегодня не очень строгая?". А она была, по существу, застенчивый человек и от этого так лаконична. Когда я потом рассказала ей, как ее побаивались, она огорчилась: "Правда? А я всегда так стесняюсь, мне кажется, что все на мне такое некрасивое". От застенчивости ей стоило больших усилий разговаривать с людьми.

В 1935 г., после убийства Кирова, начались повальные аресты. Арестовали и меня, по доносу, совершенно фальшивому. Время было благоприятное для сведения личных счетов. Доносы были в ходу, обоснованные или нет — значения не имело. Я получила пять лет лагеря и была отправлена в Забайкалье, на постройку Байкало-Амурской магистрали. Везли нас в теплушке с уголовными женщинами. По дороге из окна теплушки я выбросила письмо, адресованное Екатерине Павловне Пешковой в политический Красный Крест. Я видела, как письмо подобрала какая-то женщина, как к ней подошел солдат и заговорил. "Ну, пропало", — решила я. — Но везде есть люди: письмо дошло по

назначению.

По дороге кое-кого из нашего этапа, и меня в том числе, сняли, оставив в санитарном пункте: мы ехали в товарном вагоне месяц, у многих начиналась цынга. В санитарном городке Б... я работала три месяца санитаркой, а под конец заведовала двумя корпусами больницы. Тут я и получила телеграмму от мужа (Книппера), что пять лет лагеря мне заменены тремя годами высылки минус два города (правда, на поверку вышло, что мне не разрешили жить в 15 городах). Но из лагеря меня тогда освободили. Оказывается, Екатерина Павловна имела разговор с Ягодой и он нашел, как прежде Дзержинский, что "пожалуй, перехватили".

И с тех пор, по возвращении, у меня и установились более близкие отношения с Е.П. Я пришла к ней в Красный Крест благодарить. Она велела мне самой идти в НКВД говорить о моем деле и добавила: "Я ко всем своим подопечным хорошо отношусь, но у меня есть и личные. Потом оттуда приходите ко мне обедать". Толстой говорил, что люди любят тех, кому делают добро и ненавидят тех, кому причиняют зло. Думаю, что в отношении ко мне Е.П. это имело место.

Екатерина Павловна встретила меня в передней и извинилась: "Мы очень любим редьку, но она ужасно пахнет". И тут я перестала бояться неприступную Екатерину Павловну. Мне стало с ней просто. Кто не пережил того страшного времени, тот не поймет, чем был для многих и многих ее труд. Что значило для людей, от которых шарахались друзья и знакомые, если в их семье был арестованный, прийти к ней, услышать ее голос, узнать хотя бы о том, где находятся их близкие, что их ожидает. А это она знавала.

У Е.П. было полное отсутствие сентиментальности и ханжества. Она была очень терпима к людям, особенно к женщинам. Как-то по ходу разговора я спросила ее: "Да неужели в молодости вы никем не увлекались, за вами никто не ухаживал?". Она ответила почти сердито: "Некогда было, я всё уроки давала. Раз товарищ меня провожал и, прощаясь, поцеловал мне руку — уж я ее мыла, мыла". Я совершенно ей поверила, но очень смеялась.

Я не знала человека, который так бы ценил малейшее к себе внимание и совершенно забывал, сколько он сделал для других.

Как-то она рассказывала, что была на заседании в Музее Горького и к ней подходили люди, напоминали ей о том, как она им помогла. "Знаете, оказалось, что все они очень хорошо ко мне относятся", — добавила она с некоторым удивлением.

В Москве я жить не могла — начались мои скитания по маленьким городам, не слишком далеким от Москвы. Но всегда во время побывок в Москве, где жила моя семья, я заходила на Кузнецкий. В 1938 году положение стало невыносимым, и ничего уже сделать было нельзя. Много лет спустя Екатерина Павловна как-то сказала мне: "Может быть, надо было и все это вынести и все-таки не закрывать Крест". А я знаю, чего это ей стоило.

В 1938 г. в день, когда кончился срок моей высылки, меня снова арестовали. Арестован был и мой сын. Он так и не вернулся из заключения — реабилитирован посмертно. А муж мой, Книппер, умер во время моего заключения на 8 лет.

Когда в 1946 году я вернулась и пришла к Е.П., я увидела, что она очень постарела, хотя попрежнему была деятельна и очень занята и людей у нее бывало много. Я приезжала в Москву из Рыбинска (в Москве мне жить было нельзя), звонила ей и она назначала день и час. Она интересовалась моей жизнью, работой, всем. В Рыбинске я работала в театре и, накопив сверхурочные дни и часы, приезжала в Москву. Как-то я стала рассказывать ей не слишком веселые истории, и она сказала: "У меня голова от этого заболела". С тех пор, приходя к Е.П., я рассказывала уже только что-нибудь веселое и забавное. Она любила цветы и всегда радовалась, если ей принесешь их, но только немного, иначе она сердилась: "Зачем деньги тратить зря?".

Я боялась ее тревожить и утомлять. Если видела, что Е.П. устала, тотчас же поднималась — "Я пойду, вам надо отдохнуть". А она делала вид, что не слышит и продолжала разговаривать. И тут я поняла, что, по существу, она очень одинока, несмотря на внушек и правнуков, которых любила нежно, но которые жили своей и совсем ей чуждой жизнью. Сверстники ее умирали один за другим, родные не утешали. Ее старая домработница Лина ловила меня в передней: "Что вас давно не было? Она при вас будто веселее". "Она" — так всегда Лина называла Екатерину Павловну.

В один из моих приездов в Москву из Рыбинска, в 1959 го-



Е.В. Сафонова и А.В. Тимирева

ду, Екатерина Павловна мне сказала, провожая меня в переднюю: "Анна Васильевна, подавайте на реабилитацию". А я уже подавала и получила отказ. Я только на нее поглядела. Е.П. сказала: "Я понимаю, все это вам надоело, но сейчас подходящий момент и если вы его упустите, так и останетесь вне Москвы до конца жизни".

В 1960 году я получила реабилитацию, с тех пор жила в Москве и мы виделись с Е.П. чаще. Для меня было радостью, что мне уже не о чем было ее просить — и так я была перед ней в неплатном долгу. А она об этом точно и не помнила.

Иногда Е.П. звонила сама: "Вы сегодня не заняты? У вас нет работы? Тогда — приходите". Я не знаю человека, который так уважал бы дела другого — что бы это ни было. Она много вспоминала со мной. Вот всего несколько рассказов.

— Когда началась революция, у нас (политический Красный Крест) был пропуск во все тюрьмы, и мы свободно там бывали. Мы — это Муравьев, Винавер и я. И вдруг пропуск отобрали. Надо было идти к Дзержинскому. Я сказала, что в Чрезвычайку не пойду. Но Муравьев заболел, Винавер один идти не согласился ни под каким видом — пришлось пойти. Дзержинский нас встретил вопросом: "Почему вы помогаете нашим врагам?". Я ему говорю: "Мы и хотим знать, кому мы помогаем, а у нас отобрали пропуска". "Мы вам пропуска больше не дадим", — сказал Дзержинский. "Тогда мы уйдем в подполье", — сказала я. "А мы вас арестуем". С тем мы и ушли. — Тут глаза у Екатерины Павловны заблестели: — "На другой день дали пропуск".

— В 20-е годы мы с Винавером возили в Бутырки передачи. В столовой на Красной Пресне мы брали порции второго блюда и везли их вдвоем на ручной платформе. Это довольно далеко и очень утомительно. Везем-везем, остановимся и отдыхаем, прислонившись спиной друг к другу. А собственно, отчего мы это делали сами? Сколько было людей, которые сделали бы это за нас — и с удовольствием! — Когда кончилась война с Польшей, мне предложили взять на себя работу по репатриации военнопленных поляков. Дзержинский вызвал меня к себе. Я ему говорю: "Я очень боюсь брать это дело на себя. Говорят, поляки такие коварные, им нельзя доверять". Дзержинский, сам чисто-

кровный поляк, стал страшно смеяться: "Вот и хорошо! Вы работайте, а очень-то им не доверяйте".

Последнее время Екатерине Павловне было уже трудно ходить, а одной совсем нельзя. Как-то раз, будучи у внучки Дарьи, она позвонила мне по телефону и попросила ее проводить. Ей хотелось поехать домой на троллейбусе, посмотреть Москву — "А то из машины ничего не видно". Она была ужасно довольна, что видит Москву из окна троллейбуса. Это было вроде эскапады, все ее забавляло. Мы заходили в какие-то магазины, получали в сберкассе ее пенсию, покупали совершенно ненужные вещи — еле добрали до дому. А она была очень довольна. Ведь, по существу, несмотря ни на что, в ней была подчас прелестная веселость, способность радоваться по пустякам.

Последний раз у нее на квартире я была в день ее отъезда в санаторий "Барвиха", в начале декабря. Вид у Е.П. был просто страшный, очень нервна, возбуждена. Я спросила, не надо ли ей помочь уложить вещи. Потом она сказала: "Я позвоню вам из Барвихи". И не позвонила. Через несколько дней у нее случился инфаркт и ее увезли в Кремлевскую больницу. Она хотела непременно вернуться из санатория к Новому Году — как она любила праздники!

Вот я начала писать об Екатерине Павловне и меня потянуло в Новодевичий, на ее могилу. Я бывала там вместе с нею — на могиле ее сына Максима и матери. Ей уже трудно было ездить одной, а внушкам некогда, все дела, дела.

Она купила цветов в горшках, попросила меня взять лейку — а самой ей стало нехорошо, я просто не знала, как довести ее до участка. Две листовницы сплелись верхушками над могилами. У памятника Максиму лежали три белые астры — ей было приятно, что кто-то все-таки вспомнил. Хотелось самой высадить цветы, и не смогла, было трудно...

Теперь прибавилась и ее могила. Кругом — чисто, видно, уборка оплачивается, и видно тоже, что никто там не бывает, очень все выглядит казенно. Максим со своей стеллы смотрит на могилу матери. — Эта рана никогда не заживает, — как-то сказала мне Екатерина Павловна. — Дарья назвала своего сына

Максимом, думала сделать мне приятное, а мне как ножом по сердцу...

Мимо проходила экскурсия молодых девушек. Экскурсовод указал на могилу "сына Горького". У него не нашлось ни одного слова, чтобы сказать об Екатерине Павловне.

Я вспомнила ее похороны. Говорились речи о той работе, которую она вела по литературному наследию Горького — замалчивая, еле касаясь политического Красного Креста, точно эта тема — запретная, неловко ее касаться. И только один голос произнес:

— Спасибо, Екатерина Павловна, от многих тысяч заключенных, которым вы утирали слезы.

Я обернулась — старая женщина смотрела на меня: "Я не могла этого не сказать".

Екатерина Павловна лежала в цветах, и лицо ее было молодое, такой прекрасный лоб, тонкие брови. Заплакала я, кто-то спросил: "Вам нехорошо? Дать капель?" — Как будто странно, что можно заплакать, прощаясь с дорогим человеком.

1965 — 1972 гг.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	45	85	150
Заграница	54	95	170
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн.			
Америка, Южн. и			
Центр. Африка	76	140	250

ЖЕНСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ

*Так нет воли Отца вашего Небесного
чтобы погиб один из малых сих.*

(Матф. 18.14)

11 февраля 1958 года

Однажды к нам на пересылку привезли большую группу, человек пятьдесят малолетних преступников-мальчиков. Были они лет от 8-9 до 12-16. Поместили их рядом с нами, освободив для этого соседнюю мужскую камеру. Мы их видели в окна, когда их привезли и водили гулять. А слышно их было очень: они поднимали неимоверную мышиную возню.

До слез было жалко этих несчастных, поковерканных нашей беспощадной эпохой детей, по большей части беспризорников, ставших профессиональными ворами, или даже состоявших в шайках убийц и бандитов. Беспризорные дети — следствие революции, гражданской войны, занятости матерей, последней войны и, особенно, массовых арестов родителей.

Я помню в читинской тюрьме одного бледенького, худенького мальчугана лет десяти с ясным, хорошим детским лицом. Мы часто встречали его на лестнице в сопровождении дежурного, когда, тоже в сопровождении дежурного, шли на прогулку или возвращались с нее: мальчугана вели в карцер. Карцер в читинской тюрьме был ледяной, в полуподвале, с разбитой и непочинявшейся форточкой и там обмораживали ноги, если не было валенок. Питание в карцере — 300 г. хлеба и вода. А этот мальчуган был все-таки ребенок, бледный, худенький. Что из него, десятилетнего, для которого не нашлось в мире никого, кто сумел бы повлиять горячим словом на его уже зачерствевшую, замученную и озлобленную душу, могло получиться впоследствии, как не бандит и убийца?

См. "Н.Ж." кн. 150-153, 156-158.

Что эти малолетки на второй или на третий день сотворили, я не знаю, по-видимому, оказали физическое сопротивление какому-то распоряжению начальства, так как к их камере были подведены брандспойты и их окатывали струями воды. При первых же струях воды послышались визг, крики, грохот падающих досок от нар, которыми прикрывались или по которым лезли наверх, спасаясь от воды.

Вскоре сопротивление было сломлено и дети увезены. По-видимому, они не хотели идти на этап, может быть, просто из чувства противоречия и желания настоять на своем.

У ворот одному из малолеток удалось убежать, спрятавшись за воз с продуктами, въезжавший в ворота пересылки как раз в тот момент, когда строился этап.

Когда мы возвращались с прогулки, я заглянула в соседнюю камеру: там по щиколотку в воде возились с ведрами и тряпками уборщицы, приводя в порядок разгромленную камеру, а на нарах трогательно и жалобно висело несколько десятков пар маленьких мокрых синих трусиков, брошенных после поражения их владельцами.

Мой единственный вещевой мешок, перешитый из ветхой скатерки в читинском карантине одной доброй мамкой, начал рваться. Нужно было экстренно выменять за хлеб какую-нибудь вещь, из которой я могла бы сшить мешок. Мне указали на одну убийцу, жившую на последних нарах, в полутьме, возле параша. Она занималась починкой тапочек и даже ботинок при помощи где-то добытых инструментов, которые нужно было прятать, вроде шила. Мне сказали, что у этой женщины есть крепкое новое полотно из деревенского холста, которое она хочет выменять на две пайки хлеба. Подкопив через несколько дней две пайки хлеба, я подошла к этой женщине. Она повернулась ко мне и я удивилась: я ожидала увидеть русское деревенское лицо (женщина была колхозницей), а увидела жгучую брюнетку, похожую на итальянку, с черными глазами, с белым, как бумага, красивым и тонким лицом. Голова ее, вопреки деревенскому обычаю, не была повязана и пышные, совершенно черные волосы были красиво зачесаны вверх. На вид ей можно было бы дать лет сорок-сорок пять, если бы не дряблая, оплывшая фигура. У нее были больные ноги и поэтому ли или вследствие общего

отвращения к ней, она редко вылезала из своего темного логовища.

Наша меновая сделка была быстро заключена: я за две пайки хлеба оказалась собственницей крепкого, нового деревенского полотенца из небеленого холста. Женщина задержала меня и стала рассказывать свое дело.

Они с мужем были колхозниками и жили в Иркутской области. По ее словам, однажды (это было в 1945, или в начале 1946 года) к ним в избу зашел демобилизованный солдат, возвращавшийся с фронта в свою деревню, и попросился переночевать. Муж оставил его, даже стал угощать. Она же в это время лежала на печи в сильнейшем приступе малярии, с температурой около 40°. Вскоре, по ее словам, она впала в забытие и ничего не слышала. Когда утром она пришла в себя, в избе никого не было, а стол и лавка были опрокинуты, пол и стены залиты кровью. Она сползла с печи, стала все убирать и приводить в порядок, догадавшись, что муж убил солдата и спрятал его тело.

Признаюсь, я выслушала этот рассказ с недоверием. И правда, когда я впоследствии наблюдала маляриков и ухаживала за ними в Акмолинском лагере, где более половины заключенных болело малярией в острой форме, я ни разу — ни в больнице, где я недолго работала медсестрой, ни в зоне — не видела случая, чтобы малярик даже при температуре выше сорока терял сознание.

— Неужели вы, хотя бы в жару и забытии, абсолютно не слышали ничего, что происходило у вас в избе? Ведь солдат был человек молодой и здоровый, вы сами говорите, что все в избе было опрокинуто, значит, солдат сопротивлялся, шла драка, может быть, продолжительная, летели на пол лавки, опрокидывался стол с посудой, и вы ничего не слышали, спали до утра, будто вас опоили?

— Ничего не слыхала.

— И не закричали, увидев наутро кровь на полу и стенах, но стали спокойно убирать комнату?

Молчание.

Я поделилась со знакомыми своими сомнениями. И тут мне рассказали, что, оказывается, ее привлекли не только за недоносительство на мужа; она активно помогала мужу и в самом

убийстве и в сокрытии трупа солдата.

Это убийство было не единственным преступлением супругов-убийц. Вскоре после убийства солдата 19-летняя сирота-племянница, жившая в соседнем колхозе со своими младшими братишкой и сестрами, которых она содержала и воспитывала, собралась с ними в город на базар — продавать яйца от своих кур. На обратном пути, как они говорили, племянники хотели заехать в гости к своим дяде и тете. Когда они через два-три дня не вернулись в деревню, их соседи забеспокоились, и кто-то запросил в соседней деревне дядю и тетю: не у них ли задержались племянники? Те ответили, что в глаза их не видели. В это время в НКВД поступил донос, что в этом подозрительном доме в подпольи зарыт склад оружия. Приехали из НКВД, стали делать обыск, рыли яму в подпольи. Оружия, конечно, не нашли, но зато нашли пять трупов: солдата, девушки-племянницы и троих маленьких племянников, которых дядя с теткой убили, чтобы поживиться грошами, вырученными от продажи яиц.

14 февраля 1958 года

Однажды я лежала у себя на верхних нарах. Мне сильно нездоровилось. Девушки недалеко от меня переговаривались с мужчинами через большую дыру, которую они проделали в стене мужской камеры направо от нас.

— Пришел новый манчжурский этап, — сообщили они мне.

— Девочки, узнайте, пожалуйста, нет ли кого из Хабрина, — попросила я.

Через минуту в дыре появилось новое лицо.

— Я из Харбина.

Мы разговорились. Мне было интересно узнать о судьбе знакомых.

— Нас судили всех вместе, 26 человек, в Ворошилове (бывший Никольск-Уссурийский) и всем дали по 15 лет каторги, — сказал мне бывший служащий III-го отдела. От него же я узнала грустную новость: в Ворошилове он сидел в одной камере с нашим самым талантливым дальневосточным поэтом и писателем Арсением Несмеловым (Арсений Иванович Митропольский). При нем Несмелов заболел дизентерией в тяжелой форме, был

отправлен в тюремную больницу и там умер.

Я хорошо знала Арсения Ивановича. У него была неважная репутация, и нельзя сказать, что незаслуженная. Но он был талантлив. Ему ничего не стоило сегодня написать богохульные и кощунственные строчки, а на завтра — чудесную сказочную поэму о переполохе среди языческих богов, когда на Русь пришло христианство. Или написать такие стихи о Николае Чудотворце, которые были подстать самому Иоанну Дамаскину.

Таким он был всегда и во всем. Таким был и в политике. Это был человек безо всяких убеждений, беспутный и хмельной, но с большим, настоящим талантом.

Наше знакомство (хотя судьба нас сталкивала и раньше) началось с того, что он стал работать в нашей редакции. Вскоре Несмелов предложил мне перевести для него с французского (он не знал ни одного иностранного языка, что редко встречалось среди русских интеллигентов, особенно-литераторов) прозой стихи Франсуа Вийона. Я переводила ему Вийона по своему собственному выбору, а он перелагал мои прозаические переводы в стихи.

Арсений Иванович сперва предложил наши переводы популярному журналу "Рубеж" в Харбине. Но, несмотря на то, что Арсений Иванович имел имя, редактор "Рубежа" не решился их напечатать, найдя стихотворения Вийона слишком "серьезными" для иллюстрированного журнала. Тогда Несмелов, настаивая на нашем соавторстве и подписав стихи именами нас обоих (против чего я возражала), послал их в один из шанхайских русских журналов. Стихи приняли, но не успели напечатать, так как журнал закрылся.

Так они и остались ненапечатанными. На Арсения Несмелова, как поэта и писателя, обратила внимание и парижская русская критика, признававшая его талант. Среди писателей и поэтов Дальневосточной эмиграции он считался общепризнанным мэтром. На втором месте после него был Алексей Агаир, о встрече с которым на иркутской пересылке я рассказала выше. Несмотря на внешне приятельские отношения, между этими двумя поэтами всегда было какое-то соперничество, и стоило мне в печати похвалить стихи одного, как другой сейчас же выражал мне свое недовольство. Это соперничество, как у двух

прима-балерин или оперных див, меня очень забавляло.

Но лучшие произведения Арсения Несмелова так и не успели увидеть свет. У него осталась рукопись исторического романа из жизни древнего Рима, одного из лучших исторических романов, которые я когда-либо читала. В его романе мне особенно запомнились потрясающие описания ареста, путешествия под стражей на барке и казни апостола Павла. И это писал атеист!

Перед тем, как приступить к этой работе, Арсений Иванович, не имевший классического образования (он кончил кадетский корпус, а затем учился в Психоневрологическом институте в Петербурге), целый год читал в русском переводе Вергилия, Горация, Овидия и других римских поэтов; изучал римских историков — Тацита, Тита Ливия, знакомился с римской археологией.

Только первая часть этого романа была во время войны напечатана в Харбине, когда связь со всеми культурными центрами была прервана, а остальные части пропали в рукописи, перепечатанные на машинке и готовые для печати при моем аресте, так как Арсений Иванович, предвидя свой арест, оставил их мне на хранение вместе с некоторыми своими стихами. Но это не убергло его рукописи..

На допросе один из следователей спросил меня, почему у меня оказались рукописи Арсения Ивановича. И вот теперь, на пересылке, сама арестантка, я узнала от другого арестанта о безвременной смерти, в возрасте 52-х лет, в тюремной больнице, этого человека, который мог создать много талантливых произведений. Еще одна потеря для России...

16 февраля 1958 года

Как-то прибыл к нам на пересылку совсем особенный этап. Это было человек пятнадцать красивых, высоких, полных, светловолосых девушек, похожих одна на другую, как какая-нибудь труппа американских балетных "герл". Впрочем, для балерин они были слишком крупны и откормлены. У них у всех были русские фамилии, и они все, кроме одной, были явными немками. Я с любопытством приглядывалась с верхних нар к этой группе — или труппе, — стараясь понять, что это за девушки.

Урки, у которых глаз и умение распознавать людей не хуже, чем у опытного агента уголовного розыска, вскоре завязали бой с приезжими.

— "Шоколадницы!" — с презрением провозгласили урки.

В ответ на обидные клички, энергично донесшиеся с противной стороны, русские урки громко возгласили:

— Немецкие подстилки!

А, теперь все понятно. Красивые, откормленные лица, розовое атласное заграничное белье, которое вечером вызвало сенсацию у всей камеры, и которое "шоколадницы" вызывающе демонстрировали.

Очевидно, это было целое увеселительное заведение для немецких военных, арестованное *in flagrante*. От моих приятельниц-дам, побывавших в оккупации, я узнала, что кличку "шоколадницы" получали девушки, продававшие свою любовь немцам за плитку шоколада или другие небольшие материальные блага.

Приехавшие на иркутскую пересылку девушки были русскими немками (*Volksdeutsche*) из бывших немецких колоний на юге России, выросшие в своей тесной немецкой среде. А паспорта с русскими фамилиями были, наверное, добыты в последнюю минуту, при отступлении германской армии.

Как-то утром ответдежурный впустил в камеру двух женщин. Они остановились у порога нашей огромной камеры, ища глазами, как мне показалось, себе места. Затем старшая — полная, энергичная женщина — что-то сказала младшей, девушке в военной шинели без погон, несшей огромный скатанный тюк, и обе прямо направились ко мне.

— Можно нам занять места около вас? — поздоровавшись, приветливо спросила старшая, указывая на два свободных места между мною и окном, которые я оставила свободными для "коммерческих" операций Таньки-Барыни с соседней мужской камерой.

— Места свободны, но я не советую их вам занимать, так как одна из наших урок, которая постоянно переговаривается в окно с соседней мужской камерой, будет все время топтаться на ваших "постелях", — ответила я.

— Это ничего, — ответила старшая из женщин, — мы хотим быть около вас.

Я разговорилась с этими женщинами. Младшая из них оказалась жертвой черствости и бездушия своего начальства. Часть, в которой служила эта девушка, несла службу на Камчатке. В один прекрасный день эту часть перевели в Хабаровск. По дороге пароход зашел в порт на Сахалине. Так как предполагалась длительная остановка, девушка взяла отпуск на берег, чтобы сходить на базар. Пока она была на базаре, пароход, по какому-то новому распоряжению, неожиданно ушел и девушка отстала от своей части. Она сейчас же послала телеграмму в Хабаровск о случившемся с сообщением, что она едет следующим пароходом. Но когда она приехала в Хабаровск, ее отдали под суд за дезертирство. Суд приговорил ее к 10 годам исправительно-трудовых лагерей.

Такие судебные приговоры беспрестанно случаются в советских судах, во-первых, из-за полного неумения советских юристов квалифицировать данное деяние и, во-вторых, из-за черствости и бездушия следователей и судей. За бандитизм нередко дают всего три года, а за деяние, не носящее преступного характера или, если носящее, то незначительное, человека сажают в тюрьму на длительный срок, совершенно не принимая во внимание ни мотивов проступка, ни обстоятельств, вызвавших его, ни личности нарушителя.

Так, например, одновременно со мною в Акмолинском лагере сидела получившая семилетний срок деревенская баба, *осужденная за семь свеклин*, которые она унесла с колхозного огорода для своих голодных детей. В лагере шутили, что ей дали по году за каждую свеклу. Читинскую колхозницу Лукерью посадили за то, что она будто бы подобрала на дороге оброненные заезавшимся возчиком четыре пустых мешка, чего на самом деле не было. Такова же была участь и десятков деревенских женщин, сидевших по 10 лет "за колоски"; так сажают менее опытных бухгалтеров и кассиров за растраты, совершенные другими, более опытными; так, наконец, сажают и сажали по доносу лица, которое хочет завладеть квартирой или вещами того, на кого поступал донос (это — наиболее частый случай) — или из мести, или за анекдот, или за критику, или за одобрительный отзыв о чем-либо заграничном. По п. 1-А ст. 58 (измена) громадное большинство, особенно женщины, сидело за то, что во

время войны не успело эвакуироваться и попало в оккупацию. И лишь меньшинство сидело и сидит за настоящие преступления.

19-20 февраля 1958 г.

Как-то вечером, часов в девять или позднее, когда многие уже укладывались спать, привели небольшой смешанный этап. Услыхав, что это женщины с Колымы, я подошла к ним. Большинство из них были бытовички, кажется, блатные, но две были политические: молодая каторжанка-украинка и русская, тоже довольно молодая женщина, фамилию которой я сейчас забыла. У нее был десятилетний лагерный срок.

Обе они вызывались в Россию на пересмотр дела. О каторжанке хлопотал муж, полковник советской армии, которому судьба преподнесла сюрприз: по своем возвращении с фронта он узнал, что его молодая жена, певица, осуждена на 15 лет каторги.

Молодая каторжанка-певица рассказывала, что ей и на Колыме было неплохо: она жила в лагере под самым Магаданом и была приглашена на роль премьерши в городскую оперу. С разрешения начальства и под поручительство режиссера, который ей покровительствовал, она проводила в театре целые дни и только на ночь должна была возвращаться в лагерь. А когда бывали бураны, она звонила в лагерь и оставалась в театре.

Между мной и второй колымчанкой, Людмилой, сразу, как это часто бывает в заключении, протянулись нити симпатии, хотя она почти ничего не успела рассказать о себе, предоставляя говорить своей более разговорчивой подруге. Зато именно она сказала нечто, потрясшее меня:

— Вы, наверное, хотите есть с дороги? — спросила я, — но вас так поздно привели, боюсь, что сейчас вам до утра ничего не дадут.

— Ну что ж, потерпим до утра, нам не привыкать. Мы пять дней ничего не ели.

— Как пять дней не ели?

— Хабаровский конвой знаменит тем, что он не кормит заключенных в пути. Мы так ослабели, что не могли нести свои вещи от вокзала (9 километров!) и все побросали в пути. Но с

нами в этапе были политкаторжане-мужчины; оказалось, что они подобрали наши вещи, понесли их и отдали нам у ворот пересылки.

Да, чтобы узнать, что такое чувство товарищества, нужно побывать или на фронте или в тюрьме...

Однажды, вскоре после отъезда қолымчанок из хабаровского этапа, утром у меня украли часть пайки. Как я уже говорила, тюремный паек хлеба, "кровная пайка", считается, по обычному праву преступников, неприкосновенной. Эта норма права, конечно, сплошь и рядом нарушается, но никогда — крупными урками. На это есть "кусочки", вроде "Чумы", о которой презрительно говорят: "Кусочница, чужие пайки ворует!".

В первый день я промолчала, но когда в следующие дни у меня еще дважды украли хлеб, причем в третий раз, к моему великому горю, еще и кусок мыла, я решила взять быка за рога и пойти за защитой туда, где нарушенная норма обычного права преступников могла вызвать немедленную реакцию.

Я отправилась к Таньке-Барыне. Танька к этому времени слегка понизилась в чине: в камере появилась новая пожилая "паханша", Юлия Григорьевна. Но так как Юлия Григорьевна была у нас недолго, а Танька на иркутской пересылке была старожилкой, то фактическая власть продолжала оставаться в руках Таньки.

— Таня и Юлия Григорьевна, я к вам за защитой.

— А что такое?

Я рассказала. Боже, как вспыхнула Танька!

— Кто это смеет красть под нашу марку! Не думаете же вы, что это кто-нибудь из наших!

— Таня, я уверена, что это делает какая-нибудь "кусочница".

— Кто около вас живет? Я сейчас же произведу около вас обыск! — шумела Танька.

— Очень порядочная девушка, которая по ночам работает на кухне. Против нее у меня нет никаких подозрений, и я настоятельно прошу не трогать ее вещей.

Эта милая девушка, бухгалтерша и конторская служащая из Читы, сидела не то за растрату, не то за неуловимое деяние, по Уголовному Кодексу РСФСР называемое "злоупотреблением",

инкриминируемое в тех случаях, когда нужно ответственность за хаос в отделе свалить перед ревизией на кого-нибудь молодого и неопытного.

Эта девушка искренне и трогательно рассказывала мне о своем тяжелом сиротском детстве у суровой и жестокой старшей сестры, которая сделала из нее няньку для своих детей и мешала ей учиться в школе. Несмотря на сопротивление сестры она кончила десятилетку, затем — бухгалтерские курсы, поступила на службу и ушла от сестры.

После сурового детства жизнь как будто начала налаживаться, как вдруг на нее обрушилось несчастье — тюрьма.

— Работает на кухне? — переспросила материалистически мыслящая Танька, — да, пожалуй, ей хлеб не нужен. А кто у вас с другой стороны?

— С другой — два свободных места, а дальше — какие-то девушки, которые часто меняются. Одна из них ушла уборку.

— А ну-ка я у нее посмотрю, — сказала Танька и быстрой и опытной рукой пошарив в вещах девчонки, вытащила маленький обмылок. — Ваш?

— Мой!

— Я вчера заметила, что она целый день стирала. Вот с...! Танька была предельно возмущена. — Пайки красть! Кусочничеством заниматься под нашу марку! Пусть только вернется с работы! Я ее изобью! Будет знать, проклятая фраерша, как заниматься чужим делом!

В это время открылась дверь и дежурный впустил как раз эту девушку. Она сразу направилась к своему месту, влезла на нары и стала собирать вещи. На ее счастье дежурный остался в камере, дожидаясь ее. Девчонку вызвали на этап.

Слава Богу! Сейчас она уйдет вместе с дежурным. Но Танькины взъерошенные нервы было не так легко успокоить. Еле сдерживаемая присутствием дежурного, она наскочила на девчонку, как гончая на зайца.

— Пайки красть! Счастье твое, что уходишь, да еще при дежурном! А то посмотрела бы у меня, как пайки красть под чужую марку! — кипятилась Танька, наскакивая на девчонку.

— Да в чем дело? — спрашивал удивленный дежурный.

Дежурный увел девчонку, а Танька-Барыня еще долго изли-

вала в пространство гнев за свое поправное чувство права и справедливости.

Я привела этот маленький эпизод, чтобы лишний раз показать правовые переживания даже закоренелых преступников. В данном случае были нарушены две нормы этого права:

1. Красть "кровную пайку" не положено.

2. Фраерам красть вообще не положено, потому что это значит красть "под чужую марку", ибо там, где есть представители преступного мира, подозрение в первую очередь падает обязательно на них. Санкция за нарушение этих норм: кровавая расправа.

14 марта 1958 г.

Видение

Из-за клопов нас однажды временно перевели в другой корпус, в камеру на 80 человек, хотя тюремные, особенно пересылочные камеры, обладают свойством резины, и в случае надобности могут растягиваться бесконечно, вмещая гораздо больше обитателей, чем то, на которое они были номинально рассчитаны. Во второй половине того почти четырехмесячного срока, что я провела на иркутской пересылке, нас окончательно перевели в этот корпус. Окна корпуса выходили на "запретку".

В тюрьмах и лагерях, кроме окружающей стены или забора, с внутренней стороны имеется еще — вдоль стены — т.н. "запретная зона", или "огневая зона", на тюремном языке называемая "запреткой", куда вход заключенным запрещен под страхом выстрела часового. Это — полоса земли шириной в несколько метров, отгороженная от остальной зоны колючей проволокой метра в три высотой, иногда натянутой в два ряда. Ближе к зоне, параллельно запретке, иногда отгорожена одной низкой проволокой еще полоса земли, куда тоже вход запрещен.

Так, в лагере в Акмолинске, где не было стены или забора, обе зоны, и мужская и женская, и полусвободная дорога между ними, так называемая "нейтральная" зона, были окружены колючей проволокой в несколько рядов: сначала два ряда внешней проволоки высотой метра в четыре, с деревянными рогатинами наверху, переплетенными так густо, чтобы через них

нельзя было перелезть; затем два ряда колючей проволоки, образующие внутреннюю сторону запретки; затем — низкая проволока на расстоянии 3-4 метров от запретки. На четырех углах зоны — вышки с часовыми. Вышки в Спасске были через каждые 20-30 метров.

Итак, окна нашей новой камеры выходили на "запретку" и забор с высокими вышками часовых. Мы больше не видели того, что творится у нас в зоне, прихода новых этапов и т.д., но зато нам видны были крыши домов Знаменского предместья. Сияли золотом кресты церкви, на которую крестился, подходя к пересылке, наш этап и которая с самого начала революции была занята под склад оружия Чека, а теперь — МГБ.

Трудно было поверить, что эти кресты и купола не обновлялись уже почти 30 лет! Ранними утрами, когда камера еще спала, я молилась, глядя на золотые, сияющие кресты.

— Посмотрите, кто это стоит на колокольне? — воскликнула однажды после завтрака одна из девушек.

В амбразуре колокольни стоял маленький мальчик, судя по росту, лет восьми. Даже при моей близорукости он мне был ясно виден, когда я надела пенснэ. Мальчик стоял, прислонившись к стене, и голова его была окружена сиянием. Этот светящийся нимб, ослепляющий своим блеском, был совершенно ясно виден в темной амбразуре.

Что поднялось у нас в камере! Старые женщины, никогда не поднимавшиеся на верхние нары, лезли, крестясь и плача; молодежь толпами поднялась туда же, рискуя обрушить помост. Ни одного антирелигиозного возгласа, ни одной богохульной шутки.

Началась массовая истерия.

Прошло минут десять, двадцать, прошел час. Мальчик не исчезал. Все так же прислонившись к стене, он стоял в ниспадающих складках широкой одежды, и от его головы исходило сияние.

Вначале я, побуждаемая свойством каждого интеллигентного человека — любое явление стараться объяснить естественным путем — высказала предположение, что это, может быть, сынок одного из охранников склада взобрался на колокольню.

Но прошел час, другой, третий. С раннего утра и до захода

солнца мальчик стоял неподвижно. Возбуждение в камере не утихало, наоборот, оно ширилось и крепло, и я сама минутами чувствовала, как у меня шевелятся волосы на голове от благоговейного волнения.

Совсем уже перед вечером, когда последние лучи заходящего солнца золотили кресты колокольни и освещали маленькую фигурку мальчика, та самая девушка, которая утром первая воскликнула: "Смотрите — мальчик!", вдруг сказала с дрожью в голосе: — "Женщины, простите меня! Посмотрите хорошенько! Ведь нет никакого мальчика! Это просто кирпичи от угла стенки так выдаются".

Подавленные, угрюмые, слезали женщины с нар.

У меня сначала было чувство острого разочарования и неловкости, что и я поддаюсь общей иллюзии. Но теперь, по прошествии двенадцати лет, я иногда думаю: да была ли это галлюцинация? Может быть, нужно было, чтобы мы все в этой камере, правые и виноватые, чистые и преступные, образованные и неграмотные, чтобы мы все на несколько часов были спаяны высоким религиозным чувством, и чтобы прекрасная фигура мальчика в сиянии солнечных лучей (быть может, Христа-ребенка?) осталась в памяти каждой из нас, и освещала воспоминанием о себе в последующие годы страданий даже самые темные из душ, взиравших на нее с благоговением в тот памятный день.

Опять наступили наши будни. То же вставание, то же хождение в санчасть, та же баня каждые десять дней, куда нужно было, как и в Читинской тюрьме, тащить все свои вещи. Бичом женских бань в заключении, кроме требования приносить туда весь свой багаж и подвергать его прожариванию в распакованном виде и подвешенным на специальных железных кольцах, является почти обязательное присутствие в женских банях мужчин. Это присутствие мужчин является частью продуманной системы вящего мучительства и унижения человеческого достоинства.

Какие же мужчины присутствуют в женских банях? Прежде всего — кочегары. Конечно, с молчаливого одобрения дежурного или конвойного, провожающего группу заключенных женщин в баню, кочегары по нескольку раз проходят через самое банное помещение, где моются женщины, проходят, провожаемые вос-

клицаниями гнева или испуга порядочных женщин или смешками, циничными шутками и заигрыванием со стороны уроков, среди которых всегда есть сожительницы "банных мужиков", так как баня является наиболее удобным и почти легализованным местом любовных встреч.

Банные кочегары, уборщики и парикмахер в большинстве случаев вербуются из блатных.

Парикмахер... Я подхожу к одному из самых тяжелых моментов в тюремной и лагерной жизни женщин-заключенных. По тюремным и лагерным правилам (к счастью, не во всех лагерях строго выполняемым) все женщины должны проходить санобработку. В большинстве тюрем и лагерей эту санобработку производит парикмахер-мужчина.

Группа молодых каторжанок-украинок однажды категорически отказалась подвергнуться этой унижительной для женской стыдливости процедуре. Тогда были вызваны "банные мужики" и рыдающих от стыда и унижения девушек кочегары держали за руки и ноги, пока парикмахер их брил.

Как это назвать? Пыткой не назовешь, но это хуже пытки...

После нескольких дней проволочек меня, наконец, взяли 6 сентября на этап. Все эти дни я мысленно прощалась с родным городом.

Я тогда фантазировала: если бы вся охрана вдруг заснула, как заснул дворец в "Спящей красавице", я бы только вышла за ворота посмотреть на город моего детства, на речку Ушаковку, маленький приток Ангары, протекающую недалеко от пересылки, в которой я летом на даче купалась в детстве. *И я бы нигде не ушла.* Мысль о побеге, волновавшая меня в Харбине и Чите в моменты моего душевного протеста против приговора, *была мною окончательно оставлена.* Вместо этого в моей душе росла и крепла та внутренняя свобода и ясность духа, которая поддерживала меня на протяжении всех 10-ти лет моего заключения, достигнув особенной силы в Спасске, в самые тяжелые годы режимного лагеря. Конечно, бывали минуты, когда нервы сдавали и меня охватывала жгучая тоска, даже отчаяние. Но я старалась не показывать этого окружающим.

Никакие годы заключения, никакие лишения и унижения не

могут сломить душу, которая *нашла свой внутренний стержень*. В настоящих страданиях проходит неврастения, укрепляется вера в Бога и начинают в душе у самых непокорных все яснее звучать слова: Да будет воля Твоя!". И теперь многие друзья, каждый по-своему, пишут мне в письмах об этом же. Они переживают то же самое.

На иркутской пересылке, может быть, в те ранние утра, когда я смотрела на розовеющее небо и на золотые кресты соседней церкви, моя душа впервые со времени ареста начала освобождаться от ледяного холода отчаяния и оцепенения. Появилась надежда, стал расти интерес к людям, горячее сочувствие к ним, и еще более горячий протест против всякого зла и угнетения.

Этапы тяжелы даже и тогда, когда вас в составе большой, знакомой группы переводят из лагеря в лагерь. Они еще тяжелее, когда вы едете вдвоем-втроем с хорошими знакомыми среди чужих. Но они ужасны, когда вас одну швыряют с места на место среди чужих, совершенно равнодушных к вам людей, озлобленных тяготами пути, измученных, или, что еще хуже — одну среди блатных.

После переклички у ворот последовало обычное предупреждение:

— Команда, слушай! Один шаг в сторону конвой будет рассматривать, как попытку к побегу и будет применять огнестрельное оружие. Поняли?

Ответили хором: "Поняли!"

Ворота открылись и этап, с женщинами впереди, провожаемый конвойными с автоматами наизготовку, и солдатом с собакой-ищейкой на подводке, по пятеркам начал выходить в ворота мимо считавшего эти пятерки начальства.

Я в последний раз обернулась: прощай, иркутская пересылка — мой тюремный "университет". Живя среди преступниц, я наблюдала их в минуты ссор, насилия над другими (куроченья), в минуты радости, переживаний. Я начала узнавать их так, как не может узнать человек, не живший среди них на равных с ними правах, или, вернее, в одинаковом бесправию. Я не утверждаю, что знаю этот мир до конца. Это мир страшный и темный, это — бездна человеческих страстей и пороков, откуда временами,

клокоча, вырываются душливые серные пары и лава, сжигающая все вокруг. Но мне еще предстояло увидеть в лагерях, как в том же помещении, где я жила, ночью убивают людей; увидеть женскую поножовщину и женские самосуды.

— Чему же можно еще учиться после университета? — спросила меня однажды на воле простая старушка, у которой была дочь — студентка,

Можно, бабушка, можно.

М. Шапиро

Новое Русское Слово

ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ РУССКАЯ ГАЗЕТА ЗА РУБЕЖОМ

75-й год издания. Выходит 6 раз в неделю в Нью-Йорке

Главный редактор: АНДРЕЙ СЕДЫХ

Свыше 200 сотрудников во всех странах мира. В Новом Русском Слове печатают свои произведения виднейшие эмигрантские писатели, поэты и публицисты.

Полная информация о жизни эмиграции.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: Воскресное и ежедневное издание:

один год — 90 амер. долларов

6 месяцев — 50 амер. доллара

Воскресное издание только:

один год — 35 амер. долларов

Подписку и объявления направлять по адресу:

NOVOE RUSSKOYE SLOVO

461 8th Avenue — New York, 10001, N.Y., USA.

СКРИПАЧ МИХАИЛ ЭРДЕНКО — ЦЫГАНСКИЙ ПАГАНИНИ

Я знавал многих цыганских музыкантов, особенно гитаристов и скрипачей. В России цыгане облюбовали семиструнную гитару; при своем горячем темпераменте они извлекали из нее особенно звонкие тона, ноги так и просились в пляс. А когда аккомпанировали пению цыганского романса, струны семиструнной гитары будто плакали.

Цыганские скрипачи обходились четырьмя струнами, но умели извлекать из них особые, хватающие за сердце звуки. Однажды я слушал в ресторане цыганского скрипача; меня поразило грустное пение его скрипки. Мне показалось, что скрипка у него какая-то особенная, работы гениального мастера. Но когда я взял ее в руки, то был озадачен. Это была простая фабричная скрипка, да еще весьма грубой работы. Такую скрипку стыдно дать начинающему ученику. А в цыганских руках она издавала волшебные звуки. Какие виртуозные трюки он на ней выделял! Помню, он сыграл румынскую народную плясовую песню "Жаворонок" и в специальной каденции так изумительно подражал пению птиц, что, казалось, по струнам прыгали живые соловьи и жаворонки. Меня особенно поразило то, что этот цыганский скрипач не знал нотной грамоты и все играл по слуху. Я выразил ему свое недоумение, и он сказал: "Если хочешь послушать, как цыган играет по нотам, пойдти на концерт Михаила Эрденко. Он играет классическую музыку".

Имя Михаила Эрденко было мне знакомо еще с детских лет. Я его слышал не раз в концертах, но не находил в его игре ничего цыганского. Это был вполне культивированный скрипач,

высокой культуры музыкант. Мы встречались с ним в совместных гастрольных поездках.

Михаил Эрденко было удивительно интересным собеседником. Я как-то спросил его: "Откуда это у цыгана такая типичная украинская фамилия?"

— Моя настоящая фамилия Ярденко, но и она звучит на украинский лад, — стал рассказывать Эрденко. — У коренных цыган не было традиционных имени, отчества и фамилии. Были прозвища. Живя в России, цыгане обзаводились русскими фамилиями. Иным цыганкам давали "драгоценные" фамилии — Серебряная, Золотая, Жемчужная, Алмазная и т.п. Откуда взялась фамилия Ярденко, точно не знаю, но она у нас в роду была издавна. А род наш был музыкальный, все на чем-нибудь играли, кто на скрипке, кто на гитаре. Женщины в нашем роду хорошо пели, голоса у них были низкие, грудные. А как плясали! Мой отец руководил семейной музыкальной капеллой, играл на свадьбах, на вечеринках. Отец со своей капеллой ездил к Льву Толстому, граф любил цыганские песни.

Я сказал Эрденко, что надо бы все его интересные воспоминания собрать и записать.

— На это я не способен, но рассказать могу многое, только надо уши развесить.

Я взял в руки карандаш и готов был за ним записывать.

— Подождите, — остановил меня Эрденко, — сперва надо взять в руки скрипку и пальцы разогреть, а то послезавтра вечером у меня концерт. Приезжаю прямо с корабля на бал. Пианистка меня уже ждет. И кто знает, в каком состоянии будут пианино или рояль, чего доброго, вынесу на сцену какой-нибудь топчан, вот и играй с таким сопровождением "Крейцерову сонату". Впрочем, у меня всегда в запасе сольские произведения Баха. В одном захолустном городке, помню, написали, что я буду играть не сольную сонату, а "соленую". А один рыбак мне похвастался, что в их городе много солистов. Выяснилось, что так у них называют засольщиков рыбы.

Однажды в поезде (мы ехали на гастроли) Михаил Эрденко вынул из футляра свою драгоценную скрипку и стал играть обыкновенные гаммы в разных видах.

— Этому меня научил мой знаменитый педагог, Иван Вой-

цехович Гржимали. Слышали? В Москву приезжал знаменитый Яша Хейфец. От молодых скрипачей, напрашивавшихся к нему на прослушивание, он требовал сперва сыграть гаммы; если скрипач не мог их исполнить, Хейфец дальше слушать отказывался.

Я тоже вынул свою скрипку и целый час мы с Эрденом играли гаммы в различных видах, чем, вероятно, изрядно утомили пассажиров в соседних купэ.

Эрдено, устав, прилег и снова стал рассказывать.

— У нас был свой дом в селе Баранове Старо-Оскольского уезда, Курской губернии. Жили припеваючи, ни в чем недостатка не было. Если гуляли по праздникам, или у кого была свадьба, то вместе с нами праздновала вся округа. Мастера в нашем селе были такие, что могли любую вещь смастерить, а уж о музыкальных инструментах что и говорить — сопелки, свирели, балалайки, домры, скрипки, что хочешь.

Смастерили мне малюсенькую скрипочку, отец стал меня учить играть, когда мне было три года. Учил не по слуху, а по нотам, он был грамотным музыкантом. В капелле же все играли по слуху. "Я из тебя сделаю настоящего Паганини", — обещал отец. В пять лет я уже мог играть известные произведения классической музыки. Мне аккомпанировали на цимбалах. У нас был такой прекрасный цимбалист, что мог сыграть даже рhapsодию Листа.

Приехала наша капела в Харьков. Огромный город. Стали играть в одном из ресторанов.

Однажды в ресторан зашел известный в городе скрипач, Константин Константинович Горский. Тот самый Горский, который в 1893 г. играл скрипичный концерт Чайковского с оркестром, а дирижировал сам автор. Горский заинтересовался мною. Предложил отцу привести меня на урок и обещал заниматься со мной бесплатно. Он подарил мне прекрасную маленькую скрипку — четвертушку. Он сам свел меня к парикмахеру, чтобы меня аккуратно подстригли; теперь я уже не был похож на цыганского мальчика.

Впервые я выступал на сцене 5 лет в благотворительном концерте. За первым концертом, который произвел настоящую сенсацию, последовал второй. По городу расклеили афиши: "Ди-

тя 5 лет Миша Эрденко даст концерт”.

Вскоре мы уехали из Харькова и стали колесить по разным городам и весям. Как то услышала меня Варвара Васильевна Панина. Очень мной заинтересовалась, пригласила в Москву. Пела Варвара Васильевна в ресторанах “Стрельна” и в знаменитом “Яре”, имела собственный хор и группу музыкантов. Голос у нее был особенный, ее прозвали “Шалыпин в юбке”.

Добрались мы с отцом до Москвы, отыскали Панину. Она устроила мне выступление в “Яре”. Помню, подошел ко мне богатый купец, который хорошо разбирался в музыке. Он предложил свести меня с директором московской консерватории Василием Ильичем Сафоновым. Сам заехал за мной и в своем экипаже привез меня к Сафонову на квартиру. Я сыграл Сафонову скрипичный концерт Макса Бруха, он был в то время в моде. Сафонов сам мне аккомпанировал. Тут же присутствовала вдова известного скрипача Фердинанда Лауба, профессора Московской консерватории. Позже я поселился в ее квартире. По приглашению вдовы Лауба приехал к ней однажды в гости известный профессор скрипки, Иван Войцехович Гржимали.

Гржимали прослушал мою беспорядочную игру, разобрал мой цыганский тон, отсутствие ритма, стремление все играть слишком быстро. Он нашел у меня тысячу недостатков, назвал “дикой лошастью”, но заметил, что на такой лошадке можно далеко поехать, только надо ее основательно приструнить. И взял меня в свой класс.

Отвел меня в консерваторию композитор Сергей Иванович Танеев, большой друг семьи Лауб. На первом уроке у Гржимали я пришел в отчаяние. Не так просто оказалось переучиваться держать скрипку и смычок. А чего стоило научиться иному звукоизвлечению! Надо было отказаться от “жирного” тона и перейти на постный, без вибрато. Словом, я чувствовал себя начинающим скрипачом. Немало горьких минут я испытал. Гржимали казался мне бездушным сухарем. Но вскоре я убедился в его правоте, поверил в него, как педагога.

Со мной охотно музицировал Танеев, он познакомил меня с неизвестными мне музыкальными произведениями. Я ходил на концерты слушать знаменитых учеников Гржимали — Станислава Барцевича, Лею Любошиц, Юлия Конюса, А. Могилев-

ского, Сашу Печникова, Давида Крейна, Мишу Пресс. Помню еще Исаю Бармаса, который потом стал профессором консерватории в Берлине. Вызывал, конечно, мое восхищение "казачий Паганини", Костя Думчев, которого очень любил Петр Ильич Чайковский.

В таком окружении приходилось и самому подтягиваться. Интересовался моими успехами Василий Ильич Сафонов. Я играл в студенческом оркестре, которым он руководил. Сафонов приглашал меня и в качестве солиста с оркестром. Годы пребывания в консерватории стали для меня поистине счастливыми. Это были годы расцвета Московской консерватории. Я кончил консерваторию в 1904 г. с золотой медалью.

Занимал я в то время и композицией. Мои сочинения хвалили, особенно сонату для скрипки в старинном стиле и каденцию к "Дьявольским трелям" Тартини.

После окончания консерватории меня пригласили преподавать в Самару. Но меня больше влекла концертная деятельность, и через год я вернулся в Москву.

В это время Москва бурлила демонстрациями, на улицах — баррикады. Профессора и студенты консерватории принимали участие в студенческих волнениях. Был убит революционер Николай Бауман. В его похоронах принимали участие артисты Московского Художественного театра, хор студентов консерватории и университета. Дирижировал хором Михаил Эрденко, дирижировал с помощью огромной палки с прикрепленным к ней куском красной материи.

"За баловство на баррикаде", устроенной на Екатерининской площади (ныне площади Коммуны) в Москве, Эрденко был арестован. Несмотря на заступничество С.И. Танеева, его сослали в Вологду, а потом в Архангельск.

Через некоторое время Эрденко разрешили вернуться в Москву. В Москве он много музицировал с Танеевым, снова включился в активную концертную жизнь. Его теперь занимала мысль о музыкально-просветительской деятельности. От Танеева он узнал о музыкальных взглядах Льва Толстого, организовавшего в Ясной Поляне преподавание музыки для крестьянских детей. Танеев не раз говорил Толстому о "цыганском Пагани-

ни”, который окончил консерваторию с золотой медалью.

Л.Н. Толстой пригласил Эрденко в Ясную Поляну. Собираясь ехать в Ясную Поляну, Эрденко обсуждал с Танеевым и Гольденвейзером программу своего выступления. Танеев не советовал играть “Крейцерову сонату”: “Старик боится этой сонаты, словно дьявола. Помните его слова: “Вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю”. И все это о “Крейцеровой”. Танеев также не советовал играть перед Толстым Фантазию Сарасате на темы из оперы “Кармен”, уверяя, что Толстой вообще терпеть не может оперу.

Когда Эрденко играл Толстому “Кол нидрей” Макса Бруха, Толстой особенно заволновался, его глаза заволокли слезы. Угас последний аккорд. Толстой сидел неподвижно, что-то говорил всхлипывающим голосом.

22 октября 1909 года Толстой записал в своем дневнике: “Стали играть. Я особенно был тронут “Ноктюрном” Шопена”. Зная, что Толстой любит музыку Шопена, Эрденко решил выучить переложение одного из ноктюрнов для скрипки. Аккомпанировал ему Танеев. После окончания выступления Толстой сказал: “Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так играл. Какая нежность, грация, сила, чувство меры!” Не успел Эрденко вернуться в Москву, как уже многие знали, что Толстой плакал при исполнении “Кол нидрей” Бруха. Теперь после каждого сольного концерта Эрденко публика просила исполнить на бис “Кол нидрей”.

В скором времени Михаил Эрденко оказался в Берлине, где встретился с Максом Брухом и рассказал ему, как Лев Толстой принял его “Кол нидрей”.

Эрденко стал высказывать Бруху свое отношение к его произведениям, особенно хвалил его Первый скрипичный концерт. М. Брух ответил: “Вижу, что вы мало знаете мою музыку. Особенно симфоническую. У меня есть Шотландская фантазия для скрипки с оркестром, затем Второй и Третий концерты, “Адажио аппассионата”. Есть у меня оперы, и среди них — “Лорееля”. Я написал три симфонии, камерную музыку”. М. Брух добавил: “Раз вы из России, то скажу, что я сделал обработку русских народных песен для скрипки и роаяля”.

Эрденко стал доказывать Бруху, что Первый скрипичный

концерт имеет прямое родство с "Кол нидрей", особенно в начальном вступлении скрипичного соло. При этом Эрденко восхищенно заметил, что "такие глубокие чувства может выразить только настоящий еврей". К своему удивлению, Эрденко услышал от Бруха: "А знаете, я вовсе не еврей, хотя все меня считают чистокровным евреем. Я настоящий немец. Что же касается еврейской музыки, то я ее очень люблю, и кажется, неплохо знаю. Обработал немало еврейских народных песен, написал "Еврейские напевы" для хора с оркестром на слова Байрона".

История создания "Кол нидрей" такова. В 1880 г. Брух был приглашен в качестве дирижера Филармоническим обществом в Ливерпуле. Тамошняя еврейская община обратилась к нему с предложением написать для одного виолончелиста "Кол нидрей", чтоб сыграть в сопровождении симфонического оркестра. В то время были широко известны хоровые произведения Бруха, а также его обработки для хора еврейских народных мелодий. Первый цикл еврейских напевов Макса Бруха появился еще в 1859 г. Так на основе подлинной народной мелодии скорбного характера родилась пьеса для виолончели с оркестром — "Кол нидрей" и сразу приобрела широкую популярность. А Макса Бруха признали еврейским композитором.

В 1910 г. в Москве решили отметить 40-летие музыкально-педагогической деятельности Ивана Гржимали проведением конкурса молодых скрипачей. В качестве членов жюри пригласили видных музыкантов, в том числе чешского скрипача Ф. Ондричека. Был в жюри и друг И.С. Тургенева, виолончелист Анатолий Брандуков. Участникам конкурса была предложена очень сложная программа. Победителями вышли три воспитанника Гржимали — Михаил Эрденко, Давид Крейн и Лея Любошиц. Успешное выступление Эрденко на конкурсе снова заставило о нем заговорить. Он сразу же получил приглашение в Киев на место педагога в местном училище, вскоре преобразованном в консерваторию.

Но прежде, чем прочно осесть в Киеве, Эрденко решил поехать в Брюссель к знаменитому виртуозу Эжену Изаи. С ним он познакомился еще в Москве на квартире у Гольденвейзера. Изаи высоко отзывался о технических возможностях Эрденко, но считал, что тот слишком злоупотребляет в своей игре цыганской

экспрессивностью. Изаи был сторонником строгого стиля исполнения, терпеть не мог глиссандо и другие "мяукающие" украшения, бывшие в то время в моде, особенно у венгерских скрипачей. Советы Изаи помогли Эрденко найти свой собственный стиль исполнения, познакомиться с новыми скрипичными произведениями.

Изаи с особым чувством благодарности вспоминал своего крестного музыкального отца, Антона Рубинштейна. Известно, что Антон Рубинштейн сыграл особую роль в жизни Эжена Изаи. В 1881 г., будучи в Берлине, он услышал игру Изаи в кафе, где тот развлекал посетителей игрой на скрипке. Антон Рубинштейн тотчас пригласил его в совместное концертное путешествие. Правда, Антон Рубинштейн и ранее был знаком с семьей Изаи, с его отцом и матерью. В 1882 году Рубинштейн привез Изаи в Петербург, где представил русской публике. В знак благодарности Эжен Изаи назвал своего сына Антоном.

В Россию Изаи заглядывал довольно часто, а одно время даже ежегодно. В последний раз он был в России в 1912 г. В поездке Изаи сопровождал Михаил Эрденко. Как мне сказал Эрденко, "у Изаи можно было учиться бесконечно, он был неисчерпаем. Но в то же время он требовал от скрипача самостоятельного отношения к интерпретации и страшно не любил, когда ему подражали".

Война 1914 г. нарушила многие планы Эрденко. Он не смог поехать в Германию, где уже были подписаны контракты на концерты, где у него было множество друзей. Во время войны Эрденко часто играл в госпиталях для раненых. Сборы с его концертов шли в фонд помощи жертвам войны. Он организовал струнный квартет. Иногда выступал в качестве дирижера симфонического оркестра, много времени уделял сочинению музыки.

Во время гражданской войны Эрденко явно сочувствовал Белой армии. Он перебрался из Киева в Краснодар, где участвовал в создании Кубанской консерватории, организовал симфонический оркестр, содействовал возникновению оперного театра.

В 1922 г. Эрденко снова концертировал на Украине. С помощью Луначарского в 1923 г. он выехал на зарубежные гастроли. Эрденко мне признавался, что после голода и тяжких испытаний, которые едва не стоили ему жизни, он наслаждался воз-

духом свободы.

Михаил Эрденко был на особом положении. Ему разрешали выезжать в зарубежные страны, но он должен был платить оброк: большую часть заработанных денег он отдавал советской власти. В 1925 г. его отблагодарили присвоением звания "заслуженного артиста Республики".

Когда в СССР начались первые опыты в области радиопередач, Эрденко организовал небольшую концертную группу под названием "Радиомузыка". В 1923-24 годах передачи его концертов велись из радиостудии. Он также давал немало концертов в фонд помощи голодающим.

В 1927-8 годах Эрденко играл в Японии и в Китае, побывал в Харбине, где нашел по его словам, "удивительный расцвет русской культурной жизни". О русском Харбине Эрденко говорил с каким-то особым ностальгическим чувством. Будучи в Польше, Эрденко встречался с композитором Каролем Шимановским, немало с ним музицировал. Они вспоминали прошлые времена. Шимановский родился в России, в бывшей Херсонской губернии, узами родства был связан с пианистом Генрихом Нейгаузом (двоюродный брат) и с пианистом и дирижером Феликсом Блуменфельдом (дядя). Шимановский и Эрденко вспоминали Киев, где Шимановский часто бывал. Одно время (1917-1919 годы) Шимановский служил в Елизаветграде в музыкальном отделе Наркомпроса, писал статьи, в которых восхвалял советскую власть. В 1919 г. он удрал во Львов, потом перебрался в Варшаву и там возглавил консерваторию.

После поездки в Польшу, откуда, по словам Эрденко, "нечистая сила" заставила его вернуться в Москву, за границу его больше не пускали.

Первая жена Эрденко, Евгения Осиповна, была хорошей пианисткой и многие годы сопровождала концерты своего супруга. Но потом он увлекся молодой пианисткой Диной Гольцер, даже как говорили, ее похитил, по "цыганскому обычаю". Они совместно выступали в концертах и все находили, что они были хорошими партнерами.

В 1934 г. Эрденко присвоили звание "заслуженного деятеля искусств РСФСР". Он часто выступал с концертами в залах Московской консерватории. Играл всегда с виртуозным блес-

ком. Особенно ему удавались "Дьявольские трели" Гартини, а вот "Чакона" Баха для скрипки соло вызвала немало нареканий со стороны знатоков; шутили, что он играет Баха в стиле Оффенбаха.

В 1935 г. Эрденко пригласили в Московскую консерваторию в качестве профессора. Около пяти лет продолжалась его педагогическая деятельность в стенах Московской консерватории.

21 января 1940 г. Эрденко неожиданно умер. На его смерть теплыми словами отозвался Давид Ойстрах: "Эрденко поразительно знал и чувствовал природу скрипки. Он обладал необыкновенно красивым, теплым и певучим звуком и виртуозно владел инструментом. Яркая эмоциональная искренность и непосредственность в его исполнении буквально захватывали слушателей и оставляли неизгладимое впечатление".

Михаил Гольдштейн

ВО ИМЯ ИСТИНЫ И СПАСЕНИЯ

Автор книги, о которой я хочу высказать несколько соображений, их уже не услышит: он умер в конце 1970-х годов. Однако, его книга — "Родословная большевизма" (ИМКА Пресс, 1982) — не просто злободневна, но делается день ото дня злободневнее. Книга не была завершена автором. Ее конец мог бы стать началом нового самостоятельного исследования. В издании есть досадные опечатки¹ и необъяснимые пропуски по отношению к рукописи (близкие писателя любезно прислали мне экземпляр книги со сделанными от руки вставками, поправками и дополнениями). Но до этого я уже читала книгу без правки, и она произвела на меня сильное впечатление. Ее ценность не снижается всеми, сделанными мною оговорками.

В.С. Варшавский утверждает, исследует и документально доказывает *обещечеловеческое*, а не монополюно русское или российское происхождение большевизма. Книга его начисто лишена самоуверенной голословности большинства сторонников противоположной концепции. И весьма характерно, что за три года, истекшие после издания "Родословной большевизма", пишущие на русском языке сторонники сугубо российской этиологии большевизма ничего доказательствам В.С. Варшавского не попытались противопоставить. Они предпочли игнорировать его версию непрерывно вновь и вновь поднимаемого вопроса².

1. "Авторитетная" вместо "авторитарная" на стр. 32, в цитате из Энгельса; "Гегель" вместо "Гегбельса" на стр. 51 и т.п.

2. Из последних выступлений на эту тему см. ст. *М. Геллера* в "Русской

Особенность книги В.С. Варшавского, как и множества русских свободно изданных за рубежами СССР книг текущего века — ее обращенность к мировому читателю. Увы, за шестьдесят семь лет российская диаспора не создала издательства, которое занималось бы переводом ее творений, обращенных не только к соотечественникам и соэмигрантам, но и к другим народам, на иностранные языки.

Мне приходилось читать и слышать от немногих переводимых русских эмигрантских писателей, что и переведенное — не читается. Точно не могу знать, но предполагаю, что причина отчасти в плохой рекламе переводимых книг, отчасти — в том, что читается и вызывает благожелательную реакцию в прессе то, что созвучно преобладающему в западной интеллектуальной среде настроению. А созвучно ему стремление представить большевизм явлением национально-русским.

От давних и непрерывных выступлений А. Солженицына и до последней статьи М. Геллера, многими авторами изо дня в день констатируется непосредственная политико-психологическая опасность ошибочного истолкования коммунизма как явления чисто российского, а то и русского. Этот ложный взгляд убивает бдительность народов мира и мешает им замечать симптомы становления их отечественного коммунизма — *полностью* осуществленного социализма в той единственной форме, в какой последний способен исчерпывающе реализоваться.

Иллюзия чисто российской этиологии большевизма вселяет в инонациональных марксистов уверенность, что *их* (нерусский, нероссийский) коммунизм будет отличаться от того, каким он предстает перед ними во всех ныне известных своих воплощениях. Несмотря на свои, казалось бы неотклонимые, и жизненные и литературные опровержения, этот ложный и социально-опасный взгляд на большевизм как на уродливый, но закономерно-естественный плод уникальной российской истории возникает в печати снова и снова и с такой же методичностью опять и опять опровергается. Не могу не упомянуть в качестве одного из

Мысли" No. 3556 за 14 февраля 1985 г. "И один в поле воин", посвященную памяти недавно скончавшегося И. Мацкевича, решительного пропагандиста всечеловеческого происхождения коммунизма.

самых блестящих опровержений этого взгляда книгу недавно умершего польского писателя Иосифа Мацкевича "Победа провокации" ("Заря", Лондон, Канада, 1983). Но и эта работа — не последнее слово в полемике. Предрассудки, обеспечивающие их носителям душевный комфорт, усиленно сопротивляются самым убедительным контрдоводам. А последние возникают снова и снова.

В статье В. Коссовского "Существовал ли когда-нибудь хороший русский?" ("Новое Русское Слово" от 3.II.1985) критически рассматривается мировая тенденция представлять историю России как нечто, полностью выпадающее из контекста европейской истории и несопоставимое с нею. Стремясь противопоставить этой тенденции взгляд более реалистический и потому более справедливый, В. Коссовский пишет:

"Полагая, что этого нельзя достичь без наших собственных усилий, я нахожу уместным обратиться к нашим историкам, писателям и публицистам с конкретным предложением — составить и издать, с переводом на английский и другие языки, "Очерки по сравнительной истории России и Запада", в которых объективно, хорошо аргументированно и без намерения кого-нибудь обидеть будет показано приверженцам теории "исторической преемственности" коммунизма, что на Западе для него существовало не меньше "исторических предпосылок", чем в России и что захват власти коммунистами определяется не этими предпосылками, а несчастным стечением обстоятельств, от которых не застрахован ни один народ. События наших дней достаточно красноречиво говорят о том, что лицо коммунизма во всех странах, где он захватил власть, одинаково отвратительно."

Фактически, книга В.С. Варшавского и представляет собой труд в границах предлагаемой В. Коссовским грандиозной и первостепенно злободневной темы — "Очерки по сравнительной истории России и Запада". Это — один из таких очерков, имеющих самостоятельное значение, несмотря на свою некоторую незавершенность.

На конкретном историческом материале, цитируя первоисточники или давая точные ссылки, В.С. Варшавский показывает: когда в Европе какие-то социальные силы брали на себя за-

дачи, родственные большевистским (а это случалось), они выполняли (или старались выполнить) их теми же методами, с наименьшей жестокостью и неразборчивостью в средствах, чем это делали и делают коммунисты. В качестве примеров рассматриваются инквизиция, европейские хилястические эгалитарные ереси, якобинский террор и национал-социализм. Автор не забыл и о том, что во всех тех странах мира, где победили коммунистические режимы, последние тождественны друг другу. Разительный (европейский) пример — Германия. В двух ее частях, несмотря на единство национальных корней, существуют сегодня два совершенно разнородных общества. Западная часть принадлежит миру демократии, восточная — миру социалистического (коммунистического) тоталитаризма.

На многих примерах В.С. Варшавский показывает, что претензии на коренную и скорую перестройку общества и чело века, насильственное подчинение всего общества и каждого его члена строго определенному образу мыслей и поведения, ломка естественно сложившихся форм общежития, этики, миропонимания порождают единую тактику по отношению к личности и к обществу, определяют родственные организационные структуры.

Единообразие возникает даже тогда, когда присутствуют не все эти факторы, а только некоторые из них, например, посягательство на полный контроль над внутренним миром и этикой каждого человека. Так, средневековая инквизиция не ломала сложившихся экономических отношений и вообще не являлась самостоятельной государствообразующей силой, а представляла собой одно из орудий власти либо духовных, либо светских правителей.

В.С. Варшавский показывает, что не только большевизму, но и западноевропейским явлениям, упомянутым выше, были присущи кровавая жестокость, идеологическая безапелляционность, агрессивность по отношению к инакомыслию, наступление на свободу слова (в том числе и со стороны "свободолюбивых" якобинцев), стимулирование тотального доносительства, террор, обретающий свойства цепной реакции, лепка родственников типов деятелей: тиранов, демагогов, бездумно жестоких исполнителей, доносителей и провокаторов.

Переходя к более близкому времени, автор исследует родственные черты нацистского и большевистского тоталитаризмов. Он обнаруживает, что и в этом случае западноевропейская однопартийная национал-социалистическая диктатура не оказалась более цивилизованной, чем советское социалистическое же государство, возникшее на развалинах послефевральской России. Социалистический характер обеих диктатур автором, правда, не подчеркнут. Сделать это считаю своим долгом я. У него лишь выделены и перечислены черты несомненного сходства обоих режимов. Для его задачи показать наличие в истории Западной Европы и России, превратившейся в СССР, сходных злокачественных образований — этого достаточно.

По мнению автора, в марксизме "еще в известной мере сохранилось, хотя и в чудовищно искаженном виде, мессианское и вселенское вдохновение еврейских пророков и христианства", а "в национал-социализме оно окончательно исчезает. Остается только избранная раса" (стр. 175). Но ведь и расистскую идею можно рассматривать как чудовищное искажение ветхозаветной идеи избранного народа! Кстати, современные советские официозные антисемиты ("антисионисты") так и делают.

В.С. Варшавский выделяет парадоксальную закономерность: все перечисленные им террористические феномены возникли на почве благих намерений и высоких идей — христианского человеколюбия, проповеди свободы, равенства и братства, обретения права на райское блаженство (инквизиция) или построения рая на Земле (эгалитарные ереси и коммунизм). Казалось бы, исключением является национал-социализм, заведомо постулирующий уничтожение одних и порабощение других народов. Но ведь и нацизм обещал построить земной рай для немцев. А то, что при этом обрекались на уничтожение одни народы и на рабство другие, не противоречит общей закономерности.

Все рассмотренные В.С. Варшавским исторические феномены кого-нибудь да обрекают на лишение благодати и на истребление: еретиков, иноверцев и атеистов; или монархов, аристократию и нелояльное духовенство; или "эксплуататорские" классы (буржуазию, землевладельцев и независимых крестьян); или евреев и цыган...

Классоцид вызывает в его наблюдателях и исследователях почему-то меньшее отвращение, чем геноцид. Нацистскую диктатуру часто стараются исключить из ряда *социалистических* режимов и даже противопоставить последним как феномен крайне правый — крайне левым. Между тем, социалистическая утопия в ее извращенном расистском варианте имела огромную власть над Гитлером и его сторонниками. Так же, впрочем, как и органически присущие немецкой культуре идеи обожествления нации и государства, апология "коллективной души народа", "симфонической" сильной личности ("сверхчеловека") и других символов "немецкого политического романтизма", демонстрирующего причудливую эволюцию "от Арминия... до Шпенглера, до Гитлера, до Третьего Рейха" (стр. 50, 51).

Одна из центральных и удачно решенных задач книги — сравнительное исследование якобинства и большевизма, выявление общего между ними в исходных литературных идеях, в структуре и деятельности ведущих партий, в характере вождей, фракций и уклонов, в реальной государственной политике, в том числе и экономической, в их истинном отношении к праву и гражданским свободам. Даже цензуру и "железный занавес" успели восславить и частично декретировать якобинские идеологи. В книге приведены цитаты, не оставляющие в этом сомнений. Вот только судьбы обоих феноменов различны. Большевизм не рухнул во внутривластной борьбе и не дождался ни настоящего термидора, ни своего Наполеона, ни реставрации. *Пока* не дождался. Может быть, потому, что в полную меру, тотально он развернул свой внутривластный и внепартийный террор только тогда, когда им были созданы и освоены всепроникающие охранные, осведомительные, организационные, дезинформационно-пропагандистские и осуществляющие принуждение аппараты. Но ведь и нацизм рухнул лишь под ответными (на его агрессию) военными ударами извне.

В короткой статье невозможно воспроизвести во всех деталях развернутое В.С. Варшавским сопоставление якобинства и большевизма. Кстати, замечу, что Ленин не раз к этому сопоставлению прибегал, постоянно подчеркивая родство большевиков с якобинцами и сожалея о недостаточности развернутого последними террора для их окончательной победы. В.С. Вар-

шавский весьма обоснованно отклоняет не слабеющую почти два века идеализацию якобинства, проистекающую из популярности его исходного программного лозунга — "Свобода, Равенство, Братство". Он убедительно показывает, как в повседневной практике "благодетелей", насилующих общество, эта программа превращается в свою прямую противоположность. И не только в России, но и в просвещенной Европе.

Взгляд В.С. Варшавского на устрашающие в их реальности явления, которые он рассматривает и сравнивает, не помрачен ненавистью и пристрастием. Поэтому отталкивающая действительность коммунизма не мешает исследователю видеть его альтруистические первичные стимулы, его исторические корни и причину его популярности в его исходном намерении осчастливить мир, в намерении, сохраненном в *фразеологии* (подчеркиваю: *только* в фразеологии) коммунистов. Извращенно-атеистическим образом коммунизм восходит, считает В.С. Варшавский, к "мессианским революционным движениям средневековья" (к эгалитарным ересям), а через них — к иудео-христианским истокам, обернувшимся в становлении и реализации марксистской доктрины собственной противоположностью. Испытывая большое уважение к Бердяеву, В.С. Варшавский тем не менее последовательно критикует его взгляд на большевизм как на детище исключительно российской, а не общеевропейской истории. Этот взгляд отвергается В.С. Варшавским не априори, а на постоянно развертываемых новых и новых примерах. В.С. Варшавский вообще далек от идеализации западноевропейской истории — как ее революций, так и ее средневековья, которое стало модным идеализировать ныне в некоторых диссидентских кругах.

Хорошо зная критику марксизма, предпринятую французскими "новыми философами" и Р. Ароном, В.С. Варшавский вслед за ними отвергает близорукий тезис о мнимой смерти марксизма. Б.А. Леви в книге "Варварство с человеческим лицом" пишет о "кризисе марксизма только в наших головах и в наших книгах" ("Родословная большевизма", стр. 94), не находящем еще, к несчастью, пути к массовому сознанию. В западном и "третьем" мирах марксизм все еще угрожающе популярен. Мечта о сытом, не знающем обременительного труда,

одинаково беспечно для всех членов общества существовании объединяет в картине, развернутой В.С. Варшавским, средневековых сектантов, народные массы, идущие за якобинцами, героев "Чевенгура" Платонова (символ большевизма 1917—1920-х гг.) и нынешние промарксистские толпы в еще некоммунистическом мире. Тем не менее, повторяю, исходные побудительные стимулы коммунизма, в глазах В.С. Варшавского, позитивны.

С полным сочувствием цитирует он о. С. Булгакова: "Марксизм переложение на язык безбожия и материализма пророчеств о Горе Божьей и мессианском царстве". Эта мысль многократно варьируется в размышлениях автора. В.С. Варшавский духовно примыкает к журналу "Новый Град", основанному в Париже в 1931 году, и родствен группировавшимся вокруг него мыслителям (И.И. Фондаминский, Ф.А. Степун, Г.П. Федотов и др.). Его пленяют идеи социализированного христианства: "Тот не читал пророков и Евангелия, кто отвергает вместе с марксизмом и стремление к социальной правде, которым марксизм пользуется для своей пропаганды" (стр. 156).

В.С. Варшавский призывает, полностью отказываясь от марксистских насильственных средств построения справедливого общества, не отрицать при этом исходные и конечные идеалы марксизма ("самый проект, весь без разбора"), а выдвинуть "соравный проект общества более свободного и братского" (стр. 158). Речь идет о христианском самосовершенствовании демократии. И здесь, как мне представляется, возникает некоторая недодуманность, неопределенность позиции автора и его единомышленников. В.С. Варшавский разделяет призыв Ф.А. Степуна к объединению трех идей: "христианской идеи абсолютной истины, гуманистически-просвещенческой идеи политической свободы и социалистической идеи социально-экономической справедливости" (стр. 168). Возникает законный вопрос: что есть в данном случае "социалистическая идея социально-экономической справедливости"? Сохраняется ли в проекте новгородцев экономическая свобода — независимая частная инициатива, с этой свободой неразрывно связанная? Или речь идет лишь о ненасильственном воплощении в жизнь все той же утопии эгалитарных ересей, социалистов-утопистов,

марксизма и "Чевенгура", которая иначе, как полной противоположностью задуманному, на практике обернуться не может? Эти вопросы остаются в книге неразрешенными. Будем, однако, надеяться, что В.С. Варшавский мечтал о росте социально-экономической справедливости и о совершенствовании морали в условиях демократии западного типа, а не об утопической гуманизации социалистического централизма, смертельного для свободы личности и общества, Ибо свобода хозяйственная, экономическая есть такое же неотъемлемое и законное право личности и группы, как и свобода духовная и политико-идеологическая. И только в условиях экономической свободы общество оказывается в состоянии себя удовлетворительно обеспечивать.

В.С. Варшавский не раскрывает перед читателем своего конкретного представления о социализме. Однако, его слова: "Социализм есть блудный сын христианства, который возвращается теперь в отчий дом" (стр. 165), — пугают и настораживают. Дело ведь не в том, через кого и каким путями приходит в мир социализм, а в его имманентной нецелесообразности и вытекающим из него деспотизме.

Очень много В.С. Варшавский говорит о ненасильственном построении Нового Града на Земле, утверждая, что истребление гидры — не христианская идея. Но сегодня горстка стран, в которых можно рассуждать на такие темы, писать такие книги и совершенствовать себя, окружающих и жизнь в духе любви и справедливости, осаждена империями Зла, ни на минуту не ослабляющими своей активности. Они движутся, расползаются, глотают и перестраивают все, что могут, на свой лад! Как их остановить любовью, не прибегая к силовым контрприемам? Как бороться с агрессией нацизма, или большевизма, или хомейнизма, не противопоставляя им самозащитной силы? В.С. Варшавский говорит лишь о проповеди добра и о благожелательном диалоге.

Но *они* проповедей не слышат и благих или роковых примеров не видят. Идею ненасилия и диалога они неизменно эксплуатируют в интересах своей агрессии. Диалог и взаимное уважение эффективны только при дву- (или много-) стороннем их

принятии, как основных форм общения. А если "Васька слушает да ест"?

Книга заставляет о многом думать, продолжая живой диалог с ушедшим от нас мыслителем, преисполненным деятельного сострадания к человеку.

Дора Штурман (Тиктина)

ЭКОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ И МОГИЛ

Термин "экология" толкуется теперь расширительно, не только в узком значении этого слова, как раздел биологии, занимающийся взаимоотношениями растительного и животного царства, но и как любое взаимодействие человека с окружающей средой. Советский поэт Андрей Вознесенский, архитектор по образованию, назвал свою недавнюю статью "Экология культуры". В ней он касается задолго до него поднятого вопроса о защите исторических памятников от нигилистического к ним отношения и уничтожения. В наших очерках речь пойдет об одной области экологии культуры и культурного наследия — о судьбах могил, надгробий и памятников видным русским писателям.

Под различными благовидными предложениями, но чаще и безо всяких предлогов, в послереволюционное время в Советской России началось перемещение могил, перезахоронение, а чаще — осквернение прахов, снятие и разрушение надгробий и памятников. Бесследно исчезали отдельные могилы, сносились целые кладбища. Так, в Москве, например, было превращено в сквер старинное Семеновское кладбище, уничтожены, вместе с монастырями, кладбища Страстного монастыря, Зачатьевского, Златоустовского, Никитского, Ивановского, Алексеевского. Было уничтожено огромное количество надгробий в Новодевичьем и Донском монастырях, полностью уничтожены кладбища при Даниловом монастыре (одно время — детская колония), Новоспасском (уничтожены могилы бояр Романовых и их родни, монастырь был одно время использован как тюрьма и расстрельное место), Симонове (от монастыря осталась одна только башня, он был одним из старейших в Москве). При разгроме и уничтожении московских церквей и монастырей были уничтожены и находившиеся там надгробия таких исторических фигур, как царь Симеон Бекбулатович, боярин Артамон Матвеев, первый русский адмирал граф Федор Апраксин, граф Шувалов,

фельдмаршал Румянцев-Задунайский. Исчезли могилы историка Д. Бантыш-Каменского, друга Пушкина Ф. Вигеля, писателя А.Ф. Вельтмана. Кости московских цариц, похороненных в Вознесенском монастыре в Кремле, после уничтожения монастыря были свалены скопом в общем захоронении в приделе Архангельского собора. Были потревожены гробы Гоголя, Сергея и Константина Аксаковых, А. Хомякова, Н. Языкова, Д. Веневитинова — перенесены на другие кладбища.

То же самое происходило не только в Москве, но и — еще в больших масштабах — по всей стране. Деревянные кресты исчезали, все, что было деревянного — уносилось. Семейные склепы взламывались грабителями, как например, склеп Разумовских в Батурине или Чернышовых и Шуваловых в Яропольце. Отдельные надгробные памятники разбивались атеистами-активистами. Даже обелиск на могиле Пушкина был рьяными безбожниками сброшен под откос.

В Оптиной пустыне, по свидетельству советского же писателя Владимира Солоухина, "ни одной надгробной плиты на месте не оказалось. Все они оказались по какой-то фантастической, не поддающейся здравому смыслу надобности, разбросанными по обширной территории монастыря. А ведь не горстка камней, чтобы их разбросать — тяжелые, мраморные, из полированного гранита"...

Редко кто из русских писателей встречал смерть в том городе, имении, селе, где родился. Кое-кого смерть настигала за пределами родины и по его предсмертному волеизъявлению тело перевозили на родину. И. Тургенев скончался в Буживале под Парижем, а похоронен был в Петербурге, на Волковом кладбище, как он того хотел. В. Жуковский умер в Баден-Бадене, но погребен был в Александро-Невской Лавре. А. Чехов скончался в Германии, в Баденвейлере. Гроб с его телом был перевезен в Москву и опущен в могилу на Новодевичьем кладбище.

Первый из наших очерков по экологии исторических памятников и могил посвящается судьбе могилы и надгробного памятника Александра Сергеевича Пушкина.

СМЕРТЬ, ПОГРЕБЕНИЕ И МОГИЛА А.С. ПУШКИНА

26 января 1837 г. Пушкин отправил барону Геккерну страшное по своей оскорбительности письмо, отрезавшее все возможности к примирению и оставлявшее единственный выход —

поединок. Дантес послал вызов на дуэль.

Около четырех часов дня Пушкин со своим секундантом, лицейским другом Данзасом, отправился на место дуэли у Черной речки. Через два часа его, смертельно раненного, привезли домой. Около шести часов вечера к дому на Мойке (№ 12) подъехала карета, в которой привезли Пушкина. Старый слуга внес Пушкина в кабинет и опустил на диван.

По Петербургу быстро разнеслась весть о том, что Пушкин тяжело ранен. К его дому начали стекаться люди. Они заполнили вестибюль, теснились в подворотне, во дворе и на набережной. Литератор И. Панаев писал: "На Мойке у Певческого моста... не было ни прохода, ни проезда. Толпы народа и экипажи с утра до ночи осаждали дом; извозчиков нанимали, просто говоря: "К Пушкину". В.А. Жуковский вывешивал на двери квартиры бюллетени о состоянии здоровья поэта. В одном из них, вероятно последнем, Жуковский писал: "Больной находится в весьма опасном положении".

Пушкин был ранен в нижнюю часть живота. Такое ранение в те времена было неизлечимым. Пушкин сознавал, что его часы сочтены. Он переносил страдания с необычайным мужеством, старался не стонать, чтобы не напугать жену и детей. Почувствовав приближение конца, он велел привести детей и простился с ними, простился с женой и друзьями.

Из друзей у постели умирающего Пушкина находились Жуковский, кн. П. Вяземский с женой, А.И. Тургенев, граф М.Ю. Виельгорский (по просьбе Натальи Николаевны, он позднее был назначен одним из опекунов над детьми и имуществом поэта), секундант Данзас, В.И. Даль, домашний врач Пушкиных Иван Тимофеевич Спасский, которого сменял другой врач — Ефим Иванович Андреевский, специалист по перитониту, закрывший глаза усопшему. К умирающему был вызван лейб-медик царя, Николай Федорович Арендт, приехавший в конце дня 27 января. Арендт привез написанную карандашом записку-письмо Николая I. Царь приказал прочесть послание Пушкину и вернуть ему. А.И. Тургенев в своем дневнике так изложил содержание записки государя: "Если Бог не велит нам свидеться на этом свете, то прими мое прощение (которое Пушкин просил у него себе и Данзасу) и совет умереть христианином, исповедоваться и

причаститься, а за жену и детей не беспокойся: они мои дети и я буду пещись о них”.

Умиравший Пушкин захотел увидеть своего верного друга, Екатерину Андреевну Карамзину, вдову историка Н. Карамзина (единокровную сестру кн. П. Вяземского). В письме от 30 января 1837 г. к сыну Андрею Е.А. Карамзина писала: “Россия потеряла Пушкина! Он дрался в среду на дуэли с Дантесом, он прострелил его насквозь; Пушкин жил два дня, а вчера, в пятницу, отлетел от нас; я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо, когда узнаешь, что Арендт с первой минуты сказал, что никакой надежды нет! Он протянул мне руку, я ее пожалала, и он мне также, а потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: перекрести еще; тогда, опять пожавши еще раз его руку, я его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке; он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен, как полотно, но очень хорош; спокойствие выразилось на его прекрасном лице...”.

Падчерица Е.А., Софья Николаевна Карамзина, в том же письме, начатом мачехой, сообщает о последних часах жизни поэта: “Арендт сразу объявил, что рана безнадежна... Пушкин выслушал этот приговор с *невозмутимым спокойствием, с улыбкой*. Он причастился, всех простил; он был в памяти до последней минуты и с ясным сознанием наблюдал за угасанием своей прекрасной жизни... Пушкин недолго страдал; все время он был неизменно ласков со своей бедной женой. За пять минут до смерти он сказал врачу: “Что, кажется жизнь кончается?” Без агонии закрыл он глаза, и я не знаю ничего, прекраснее его лица после смерти — чело, исполненное мира и покоя, задумчивое и вдохновенное, и *улыбающиеся* губы. Я никогда не видела у мертвых такого ясного, утешительного, поэтического облика”.

29 января в 2 ч. 45 м. пополудни сердце поэта перестало биться.

Как рассказывала Е. Карамзина, “женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях, приходили поклониться праху любимого народного поэта. Нельзя было без умиления смотреть на эти плебейские почести,

тогда как в наших позолоченных салонах и раздушенных будуарах едва ли кто-нибудь думал и сожалел о краткости его блестящего поприща”.

2 февраля 1837 г. Е.А. Карамзина пишет в письме сыну: “Вчера было отпевание бедного, дорогого Пушкина; его останки везут хоронить в монастырь около их имения в Псковской губернии, где похоронены все Ганнибалы; ему хотелось быть похороненным там же”.

“В понедельник (1 февраля) были похороны, то есть отпевание, — дополняет С.Н. Карамзина. — Собралась огромная толпа, все хотели присутствовать, целые департаменты просили разрешения не работать в этот день, чтобы иметь возможность пойти на панихиду, пришла вся Академия, артисты, студенты университета, все русские актеры. Церковь на Конюшенной невелика, поэтому впускали только тех, у кого были билеты, иными словами, исключительно высшее общество и дипломатический корпус, который явился в полном составе (один дипломат даже сказал: “Я только здесь в первый раз узнаю, что такое был Пушкин для России. До этого мы его встречали, разговаривали с ним и никто из вас (он обращается к даме) не сказал нам, что она ваша *национальная гордость*”.

“Площадь перед церковью была запружена народом, и когда дверь после службы открыли, все толпой устремились внутрь; спорили, толкались, чтобы пробиться к гробу и нести его в подвал, где он должен оставаться, пока его не отвезут в деревню. Один молодой человек, очень хорошо одетый, умолял Пьера [Мещерского] разрешить ему только *прикоснуться рукою к гробу*; тогда Пьер уступил ему свое место, и юноша благодарил его со слезами на глазах, — как трогателен секундант Пьера, его друг и товарищ по лицу, полковник Данзас, которого прозвали в армии “храбрый Данзас”, сам раненный (в Турецкую кампанию), с рукою на перевязи, с мокрым от слез лицом, говорящий о Пушкине с чисто женской нежностью, не думая нисколько о наказании, которое его ожидает; он благодарит государя за данное ему милостивое позволение не покидать своего друга в последние минуты его жизни и его несчастную жену в первые дни ее тяжкого горя”.

Отпевание Пушкина первоначально было назначено в

церкви при Адмиралтействе, но чтобы избежать неминуемых волнений, по приказанию Николая I гроб с телом Пушкина ночью перевезли для отпевания в Конюшенную церковь. На пригласительных билетах была указана церковь при Адмиралтействе. После отпевания лицейские товарищи, вместе с И.А. Крыловым и В.А. Жуковским, перенесли гроб в церковный подвал, где он простоял ночь и весь следующий день.

До последнего момента время и место погребения Пушкина официально не оглашались. Друзья поэта не раз вспоминали высказанное им пожелание быть похороненным рядом с Михайловским, в Святогорском монастыре, где была похоронена в 1836 г. его мать Надежда Осиповна, тело которой сам Пушкин отвез для погребения.

Проводы тела Пушкина сопровождались большими предосторожностями. Старый приятель Пушкина, статский советник и камергер, полуопальный Александр Иванович Тургенев записал в своем дневнике 2 февраля 1837 г.: "Назначен я в качестве старого друга отдать ему последний долг... Куда еду — еще не знаю". Только за несколько часов до отъезда Тургенев узнал, что ему предстоит ехать в Псковскую губернию.

Ящик с гробом Пушкина был обернут в рогожу, увязан веревками, прикрыт соломой. 3 февраля 1837 г. поздно вечером к Конюшенной церкви подъехали простые сани, из подвала вынесли ящик с гробом. Жуковский писал: "Собрались мы в последний раз к тому, что еще для нас оставалось от Пушкина". Друзья стояли в скорбном молчании. Затем Вяземский и Жуковский положили в ящик по одной перчатке, оставив другую себе на память.

Тургенев писал своей сестре А.И. Нефедьевой: "3 февраля в полночь мы отправились с телом Пушкина в путь, я с почтальоном в кибитке позади тела, жандармский капитан впереди". Дядька покойного, Никита Козлов, также желал проводить останки своего барина к последнему пристанищу: "Он стоял на дрогах, как везли ящик с телом, и не покидал его до самой могилы".

Когда, в апреле 1836 года, Пушкин привозил хоронить свою мать, Надежду Осиповну, он внес в монастырскую казну деньги, откупив себе место рядом с могилой матери.



Михайловское



Тригорское

Не зная хорошо дороги в монастырь, А. Тургенев вместе с ямщиком попали сначала в Тригорское к Осиповым. Екатерина Ивановна, младшая дочь Прасковьи Александровны Осиповой, владелицы Тригорского, много лет спустя вспоминала последний приезд к ним в Тригорское уже мертвого Пушкина: "Мать отвела гостей ночевать, а тело распорядилась везти теперь же в Святые Горы вместе с мужиками из Тригорского и Михайловского, которых отрядили копать могилу. Но копать ее не пришлось: земля вся промерзла — ломом пробивали лед (зажгли костры, чтобы немного отогреть землю), чтобы дать место ящику с гробом, который потом закидали снегом. Наутро чем свет поехали наши гости (Тургенев и дядька) хоронить Пушкина, а с ними и мы обе — сестра Маша и я, чтобы, как говорила матушка, присутствовал при погребении хоть кто-нибудь из близких. Рано утром внесли ящик в церковь и после заупокойной обедни (она происходила в южном приделе, где стоял гроб) всем монастырским клиром с настоятелем, архимандритом, столетним стариком Геннадием во главе, похоронили Александра Сергеевича в присутствии Тургенева и нас, двух барышень".

А вот свидетельство А. Тургенева: "5 февраля. Отправился сперва в Остров, за 56 верст, откуда за 50 верст — к Осиповой в Тригорское, где уже был в три часа пополудни. За нами прискакал и гроб в 7-м часу вечера; почталиона оставил я на последней станции с моей кибиткой. Осипова послала по моей просьбе мужиков рыть могилу. Вскоре и мы туда поехали с жандармом, зашли к архимандриту, он дал мне описание монастыря. Рыли могилу, между тем я осмотрел, хотя и ночью, церковь, ограду, здания. Условились приехать на другой день и возвратились в Тригорское. Повстречали тело на дороге, которое скакало в монастырь. Напились чаю; я уложил спать жандарма и сам остался мыслить вслух о Пушкине с милыми хозяйками; читал альбом со стихами Пушкина, Языкова. Между прочим, нашел Пушкина, нигде не напечатанного...

На другой день, 6 февраля, в 6 часов утра отправились мы — я и жандарм! — опять в монастырь, все еще рыли могилу. Мы отслужили панихиду в церкви и вынесли на плечах крестьян и дядьки гроб в могилу — немногие плакали. Я бросил горсть земли в могилу, выронил несколько слез... и возвратился в Три-

горское. Там предложили мне ехать в Михайловское...

Мы вошли в домик поэта, где он прожил свою ссылку и написал лучшие стихи свои. Все пусто. Дворник, жена его плакали, насмотревшись. Мы опять сели в кибитку-коляску и, дружно разговаривая, возвратились в Тригорское. Отзавтракав, простились. Хозяйка дала мне немецкий альбом на память, я обещал ей стихи Лермонтова, "Онегина" и мой портрет. Мы нежно попрощались, уселись в кибитку и на лошадях хозяйки по реке Великой менее нежели в три часа достигли до 1-й станции. Заплатил за упавшую под гробом лошадь — и поехали дальше".

С. Гейченко, долголетний смотритель Пушкинского заповедника, в своей книжке "У Лукоморья" приводит такой характерный момент похорон Пушкина: "Наступил миг погребения. Поднося гроб к могиле, трижды качнули его в сторону родного дома в Михайловском — таков старинный псковский обычай... Опустив прах в землю, закидали могилу скованными морозом комьями земли. Насыпали холмик. Поставили простой сосновый крест. Кто-то из дворовых сказал Тургеневу: "Надпись бы сделать". Тот ответил: "Скажи, чтобы черной краской вывели одно слово — "Пушкин", больше ничего не надобно. Там видно будет..."

Кто-то из Михайловского принес чашку с кутьей и поставил ее на могилу. Тургенев взял себе на память ветку хвои и горсть земли. Соборный колокол ударил к ранней обедне. Монастырь зажил своей обычной жизнью.

Весной, когда стало таять, архимандрит Геннадий распорядился вынуть ящик и закопать его в землю уже окончательно. Склеп и все прочее устраивала Прасковья Александровна Осипова. *Никто из родных так на могиле и не был.*

Как писала графиня Дарья Федоровна Фикельмон, "несчастную жену [Пушкина] с большим трудом спасли от безумия, в которое ее, казалось, неудержимо влекло мрачное и горькое отчаяние". Еще не оправившись окончательно от потрясения, она уехала к брату в Полотняный Завод, Калужской губернии, чтобы никого не видеть, ни с кем не встречаться.

Отец поэта, Сергей Львович, не сразу был извещен о смерти сына, так как находился в болезненном состоянии. Брат, Лев Сергеевич, в это время был на Северном Кавказе, участвуя в

боевых операциях против чеченцев. Сестра, Ольга Сергеевна, жила в Варшаве, где ее муж, Николай Иванович Павлищев, состоял чиновником Департамента просвещения.

Три года тянулось дело о выкупе у сонаследников их доли в Михайловском для детей Пушкина. Из-за не совсем доброжелательного отношения к Наталье Николаевне со стороны пушкинской родни и обитателей Тригорского, считавших ее непосредственной виновницей гибели Александра Сергеевича, она не решалась появляться в Михайловском. Только после того, как уладилось дело о введении во владение Михайловским, Н.Н. Пушкина летом 1841 и 1842 годов выезжала туда и занялась приведением в порядок могилы мужа.

Как пишет С. Гейченко, "Пушкина хоронили дважды. Первый раз его хоронил в 1837 году А.И. Тургенев (и Осиповы-Вульф). Второй раз хоронила Наталья Николаевна и дети в 1841 году".

Первая мысль о памятнике на могиле Пушкина появилась через две недели после его смерти. Н.А. Полевой, писатель и публицист, призывал: "Неужели мы не сделаем ничего для почтения памяти поэта? Наш долг — ознаменовать воспоминание о Пушкине памятником, достойным его славы и русской чести... Пусть каждый из нас, кто ценил гений Пушкина, будет участником в сооружении ему надгробного памятника! Наши художники вспыхнут вдохновением, когда мы потребуем от них труда, достойного памяти поэта, и в мраморе или в бронзе станет на могиле Пушкина монумент, свидетель того, что современники умели его ценить. И сильно забьется сердце юноши при взгляде на этот мрамор, на эту бронзу".

Опекуны над детьми и имуществом Пушкина, граф Григорий Александрович Строганов и граф Михаил Юрьевич Виельгорский весной 1837 г. искали "живописца для снятия вида с могилы Пушкина". Сохранились карандашные рисунки могилы Пушкина, выполненные А.П. Осиповой или кем-то по ее заказу.

По поручению псковского губернатора "Вид могилы Пушкина", как и "Домика в сельце Михайловском", был снят с натуры губернским землемером И.С. Ивановым и затем, будучи переведен на литографию П.А. Александровым, вошел в его "Галерею видов горсда Пскова и его окрестностей".

В конце 1839 года чертеж надгробия был предъявлен царю, который его рассматривал вместе с Бенкендорфом. По чьему проекту был изготовлен памятник — неизвестно, возможно, по эскизу кого-либо из друзей поэта, хотя бы В.А. Жуковского. В ноябре 1840 г. в мастерскую Пермаголова приехали посмотреть монумент Наталья Николаевна, Виельгорский, Строганов. Памятник всем понравился и было решено отправить его в Святые горы.

Памятник Пушкину, который и ныне стоит на его могиле, был поставлен в 1840-41 годах на средства, отпущенные Опекой. Установкой занимался старый михайловский приказчик М.И. Калачников. Согласно "счету по сооружению и отправке Псковской губернии в монастырь Святые Горы надгробного, покойному Александру Сергеевичу господину Пушкину мраморного памятника" от 31-го декабря 1840 года, "С. Петербургскому монументального цеха мастеру Александру Пермаголову по условию 1 марта 1840 года заплачено за дело и укупорку в ящик памятника 2300; подрядчику Гусеву и Семенову за доставку памятника в монастырь Святые Горы — 491; служителю Михаилу Калачникову выдано на расходы по постановлению того памятника на месте 75 руб., на содержание его, Калачникова, в пути, на месте и при обратном проезде в Петербург (на два месяца) 60 руб..."

Памятник прост и строг: на трех гранитных четырехугольных плитах — белый мраморный обелиск с нишей, в которой стоит мраморная урна с покрывалом. Над нишей — скрещенные факелы, выше которых лавровый венок, а над ним крест. На гранитном цоколе высечено:

Александр Сергеевич

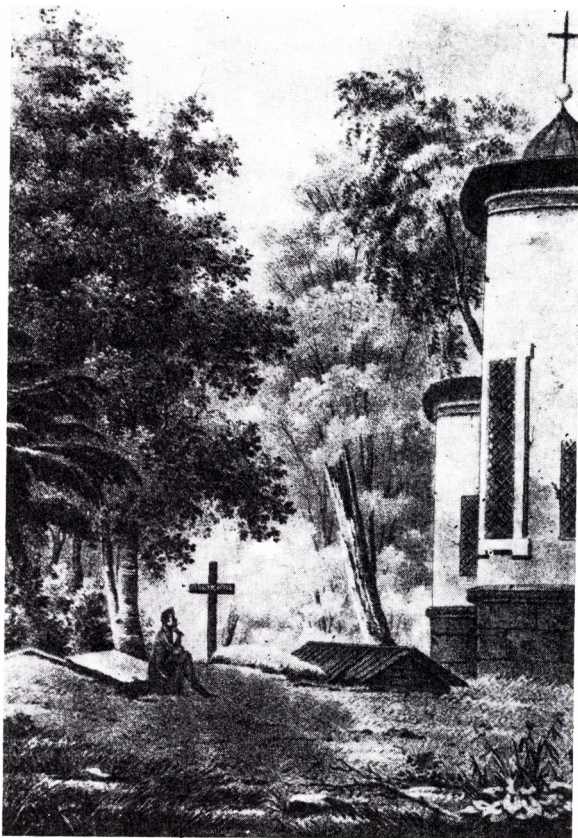
ПУШКИН

Родился в Москве 26 мая 1799 года

скончался в С. Петербурге

29 января 1837 года

Наталья Николаевна отправила с М. Калачниковым письмо на имя псковского губернатора Ф.Ф. Бартоломея, в котором просила его о содействии в установке памятника на могиле мужа, так как не была уверена, что зимою это дело можно будет



*Могила Пушкина вскоре после похорон. Литография Клюквина
по рисунку Соколова*

благополучно свершить по причине мороза, и спрашивала совета, как поступить: не лучше ли подождать до весны? Далее она писала о том, что в 1841 г. намерена быть в псковском имении мужа и рада будет встретиться с его превосходительством.

В ответном письме Ф.Ф. Бартоломей писал Наталье Николаевне, что считает выполнение ее просьбы делом своей чести. Он советовал ей отложить установку памятника до весны и обещал всяческое содействие. Вскоре он дал соответствующее указание псковскому губернскому архитектору, в то время ремонтировавшему Святогорские древности.

19 мая 1841 г. Наталья Николаевна приехала с детьми в Михайловское. Узнав об этом, губернатор немедленно нанес ей визит. Он привез ей в подарок литографии с видами Святогорского монастыря и Михайловского, сделанные с рисунков псковского землемера И.С. Ивановского, а также стихи собственного сочинения, предварительно отлитографированные и напечатанные в псковской типографии, которые мы здесь воспроизводим.

В тени деревьев в Святых Горах
Близ храма скромная могила,
Любимого поэта прах
Покою вечным осенила.
И крест без надписи стоит,
Зарос травой в забвеньи диком,
Но сердцу что-то говорит
Здесь о родном и о великом...
И скоро гордый мавзолей,
Украшив холм уединенный,
Укажет, где в тени ветвей
Лежит поэт наш вдохновенный.
Пройдут века! В Святых Горах
Истлеет мрамор белоснежный,
И, Пушкин, Твой исчезнет прах,
Как призрак жизни безнадежной...
Но не страшися! Не умрет
В твоих твореньях дивный гений,
Он быстрый свой свершит полет
До самых поздних поколений...

И сила чувств, и гордость дум,
Твои стихи, твоё мечтанье
Они, как моря вечный шум,
Как говор волн и вод журчанье.
Не истребит времен закон,
Что не доступно его силе —
И песнопенья чудный звон
Не схоронен с тобой в могиле!

Установка памятника оказалась непростым делом. Нужно было не только смонтировать и поставить на место привезенные из Петербурга части памятника, но и соорудить для него кирпичный цоколь и железную ограду; под все четыре стены цоколя на глубину два с половиной аршина (ок. 1,8 м) подвести каменный булыжный фундамент и выложить кирпичный склеп, куда было решено поместить прах поэта. Гроб был вынут из земли и поставлен в подвал в ожидании завершения постройки склепа.

В августе все было закончено. Наталья Николаевна сообщила другу Пушкина, Павлу Воиновичу Нащокину, что "сердечный обет, давно предпринятый", ею выполнен: "Могила мужа моего находится на тихом, уединенном месте, местоположение, однако ж, не так величаво, как рисовалось в моем воображении; сюда прилагаю рисунок, подаренный мне в тех краях. Вам одним решаю сим жертвовать."

Кн. П.А. Вяземский приехал в Михайловское в сентябре 1841 г. Как он писал — "ездил на поклонение к живой и мертвому". В письме к тому же Нащокину он вспоминал: "Я провел нынешней осенью несколько приятных и сладостно-грустных дней в Михайловском, где все так исполнено "Онегиным" и Пушкиным. Память о нем свежа и жива в той стороне. Я два раза был на могиле его и каждый раз встречал при ней мужиков и простолюдинов с женами и детьми, толкующих о !Пушкине".

Первое описание могилы Пушкина было дано в 1856 г. академиком, искусствоведом М.П. Розбергом: "...Могила Пушкина, осененная со всех сторон развесистыми деревьями, растущими в диком беспорядке, находится на самом обрыве горы, откуда открываются прелестные виды в неизмеримую даль, на окрестные поля и леса; вблизи, справа и слева, врастают в землю

подернутые мохом каменные плиты с едва уже заметными надписями, а между ними, местами, явственнее выступают черты, обозначающие фамилию Ганнибалов, родовую матери поэта”.

Недалеко от памятника Пушкину лежат две намогильные плиты — деда и бабки поэта. На них можно различить старые надписи: “Здесь погребено тело Иосифа Абрамовича Ганнибала, родившегося 1741 года, декабря 20 дня, скончавшегося 1806 года, октября 12 дня — и — “Здесь погребено тело Марии Алексеевны Ганнибал, урожденной Пушкиной, родившейся 1745 года, января 20 дня, скончавшейся 1818 года, июня 27 дня”. Рядом — могила Надежды Осиповны Пушкиной, родившейся 21 июня 1775 года, скончавшейся 29 марта 1836 года.

С течением времени могила поэта пришла в грустное состояние. В 1848 году умер отец поэта, Сергей Львович. В соответствии с его завещательным распоряжением, он был похоронен рядом с сыном. С тех пор до 80-х годов прошлого столетия за памятником никто не присматривал. Рядом с могилой Пушкина появилась могила игумена Иоанна, дочери П.Ф. Карпова, местного земского исправника. Только в 1880 году, когда по всей России шла подготовка к открытию памятника Пушкину в Москве, губернские власти приказали обследовать могилу. Кирпичный цоколь, на котором стоял монумент, развалился, решетка вокруг надгробия тоже повалилась, по склону холма лежали поверженные бурями старые дубы и липы.

Сын поэта Григорий Александрович (1835-1905), живший в это время в Михайловском, обратился к губернатору и в духовную консисторию с просьбой о приведении в порядок могильного холма. В противном случае, заявлял Григорий Александрович, он перевезет прах отца в Михайловское. Возникает недоуменный вопрос: почему Г.А. Пушкин, ушедший в отставку в 1866 г. в чине подполковника и переехавший тогда же из Петербурга в Михайловское, где он прожил больше 30 лет, сам не занимался могилами своих предков, отца и деда с бабушкой? Ведь он считался рачительным хозяином, ухаживал за новыми посадками, за садом в имении, был общественным деятелем — почетным мировым судьей Опочецкого уезда, а также присяжным заседателем Петербургского окружного суда. А вот рук приложить к местам упокоения родных не мог.

В апреле 1880 г. в монастырь прибыла группа рабочих, которые отремонтировали кирпичный цоколь, поправили решетку, насыпали свежего песка на площадке вокруг памятника.

В канун столетия со дня рождения Пушкина псковский Пушкинский комитет произвел новое обследование родового кладбища Пушкиных. Комитет был потрясен картиной разрушения. Псковскому архитектору В.Л. Назимову была поручена работа по приведению кладбища в благопристойный вид, чтобы провести 26 мая 1899 г. торжественное богослужение у могилы Пушкина, а по окончании праздника произвести необходимые капитальные работы. Назимов составил проект восстановительных работ, к исполнению которого приступили в июне 1902 г. Были приняты меры предосторожности, чтобы случайно не повредить памятник или склеп. Но часть свода склепа все же обрушилась и в образовавшемся отверстии можно было видеть хорошо сохранившийся дубовый гроб; местами на нем уцелели даже отдельные куски широкого парчового позумента. Кусочек парчового позумента был взят, с разрешения комитета, и отправлен в Пушкинский музей Лицея.

В начале революции активисты-безбожники сбросили обелиск с могилы Пушкина под откос. Только в 1922 г. обелиск был поставлен на прежнее место.

Отступая, немцы в 1944 г. взорвали Успенский собор Святогорского монастыря. От взрывной волны памятник на могиле поэта отклонился в сторону обрыва на несколько градусов и стал постепенно оседать.

Комиссия, прибывшая в октябре 1952 г., произвела инструментальную съемку места, заложила шурфы. Было решено выправить памятник с заменой части старого пьедестала гранитным во избежание систематического увлажнения грунта атмосферными водами, заасфальтировать площадку, переложить разрушенную каменную стену на северной стороне холма.

К августу 1953 г. подготовительные работы были закончены и 18 августа территория монастыря была закрыта для посетителей. Памятник был разобран, его надземные части сняты. Открылись створки двух больших плит, лежащих в его основании и под ними была обнаружена камера с небольшим отверстием, на дне которой лежали два человеческих черепа и кости,



Могилы А. С. Пушкина в Святогорском монастыре.



Могилы А.С. Пушкина в Святогорском монастыре.

которые, как показала экспертиза, принадлежали людям пожилого возраста. Камера была разобрана и работа по разборке продолжалась, пока не наткнулись на свод, после уборки камней которого увидели второй, который был крышкой склепа Пушкина.

”Гроб стоит с запада на восток, — пишет Гейченко в своей книге ”У Лукоморья”. — Он сделан из двух, сшитых железными коваными гвоздями дубовых досок, с медными ручками по бокам. Верхняя крышка сгнила и обрушилась внутрь гроба. Дерево коричневого цвета. Хорошо сохранились стенки, изголовье и подножие гроба. Никаких следов ящика, в котором гроб был привезен 5 февраля 1837 г., не обнаружено. На дне склепа остатки еловых ветвей. Следов позумента не обнаружено. Прах Пушкина сильно истлел. Нетленными оказались волосы...”.

Работа была закончена 30 августа. Все материалы реставрации 1953 г. — фотографии, обмеры, а также кусочек дерева и гвоздь от гроба Пушкина были помещены в музейный фонд заповедника. Сейчас Святогорский монастырь стал музеем, включенным в состав Пушкинского заповедника.

А. Иванов

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ БОНГАРТА

Недавно скончался Сергей Романович Бонгарт, крупный русско-американский художник, выдающийся американско-русский педагог и незаурядный русский поэт.

Свободно владея английским и немецким языками, Сергей Бонгарт собрал большую библиотеку по истории и теории искусства. Но стихи Сергей Бонгарт писал только по-русски и из художественной литературы читал преимущественно русских прозаиков.

О Бонгарте я слышал еще во время Второй мировой войны от общих знакомых по Берлину, Вене и Праге. Но встретились мы только в 1946 году в Мюнхене, в лагере для перемещенных лиц, у поэта Ивана Елагина, который был приятелем Бонгарта по довоенному Киеву.

Бонгарт вместе с театральным художником Борисом Волковым снимал студию в Зольне, предместье Мюнхена. Эта студия экспромтом, так сказать, стала художественно-литературным клубом. Там встречались и дискутировали такие художники, как Владимир Одинокоев, (впоследствии художник, декоратор в Метрополитэн), Владимир Шаталов, Константин Черкас, Владимир Носков, сделавший, как иллюстратор, карьеру в немецкой и австрийской прессе, и другие. В этой студии читали стихи Иван Елагин, Ольга Анстей, Дмитрий Кленовский, выступали с рассказами прозаики Галина Кузнецова и Евгений Гагарин.

Я не был близким другом Бонгарта. Случались меж нами и размолвки. Но когда Бонгарт устраивал выставки в различных галереях Соединенных Штатов, Канады и Европы, он не раз приглашал меня участвовать в составлении каталогов, переводя

в сокращенном виде на английский мои статьи и заметки о его творчестве в русской зарубежной печати.

Когда Американское Общество Акварелистов наградило художника серебрянной медалью за картину "Две старухи" и рекомендовало выбрать его членом Американской Академии Художеств, находившийся в Европе Бонгарт просил меня принять награду и поблагодарить за оказанную ему честь.

С 1980 года Сергей Бонгарт начал готовить ретроспективную выставку своих работ в галерее при отеле Билтмор. Галерея эта пользуется международной популярностью, в ней выставлялись лучшие живописцы и графики Америки, включая классика американской живописи Нормана Рокуэлла и Джемми Уайета, сына великого американского художника Эндрю Уайета.

Открытие выставки Бонгарта планировалось на 1983 год. С. Бонгарт привлек меня к участию в составлении каталога. Однако, кураторы были очень удивлены, когда художник попросил выставку отложить. Тогда же я узнал, что Бонгарт тяжело болен. До этого в Лос Анджелесе был поставлен телевизионный часовой фильм о творчестве художника. В фильме участвовали знаменитый киноактер Джим Хагни, режиссер С. Донен, редакторы искусствоведческих журналов Юго-Запада Америки, кураторы ряда музеев и галерей Соединенных Штатов

Многочисленные друзья и ученики Сергея Бонгарта до последней минуты надеялись, что его крепкий организм справится со злым недугом. Художник, по нашим эмигрантским понятиям, был человеком состоятельным. Его лечили лучшие врачи, но, кажется, без ощутимых результатов. Тогда Бонгарт поехал в Швейцарию, сказав друзьям и знакомым, что надеется на чудо. Но чуда не произошло. Бонгарта больше нет.

Еще до Второй мировой войны в украинской печати появилась репродукция с картины студента Киевской Академии Художеств Сергея Бонгарта "Пушкин в Михайловском". Бонгарт рассказывал мне об этом так. Он неожиданно пролил флакончик с китайской тушью на свою картину. И тогда принялся размазывать тушь по всей картине. Вдруг к нему подошел профессор Котов (а он считался не только выдающимся художником но и редким педагогом) и спросил: "Вы что, Бонгарт, очень любите Ка-

милла Коро?

Бонгарт удивился, сказав Котову, что это получилось случайно, когда он спасал картину от "стихийного бедствия". Проф. Котов заметил, что это и так и не так, рассказав эпизод из собственной жизни. Он учился у маститого Кардовского. Как раз тогда русские художники едва ли не впервые увидели живопись Клода Моне и были заколдованы ею. Однажды Котов и его соученик по классу академика Кардовского Александр Яковлев (скончавшийся в Соединенных Штатах), желая поправить свои рисунки, задумались и стали растирать резинкой намеченные ими контуры.

Обходя учеников, академик Кардовский спросил: "Вы что же, импрессионистами заделались?" Котов и Яковлев стали объяснять, что это случилось, скорее, сомнамбулически: — "Но чем же это плохо?". "Конечно, это недурно, — ответил Кардовский, — Моне и кампании не откажешь в воздушной перспективе, но я-то вас не этому учил".

Котов сказал Бонгарту, что такие случайности неслучайны, а интуитивны: "Наше сердце и наши эмоции нередко оказываются остроумнее нашего мозга. Коро, очевидно, подействовал на вас так, как прежде Моне на меня." Профессор Котов, как вспоминал Бонгарт, был крайне переборчив и требователен к ученикам.

После короистского "Пушкина в Михайловском" Котов без колебаний зачислил Бонгарта в свой класс. Бонгарт рассказал мне об этом, когда рецензенты американских газет и искусствоведческих журналов стали называть его "русским Коро". Бонгарт на это отвечал, что Коро почитает, но никогда ничьим эпигоном не был.

И это правда. Рассматриваю многочисленные репродукции с работ художника. Такие картины, как "Девушка в саду" и "Свет и тени" выделяются из ряда других. В обеих картинах можно обнаружить следы влияния Коро, но это именно лишь следы, не более. Бонгарт писал свои пейзажи с натуры и на этих двух его картинах — лирические современные пейзажи Америки загородных дач и знаменитых парков, американский воздух и американское небо.

Просматриваю заметки и рецензии о выставках Бонгарта в

американских газетах и журналах. В некоторых работах Бонгарта, особенно в портретах, заметно влияние Рембранта и Валентина Серова. Я бы еще отметил некоторое воздействие крупного русского пейзажиста Дубовского. Но опять таки, мы имеем дело не с подражанием, не с заимствованием, а с творческим преображением, с самобытной манерой.

Бонгарта особенно ценили в музее Сизттла, где большой зал почти целиком отведен его картинам. В соседнем зале висит "Валаамский пейзаж" Дубовского.

Бонгарт был дорогим художником, особенно по нашим эмигрантским понятиям. Стоимость его картин колебалась от 5 до 15 тысяч долларов. Чаще всего у художника покупали натюрморты. Журнал "Американский художник" назвал Бонгарта "президентом американского натюрморта", отметив, что и в других жанрах у художника есть все данные пробиться в первые ряды американских мастеров. На передней обложке этого журнала была помещена репродукция "Сирени" Бонгарта, а на задней — репродукция его натюрморта "Рыбы и медная утварь на кухонном столе".

"Американский художник" обычно не слишком-то щедр на похвалы. Впрочем, тех, кто давно знал Бонгарта, эти похвалы не удивили. Еще Федор Кричевский, другой учитель Бонгарта по Киевской Академии Художеств, говорил, что третьекурсник Бонгарт в натюрмортах обгоняет старшекурсников и своих учителей.

На очень трудном конкурсе с большим количеством соперников и конкурентов С. Бонгарт выиграл право участвовать в организованной музеем Метрополитэн выставке, посвященной двухсотлетию американской акварели. Это была большая честь, своего рода патент на мастерство. С тех пор Сергей Бонгарт много раз получал награды на американских выставках. Даже простое перечисление его картин и рисунков, удостоенных золотых и серебрянных медалей, денежных наград и почетных отзывов, потребовало бы несколько страниц.

Я знал двух Бонгартов. Один — довольно успешный бизнесмен, умеренный модернист. Манеру, в которой он работал, я бы назвал импрессионистским реализмом.

На вернисажах выставок, на премьерах голливудских филь-

мов, в фешенебельных ресторанах Бонгарта можно было увидеть в элегантных костюмах, в смокинге или фраке. Он выглядел чуть самоуверенным англичанином, который и в Америке играет в аристократизм. Когда я ему об этом говорил, Бонгарт смеялся.

— Ну что ж, говорил он мне, если я кажусь тебе сибаритом и эпикурейцем, оставайся при своем мнении. Но только не считай меня салонным художником и интеллектуальным снобом. Я сам не люблю ни снобизма, ни выхоленной салонности. Взгляни хотя бы на мои цветы. Разве звезды кино, чьи портреты я пишу, блещут на них драгоценностями и нарядами? Нет, я зарисовываю их в купальных костюмах, в пижамах или халатах, в сандалиях на босу ногу, а не на парадных приемах или банкетах. Таково и мое искусство. Мои цветы — это не парадные цветы, а цветы для дачников. Хагни понравился мой натюрморт — небольшая индейка в окружении скромных закусок на простом деревянном столе. Я писал праздничный стол довольно бедного садовника-мексиканца. У него большая семья. Он и его жена месяцами копили деньги, чтобы отметить День Благодарения. Мне, кажется, удалось передать праздничное настроение этой семьи. А сам я в Дни Благодарения обедаю у знаменитостей. Уж их-то праздничным столом не удивишь. И вот Джим Хагни, взглянув на мой натюрморт, припомнил собственную молодость, когда он еще не был знаменит. В моих пейзажах, — продолжал Бонгарт, — критика ценит их музыкальную настроенность. Не поэтому ли меня и зачисляют в импрессионисты?

В самом деле, певцы, танцоры, музыканты о пейзажах Бонгарта говорят, что они напоминают им прелюды Сергея Рахманинова и, по-моему, такое сопоставление оправдано.

Но я знаю и совсем другого Бонгарта, которого, может быть, правильно поймут и оценят только в будущем, ибо, по моему глубокому убеждению, Сергей Бонгарт останется в истории как русского, так и американского искусства. Этот Бонгарт уже не импрессионистский реалист, а скорее, — неосимволист, равновеликий таким художникам, как испанец Кристоаль Толас или австриец Дитер Швердбергер. Это сопоставление, кстати, принадлежит не мне, а художнику и искусствоведа Михаилу Урванцову, скончавшемуся несколько лет тому назад в Барсело-

не. Сам Бонгарт не возражал против такого сопоставления, отметив, однако, что Швердбергер — гениальный маньяк и к тому же — в формальном плане — штукляр. А вот в одном ряду с Толасом ему, Бонгарту, стоять было приятно.

Этот, другой Бонгарт, остро драматичен и символичен. Тому, кто его не знает, может показаться, что это два и по духу и по форме разных художника.

"Эпикуреец" Бонгарт принимал близко к сердцу душевные переживания и скорби тех, у кого жизнь сложилась неудачно и тяжело. Таковы его "Колхозницы", "Русская весна", "Колхозник на дровнях". Таковы его "Старые женщины", "У последней черты", "Монахини у стены", "Венеция перед грозой", "Гондольер во время бури", "Вазон с цветами при свете пожара", "Тщета" и многие другие картины, эскизы, этюды.

Сергей Бонгарт был художником с большой практической сметкой, весьма общительным, умевшим себя подать. Но эту неосимболистскую сторону своего творчества он держал как-то в тайне, подпуская к ней только избранных.

У Бонгарта была частная художественная школа, пользовавшаяся отличной репутацией. Занятия продолжались почти круглый год. Осенью и зимой Бонгарт вел классы в своей школе в Санта Монике (предместье Лос-Анжелеса), а весной и летом вывозил своих учеников и учениц на пленэр, в собственный лагерь в штате Айдахо.

Бонгарт охотно показывал свою студию и своим клиентам, и искусствоведам, и рецензентам газет и журналов, не говоря уже об артдилерах. Но когда он работал над своими неосимболистскими композициями, то никого в свою студию не пускал, отключал телефоны. На стене его дома или на заборе летней школы появлялась надпись: "Приема нет".

В чем же своеобразие неосимболистских композиций Сергея Бонгарта. Вот натюрморт, на котором изображены цветы в дорогом вазоне во время пожара. Отблески пламени покрывают вазон ожогами, лепестки и стебли цветов почернели, обуглились.

На большой картине "У последней черты" — одинокая старая женщина со следами былой, давно поблекшей красоты. Она сидит на скамейке у стены, странной и страшной. "Это не стена, — поясняет мне Бонгарт — а скорее, бездна". Но бездна

мистическая. В нее падают, срываясь не по горизонтали вниз, а по вертикали — вверх. Падение все равно падение, и называется оно гибелью, смертью.

“Русская весна” — это весна во время нацистской оккупации Украины. Технически совершенно выполненная картина полна острого драматизма.

— Ты видел моего гондольера, поющего баркароллу, а в гондоле двое влюбленных. Все так весело, жизнерадостно. Туристское бюро в восторге. Но мне больше по душе старый гондольер спасающий свою гондолу во время бури. Ему уже не до баркарол. Лишь бы спасти себя и свою гондолу.

Так романтика перерастает в творчестве Сергея Бонгарта в напряженную драматическую символику.

За “Старых женщин” Бонгарт, получив предварительно серебрянную медаль Американского Общества Акварелистов, был избран в Американскую Академию Художеств. (Он был также членом Лондонского Королевского Общества Художников, куда попасть труднее, чем во многие академии, и членом другой Американской Академии Художеств).

“Пиету” следует считать самой глубокой и самой драматически напряженной картиной из всего, что когда-либо было создано Бонгартом. Это тем более удивительно, что художник крайне редко обращался к религиозной тематике.

Бонгарт говорил мне, что в процессе работы над “Пистой” он пристально изучал старинные фрески и религиозные композиции мастеров итальянского Ренессанса. При этом его, как он сам признавался, “пронзили” исследования и наблюдения Николая Николаевича Лохова, художника, исследователя, реставратора. Лохов задался целью воссоздать фрески и композиции великих мастеров Возрождения в их первоначальном виде, такими, какими они были при жизни творцов, т.к. в течение столетий краски на полотнах и фресках мастеров Ренессанса поблекли, выцвели, частично разрушились.

Реставратор и художник с душой и талантом должен, по Лохову, материализовать ауру, то есть живой дух, отлетевший от плоти картин мастеров прошлого. И Лохов свою задачу выполнил, создав чудесные копии с работ великих художников Ренессанса. Эти копии в настоящее время находятся в Питтсбурге,

в Соединенных Штатах, в Музее имени Лохова, созданном знаменитой меценатской фамилией Фрик.

Бонгарт говорил мне, что он ничего не копировал, но пытался в своей "Пиете" передать впечатление от ауры Христа на старинных фресках. Он понимал, что это задача трудно достигаемая, если достигаемая вообще. И все же он создал небывалую религиозную композицию.

Незадолго перед смертью Бонгарт мечтал о том, чтобы написать еще сотню картин и выпустить небольшую книгу стихов.

Вяч. Завалишин



Редакция "Нового Журнала"
с глубоким прискорбием сообщает
о кончине

проф. Глеба Петровича Струве

Статья Б.А. Филипова
о творческом пути покойного
будет напечатана в следующей книге
"Нового Журнала"

Редакция "Нового Журнала"
с глубоким прискорбием сообщает
о кончине 30 мая 1985 г.
своего постоянного сотрудника,
поэтессы и прозаика

Ольги Николаевны Анстей

Статья Т. Фесенко об Ольге Николаевне
будет помещена в следующей книге
"Нового Журнала"

БИБЛИОГРАФИЯ

О.А. Хрептович-Бутенева. "Перелом", Имка-Пресс, 1984.

В серии "Всероссийской Мемуарной Библиотеки" вышла из печати книга О.А. Хрептович-Бутенева. В ней рассказывается о принудительном переселении с территории бывшей восточной Польши в Казахстан и Туркестан в период 1939-1941 годов. В этот поток влилось около двух миллионов человек — поляков, русских, украинцев, литовцев, белоруссов, евреев — польских граждан. Военнопленные были сосланы в различные лагеря Гулага.

Прочитав книгу, я рассказал некоторые эпизоды моему знакомому, имевшему счастье *не* побывать в Гулаге. Он неоднократно прерывал меня восклицаниями: "Это невероятно!"; "Автором, наверное, сгущены краски!", и т.п. Но я сам все это пережил в четырех, так сказать, ампулах: просидел год в тюрьме в г. Ровно (Волынь), был переведен в г. Дубно, в Старобельск, затем этапом отправлен в Норильск (лагерь за Полярным кругом), в Нарымский край, и, так и не дождавшись суда, был освобожден по "амнистии". Затем последовало, в ожидании возможности вступить в польскую армию, временное поселение в Кара-Калпакии (Прикаспийский край). Наконец, мне удалось вступить в польскую армию и с *последним* транспортом, которым отбыла и О.А. Хрептович-Бутенева, покинуть негостеприимные пределы СССР. Поэтому свидетельствую: автор рецензируемой книги писала сущую правду! Надо самому там быть, самому все это пережить, чтобы поверить.

Хронологическая и топографическая канва воспоминаний следующая.

В 1935 г. граф Аполлинарий Константинович Хрептович с женой, Ольгой Александровной и с детьми покинул Францию (Шато де Бордбюр на Луаре) и переселился в родовое имение Щорсы, недалеко от г. Новогрудка, Виленского воеводства. Вспыхнула война 1939 г. Восточ-

ная Польша была занята советскими войсками. Графа арестовали, имение разграбили. Была арестована и Ольга Александровна, но вскоре выпущена на свободу. Она поселилась в Новогрудке, чтобы быть невдалеке от арестованного мужа. Дети перешли немецко-советскую границу и стали жить в Варшаве. Недолго пришлось О.А. жить в Новогрудке. Ее вместе с многими жителями этого города в принудительном порядке взяли на этап и "эвакуировали" в Казахстан. Жизнь свою она там начала в степном нищем колхозе, где за целый день работы выдавали горсть муки, иногда — немного хлеба. Месяцами приходилось есть *без соли!* Положение в какой-то степени облегчалось тем, что переселенцы обменивали кое-что из одежды, захваченной с собой из Польши, на овощи и хлеб.

С началом войны между Германией и СССР польских граждан уволили с их места работы и предоставили самим себе — живите, как можете. Вскоре наступил второй этап принудительного переселения: польских граждан вывезли в более отдаленные колхозы, уже чисто узбекские. Хотя условия работы здесь были более привольными — никто не стоял над головой и не записывал выработки, жизненные условия были, пожалуй, еще хуже: голод, отсутствие каких-либо санитарных условий, эпидемические болезни.

Когда даже наиболее оптимистически настроенные переселенцы начали терять надежду на то, что смогут выжить, прошли слухи об "амнистии" и о договоре польского правительства в изгнании (в Лондоне) с советским правительством относительно формирования польской армии из находившихся в Азии польских граждан.

Штаб-квартира ген. Андерса была в Бузулуке. Туда потянулись толпы выживших поляков. Но многие уже погибли к тому времени в лагерях. С Колымы, например, где заключенные работали в копях, из 10.000 вернулось после амнистии всего лишь 583 человека. Кроме "центра" в Бузулуке возникли в различных местах польские делегатуры ("пляцувки"), где поляки регистрировались, получали удостоверения, направлялись туда, где шел набор в армию, или туда, где надо было еще некоторое время выждать.

Не вернулись 10.000 офицеров, сидевших в Старобельске и Осташкове. На усиленные запросы ген. Андерса и военного командования союзников, Сталин отвечал: "Выпущены все. Они или еще не доехали, или бежали в Манчжурию".

г. Актюбинск в 1941 году был наводнен польскими беженцами. И

здесь работала польская делегатура. Там Ольга Александровна нашла работу, став секретаршей польского делегата С. Критского.

После различных перепитий она эвакуировалась в Персию с остатками тех польских граждан, которые успели попасть на последний транспорт. В Тегеране Ольга Александровна поступила сестрой милосердия в польский госпиталь, затем судьба забросила ее в Египет, в английский госпиталь, в котором лежали польские солдаты. 1945 г. — конец войны, демобилизация, возвращение во Францию, в Бордбюр, где постепенно собралась вся семья.

”Я возвращалась в свободный мир, к семье, а они (поляки) теряли ту Польшу, за которую боролись, за которую было отдано столько сил и столько жизней. Я тоже теряла эту Польшу. Что, по существу, она значила для меня — русской? Очень многое! Щорсы — оазис после разгрома России. Мария, страстная патриотка, ее отец пан Юзеф, умерший от голода в Актюбинске со словами ”Тшимайтесь!” (”держитесь”) Жертвенная Марыся, выходившая меня, когда я болела тифом. Милая Ванда, украсившая мою жизнь в изгнании заботой и любовью. Да просто все мое окружение, люди, которые наперекор всему, часто с безрассудной храбростью, шли на большие жертвы, чтобы сохранить свою веру, свободу и независимость своей родины. Вот эти-то незыблемые принципы и объединяли меня с ними”. Так заканчивает свою книгу О.А. Хрептович-Бутенева.

Игумен Геннадий Эйкалович

ВЫШЛИ ДВА ТОМА ТРИЛОГИИ

РОМАНА ГУЛЯ

”Я УНЕС РОССИЮ”

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

ТОМ II. "Россия во Франции". Исправленный и значительно дополненный текст по сравнению с текстом, печатавшимся в "Новом Журнале". Много фотографий, факсимиле, указатель имен, стр. 356, цена 15 долларов.

ТОМ I. "Россия в Германии". Второе издание. Текст исправленный и значительно дополненный. Много фотографий, факсимиле, указатель имен, стр. 364, цена 12 долларов.

Заказы направлять по адресу "Нового Журнала": "New Review" 2700 Broadway, New York 10025.

Готовится к печати *ТОМ III. "Россия в Америке".* Перед Америкой — Война во Франции. Великий исход. На стекольной фабрике. Сельскохозяйственные батраки четыре года. Париж после победы: совпатриоты и коллаборанты. Мой уход из масонства. Масоны — адм. Вердеревский, ген. Голлиевский, Игорь Кривошеин и др. Работа с Мельгуновым. Бунин. "Народная Правда". По Германии — встреча с власовцами (СБОНР). Мюнхен, Шляйсхейм, Гамбург, Ганновер. Отъезд в Америку. "Лига борьбы за Народную свободу". Николаевский, Церетели, Керенский, Абрамович, Зензинов, Вишняк. Разрыв с Николаевским и с Лигой, М. М. Карпович и "Новый Журнал", Радиостанция "Свобода". Встреча с Солженицыным. Работа над "Я унес Россию".

Н О В Ы Я Ж У Р Н А Л

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ (главный редактор)
Ю. Д. КАШКАРОВА и Е. Л. МАГЕРОВСКОГО

■
В 1985 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■
Подписная цена на 1985 год 30 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 9 долларов

■
ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и сре-
дам, от 10-ти до 12-ти час дня
